

Сергей Георгиевич Кара-Мурза

Маркс против русской революции

Вера в то, что бессмертие народа в какой-то мере гарантировано, — наивная иллюзия. История — это арена, полная жестокостей, и многие расы как независимые целостности сошли с нее. Для истории жить не значит позволять себе жить как вздумается, жить — значит очень серьезно, осознанно заниматься жизнью, как если бы это было твоей профессией. Поэтому необходимо, чтобы наше поколение с полным сознанием, согласованно озаботилось бы будущим нации.

Хосе Ортега-и-Гассет

Введение

Одним из главных начал обществоведения является представление о *субъекте* социальных процессов и политического действия. Каковы главные общности людей, идеалы и интересы которых определяют направление и динамику хода истории? Каковы генезис и структура этих общностей, кто и как их собирает, чем скрепляет? Кто и как может их разрушить или перестроить? Если мы этого не знаем, то и «не знаем общества, в котором живем». А значит, противник, который это знает, оказывается сильнее нас.

В советское обществоведение, особенно в его учебные курсы, в качестве догмы вошло ключевое положение исторического материализма, согласно которому главными субъектами истории являются *классы*, а общественные противоречия выражаются в форме *классовой борьбы*. Это положение введено Марксом и Энгельсом в качестве постулата, а затем показано на историческом материале как якобы непреложный вывод. Уже в «Манифесте Коммунистической партии» (1848 г.) сказано: «История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов».

Энгельс пишет в важной работе: «По крайней мере для новейшей истории доказано, что всякая политическая борьба есть борьба классовая и что всякая борьба классов за свое освобождение, невзирая на ее неизбежно политическую форму, — ибо всякая классовая борьба есть борьба политическая, — ведется, в конечном счете, из-за освобождения *экономического*» [1].

Следуя этой догме, советское обществоведение приучило нас к тому, что движущей силой истории является *классовая* борьба. Авторитет основоположников марксизма в этом вопросе был (и негласно остается) непререкаемым. Под давлением этой установки мы перестали понимать и даже замечать те процессы, которые происходят с иными, нежели классы, общностями людей, и прежде всего с *народами*. Во всех общественных конфликтах и открытых столкновениях советский образованный слой был склонен видеть результат классовых противоречий.

Но советское обществоведение лишь продолжило старую линию. Уже русские демократы XIX века, а затем марксисты начала XX века восприняли это положение марксизма как догму. С.Н. Булгаков, уже отходя от марксизма, писал в «Вехах», что национальную проблему игнорировала вся российская левая интеллигенция, «начиная от Чернышевского, старательно уничтожавшего самостоятельное значение

национальной проблемы, до современных марксистов, без остатка растворяющих ее в классовой борьбе».

В действительности здесь произошел сбой и отход от реального марксизма. Были всерьез приняты и укоренились положения классовой теории, которые являлись абстракциями и при анализе реальности не принимались во внимание самими основоположниками марксизма. Профессора и учебники истмата и научного коммунизма открыли нам лишь один, «верхний» слой обществоведческих представлений основателей марксизма. Считать, что классики марксизма действительно рассматривали любую политическую борьбу как борьбу классов, неправильно. Это всего лишь идеологическая установка — для «партийной работы», для превращения пролетариата из инертной массы («класса в себе») в сплоченный политический субъект («класс для себя»), выступающий под знаменем марксизма.

Напротив, «работающие» представления, заданные Просвещением и реально принятые в марксизме, в советском общественном сознании освоены не были — они осваивались нами *неосознанно*. В этих представлениях действуют общности людей, соединенные не классовой солидарностью, а солидарностью *этнического* типа. Более того, и пролетариат, формально названный *классом*, в действительности выступает в марксистской модели как *избранный народ*, выполняющий мессианскую роль спасения человечества.

Профессора и учебники истмата и научного коммунизма открыли нам лишь один, «верхний» слой обществоведческих представлений основателей марксизма. Считать, что классики марксизма действительно рассматривали любую политическую борьбу как *борьбу классов*, неправильно. Это всего лишь идеологическая установка — для «партийной работы», для превращения пролетариата из инертной массы («класса в себе») в сплоченный политический субъект («класс для себя»), выступающий под знаменем марксизма.

Когда речь идет о крупных столкновениях, в которых затрагивается интерес Запада как цивилизации, субъектами исторического процесса, и прежде всего борьбы, в представлении марксизма оказываются вовсе не классы, а *народы* (иногда их называют *нациями*). Это кардинально меняет методологию анализа, а следовательно, и политическую практику. По своему характеру и формам *этнические* противоречия, в которых люди действуют как народы, очень сильно отличаются от *классовых*. Те, кто этого не понимает и мыслит в категориях классовой борьбы, подобен офицеру, который ведет своих солдат по карте совершенно другой местности.

Такое «офицерство» мы и имели в лице советской интеллигенции, три послевоенных поколения которой подвергались интенсивной доктринальной обработке марксистским обществоведением. Мы принимали буквально и понятия о свободе, равенстве и справедливости, которые были на знамени марксизма, и присущие ему ценности гуманизма и пролетарского интернационализма. Смысл всех этих понятий сильно меняется, когда в обществоведческой концепции модель классовой борьбы заменяется моделью *борьбы народов*.

Обширное чтение трудов и писем Маркса и Энгельса позволяет утверждать, что их категории и понятия классовой борьбы являются лишь надстройкой над видением общественного исторического процесса как *войны народов*. Более того, понятия классовой борьбы в марксизме и не следует принимать буквально, ибо они сильно связаны с фундаментом, построенным из *этнических* понятий. Битва народов — «архетипический» образ Энгельса, заложенный в фундамент его понятий. Одно из своих ранних философских произведений он заканчивает так: «День великого решения, день битвы народов приближается, и победа будет за нами!» [2, с. 226].

Для многих людей, воспитанных на советском истмате, думаю, будет неожиданностью узнать, что при таком переходе представления классиков о гуманизме и правах народов почти выворачиваются наизнанку — народы в их концепции делятся на *прогрессивные* и *реакционные*. При этом категории свободы и справедливости, как основания для оценки народов в их борьбе, отбрасываются. Народ, представляющий Запад, является по определению прогрессивным, даже если он выступает как *угнетатель*. Народ-«варвар», который борется против угнетения со стороны прогрессивного народа, является для классиков марксизма *врагом* и подлежит усмирению вплоть до уничтожения.

Надо ли нам сегодня знать эту главу марксизма, которая при его вульгаризации в СССР была изъята из обращения? Да, знать необходимо, хотя овладение этим знанием очень болезненно для всех, кому дороги идеалы, которые мы воспринимали в формулировках марксизма.

Глава 1. Благотворное влияние марксизма на общественные процессы в России

Эта книга посвящена критическому разбору отношения Маркса и Энгельса к России и русским с точки зрения того влияния, которое оказали взгляды основоположников марксизма на ход русской революции и на судьбу советского строя. Решение высказаться по этой проблеме созревало долго и было очень непростым.

Трудность любой критики Маркса «от советского строя» связана с тем, что марксизм был официальной идеологией этого строя и, что еще более важно, стал восприниматься самими советскими людьми как что-то вроде религиозного оправдания советского строя. Критик сразу переходит в категорию врагов или становится богохульником, так что вникать в смысл критики честный советский человек не желает (как сказано в Библии, «не ходите на собрания нечестивых»). С другой стороны, антисоветское сознание цепляется за любую критику Маркса как за поддержку, также категорически не желая вникнуть в смысл критики.

Маркс и Энгельс являются в коллективной памяти большой доли старших поколений советских людей *священными символами*. Эти имена связаны с нашей великой и трагической историей, их страстные чеканные формулы замечательно выражали идеалы этих поколений и обладают магической силой. Всякая попытка подвергнуть какую-то часть учения Маркса и Энгельса рациональному анализу воспринимается как оскорбление святыни и отторгается с религиозным чувством.

Беда в том, что товарищи из моего поколения относятся к марксизму как к Откровению, но спорят о нем, как о теории. Тут возникает «бессмысленный» конфликт. Ведь спорить с верующими грешно — но и они не должны облекать свою веру в униформу рациональности. Откровение и теория должны быть разведены в разные ниши сознания, так чтобы можно было спорить о теории как об интеллектуальном инструменте, не затрагивая религиозных чувств.

Я, например, верю в те *идеалы*, которые «озвучил» Маркс — в свободу и социальную справедливость, будущее братство в коммуне и т.д. Однако, кроме идеалов Маркс дал интеллектуальную конструкцию, обладающую чертами теории. В «наш просвещенный век» авторитет теории резко усилил воздействие

идеалов и, с другой стороны, привлекательность идеалов «защитила» теорию. Если учесть еще и художественные качества текстов Маркса, то можно говорить о кооперативном эффекте, который и определил масштабы распространения марксизма в среде европейски образованной интеллигенции (а уж от нее и в массы — но уже без теории, а как священный текст, состоящий из идеалов и заклинаний).

К теории нельзя относиться так же, как к Откровению. Она — не более чем инструмент. К одному объекту она приложима, к другому нет. Если кто-то согласен в том, что теория Маркса оказалась неприменима к объекту под названием «Россия», то для него говорить «я подхожу к проблемам России как марксист» — бессмыслица, если речь идет о *рациональном* изучении проблем России. Можно сказать: «я подхожу к проблемам России с теми идеалами, которые так хорошо сформулировал Маркс», но это не слишком сильная позиция, поскольку без подкрепления авторитетом теории формулировки Маркса не были бы так привлекательны, а сегодня их и вообще стараются не применять — истерлись за полтора века.

Идеалы марксизма в отрыве от теории чем-то исключительным не являются, а во многих отношениях они для нас и губительны (прогрессизм Маркса слишком евроцентричен, и в его свете мы попадаем в категорию архаических народов, не только не обладающих ценностью для цивилизации, но даже и вредных). Я, например, вижу противоречие между освободительными идеалами Маркса и его настойчивым запретом пытаться остановить наступление капитализма до того, как он исчерпал свой цивилизаторский потенциал.

Обычно оговорки, сделанные в начале книги, в дальнейшем при чтении забываются, но я все же их сделаю, чтобы настроить читателя на рациональный лад и приглушить эмоции. Обсуждение отношения Маркса и Энгельса к русским почти неизбежно возбуждает неприязнь к марксизму. При нынешнем состоянии умов это может вызвать неоправданное отторжение от марксизма в целом, оторвать людей от источника важного знания и ценной во многих отношениях методологии. Это отторжение еще более исказит видение нашей современной истории. Выявляя неосознанно воспринятые нами от марксизма идейные мины, мы должны верно оценивать его воздействие на исторический процесс в целом.

Поэтому я считаю себя вправе предупредить, что, отвергая русофобию Маркса и Энгельса и их ошибочные, на мой взгляд, представления о народах, я считаю этих людей великими мыслителями и

тружениками. Они совершили невероятный по масштабу и качеству интеллектуальный и духовный труд и оставили нам целый арсенал инструментов высокого качества и эффективности. Никакое несогласие и никакая неприязнь к мыслям Маркса и Энгельса не могут оправдать отказа от того, чтобы пользоваться созданными их трудом инструментами. Это было бы непростительной глупостью, которая бы сильно нас ослабила. Труд Маркса и Энгельса надо знать и с помощью их инструментов «прокатывать в уме» любые проблемы общества, откладывая в свой умственный багаж «марксистскую модель» этих проблем. При собственной выработке этой модели даже отрицание установок марксизма будет конструктивным — труды Маркса и Энгельса обладают *креативным потенциалом*.

Русские мыслители прошлого, сделавшие вклад в развитие нашей общественной мысли (независимо от их политических взглядов), разумно и уважительно относились к влиянию на них марксизма. Этого нельзя забывать, полезно хоть очень кратко отметить их доводы.

Важнейшим духовным продуктом марксизма был *антропологический оптимизм* — уверенность в то, что лучшее и справедливое будущее человечества *возможно*, и для его достижения имеются эффективные средства. Более того, эта возможность доказана с научной строгостью. С.Н. Булгаков, уже совершенно отойдя от марксизма, писал, что после «удушья» 80-х гг. XIX века именно марксизм явился в России источником «бодрости и деятельного оптимизма». Переломить общее настроение упадка было тогда важнее, чем дать верные частные рецепты. Содержащийся в марксизме пафос модернизации (пусть и по уже недоступному для России западному пути), помог справиться с состоянием социального пессимизма.

По словам Булгакова, марксизм «усвоил и с настойчивой энергией пропагандировал определенный, освященный вековым опытом Запада практический способ действия, а вместе с тем он оживил упавшую было в русском обществе веру в близость национального возрождения, указывая в экономической европеизации России верный путь к этому возрождению» [3, с. 373]. Булгаков писал в «Философии хозяйства»: «Практически все экономисты суть марксисты, хотя бы даже ненавидели марксизм» (а в то время воздействие экономистов на сознание читающей публики было значительным).

Оптимизм и даже механистический детерминизм Маркса сыграл большую роль в развитии революционного движения. Создатель итальянской компартии Антонио Грамши высказал в «Тюремных тетрадах» такую мысль о необходимости марксизма для консолидации трудящихся: «Можно наблюдать, как детерминистский, фаталистический механистический элемент становится непосредственно

идеологическим «ароматом» философии, практически своего рода религией и возбуждающим средством (но наподобие наркотиков), ставшими необходимыми и исторически оправданными «подчиненным» характером определенных общественных слоев. Когда отсутствует инициатива в борьбе, а сама борьба поэтому отождествляется с рядом поражений, механический детерминизм становится огромной силой нравственного сопротивления, сплоченности, терпеливой и упорной настойчивости. «Сейчас я потерпел поражение, но сила обстоятельств в перспективе работает на меня и т.д.» Реальная воля становится актом веры в некую рациональность истории, эмпирической и примитивной формой страстной целеустремленности, представляющей заменителем предопределения, провидения и т.п. в конфессиональных религиях» [4, с. 54].

Грамши пишет о *созидательной* силе марксистского догматизма: «То, что механистическая концепция являлась своеобразной религией подчиненных, явствует из анализа развития христианской религии, которая в известный исторический период и в определенных исторических условиях была и продолжает оставаться «необходимостью», необходимой разновидностью воли народных масс, определенной формой рациональности мира и жизни и дала главные кадры для реальной практической деятельности» [4, с. 55].

Второе фундаментальное изменение, которое внес марксизм в общественную мысль, заключалось в рационализации той части духовных исканий человека, которые ранее выражались лишь на языке идеалов и нравственности. Маркс, развивая проект Просвещения, задал рациональную «повестку дня». Г. Флоровский, объясняя, почему марксизм был воспринят в России конца XIX века как мировоззрение, писал, что была важна «не догма марксизма, а его проблематика». Это была первая мировоззренческая система, в которой на современном уровне ставились основные проблемы бытия, свободы и необходимости. Как ни покажется это непривычным нашим православным патриотам, надо вспомнить важную мысль Г. Флоровского — именно марксизм пробудил в России начала века тягу к религиозной философии. Флоровский пишет: «Именно марксизм повлиял на поворот религиозных исканий у нас в сторону православия. Из марксизма вышли Булгаков, Бердяев, Франк, Струве... Все это были симптомы какого-то сдвига в глубинах» (см. [5]).

Здесь надо отметить огромную роль, которую сыграл марксизм в консолидации народов России вокруг большого проекта. Как целостное, внутренне исключительно сильно связанное учение, соединившее в себе рациональную концепцию с нравственными идеалистическими императивами, марк-

сизм был с замечательной эффективностью применен большевиками для создания идеологии, на время овладевшей массами. В этой идеологии стихийные народные представления о благой жизни были скреплены логикой и идеалами марксизма, которые в тот момент оказывали почти магическое воздействие на сознание. Это не дало русскому народу в момент цивилизационной катастрофы 1905-1920 гг. рассыпаться на мелкие группы, ведущие «молекулярную» войну всех против всех.

Либералы «и примкнувшие к ним меньшевики» справиться с этим не смогли бы, их сознание начиная с 1905 г. погружалось в хаос. М.М. Пришвин пишет летом 1917 г. о состоянии умов тех, кто был ядром социальной базы либерального проекта: «Господствующее миросозерцание широких масс рабочих, учителей и т.д. — материалистическое, марксистское. А мы — кто против этого — высшая интеллигенция, напитались мистицизмом, прагматизмом, анархизмом, религиозным исканием, тут Бергсон, Ницше, Джеймс, Меттерлинк, оккультисты, хлысты, декаденты, романтики. Марксизм..., а как *это* назвать одним словом и что это?..» [6]. Опасность хаоса грозила России ввиду отсутствия гражданского общества, стабилизированного рационально осознанными интересами, и отсутствия сильной власти (хотя бы колониальной или даже оккупационной). Подобные катастрофические срывы наблюдались в истории.

В.В. Крылов пишет: «Измельчание социальных интересов отдельных его [народа] групп, примат фракционных интересов над общеклассовыми, эгоистических классовых целей над общенациональными ознаменовался в странах, где отсутствовал прямой колониальный режим (Иран, Китай начала XX века), величайшим социальным распадом, засильем бандитских шайек и милитаристских групп, так что, например, для китайцев привлекательность русской революции была в том, что она создала могучий общественно-политический организм, воспрепятствовавший распаду этой великой державы на манер Австро-Венгрии или Османской империи» [7, с. 70].

Так сложилась наша судьба. Важные для России проекты и концепции народников были почти разрушены марксистами и на время выброшены из революционной программы, что дорого обошлось стране. С другой стороны, доктрина народников не обладала той консолидирующей силой, которая смогла бы совладать с энергией революции — для ее обуздания надо было сохранить марксизм в структуре революционного проекта.

Еще одно благотворное влияние, о котором писали русские философы — дисциплинирующее воздействие его методологии. За это мы должны быть благодарны методологической школе марксизма.

Подчеркивая общекультурное значение марксизма для России, Н. Бердяев отмечал в «Вехах», что марксизм требовал непривычной для российской интеллигенции интеллектуальной дисциплины, последовательности, системности и строгости логического мышления.

Интеллектуальный уровень и идейное богатство марксизма таковы, что делают его уникальным явлением культуры. По консолидирующей и объяснительной силе никакое учение не могло в течение целого века конкурировать с марксизмом. Поэтому собственные прозрения и доктрины мыслителей многих стран приходилось излагать на языке марксизма. Устранение в 90-е годы в России невидимых уже норм марксизма из обществоведения, образования и языка СМИ само по себе вовсе не дало нам лучшего понимания сложных вопросов, оно создало методологический хаос. Он привел в среде молодежи к такой дремучей беспомощности мышления, что начинаешь думать о благотворности даже неверных догм как инструмента для поддержания элементарной дисциплины мышления.

В Новое время судьбы всех цивилизаций и культур в большой мере зависели от их способности понять «устройство и мышление» Запада как новой мощной цивилизации, обладавшей огромным потенциалом экспансии. Марксизм выявил и описал важнейшие стороны этой цивилизации. Для того уровня познавательных возможностей обществоведения это описание было исключительно эффективным. В этом смысле нападки на Маркса деятелей антисоветской перестройки и реформы выглядят глупыми и неприличными.

Виднейший американский экономист В. Леонтьев писал: «Маркс был великим знатоком природы капиталистической системы... Если, перед тем как пытаться дать какое-либо объяснение экономического развития, некто захочет узнать, что в действительности представляют собой прибыль, заработная плата, капиталистическое предприятие, он может получить в трех томах «Капитала» более реалистическую и качественную информацию из первоисточника, чем та, которую он мог бы найти в десяти последовательных выпусках «Цензов США», в дюжине учебников по современной экономике».

Такая оценка общего значения труда Маркса для экономистов, работающих в капиталистической экономике, сохраняется и поныне. Другой американский Нобелевский лауреат по экономике, П. Самуэльсон, говорил, что марксизм «представляет собой призму, через которую основная масса экономистов может — для собственной пользы — пропустить свой анализ для проверки» [8].

Парадоксальным образом, для русского революционного движения марксизм сослужил большую службу тем, что он, создав яркий образ капитализма, в то же время придал ему, вопреки своей универ-

салистской риторике, *национальные* черты как порождения Запада. Тем самым для русской революции была задана цивилизационная цель, так что ее классовое содержание совместилось с национальным. Возник кооперативный эффект, который придал русской революции большую дополнительную силу.

М. Агурский пишет: «Если до революции главным врагом большевиков была русская буржуазия, русская политическая система, русское самодержавие, то после революции, а в особенности во время гражданской войны, главным врагом большевиков стали не быстро разгромленные силы реакции в России, а мировой капитализм. По существу же речь шла о том, что России противостоял весь Запад. Это не было неожиданностью, и дело было даже не в самой России, а в потенциях марксизма, который бессознательно локализовал мировое зло, капитализм, географически, ибо капитализм был достоинством лишь нескольких высокоразвитых стран.

По существу, капитализм оказывался аутентичным выражением именно западной цивилизации, а борьба с капитализмом стала отрицанием самого Запада. Еще больше эта потенция увеличилась в ленинизме с его учением об империализме. Борьба против агрессивного капитализма, желающего подчинить себе другие страны, превращалась невольно в национальную борьбу. Как только Россия осталась в результате революции одна наедине с враждебным капиталистическим миром, социальная борьба не могла не вырасти в борьбу национальную, ибо социальный конфликт был немедленно локализован. Россия противостояла западной цивилизации» [9].

В своей совокупности рациональные, нравственные и художественные потенции марксизма позволили большевикам послужить организационной основой для выработки нового национального проекта России и подготовительной работы по сборке советского народа. Они провели мировоззренческий синтез представлений крестьянского общинного коммунизма с марксистской идеей модернизации и развития — но (в отличие от марксизма) по некапиталистическому пути.

Ю.В. Ключников, редактор журнала «Смена вех» (в прошлом профессор права Московского университета, а во время Гражданской войны министр иностранных дел у Колчака), объяснял эмиграции (1921), что большевики — «и не славянофилы, и не западники, а чрезвычайно глубокий и жизнью подсказанный синтез традиций нашего славянофильства и нашего западничества» [10].

Соединение русского славянофильства и русского западничества, крестьянского коммунизма с эсхатологической идеей прогресса придало советскому проекту большую убедительную силу, которая

привлекла в собираемый советский народ примерно половину старого культурного слоя (интеллигенции, чиновничества, военных и даже буржуазии). Так проект революции стал и большим проектом *нациестроительства*, национальным проектом.

Виднейший теоретик этничности Э. Смит в своей главной книге «Национализм в XX веке» писал, что как ни назвать результат этого синтеза — «социалистическим национализмом» или «национальным коммунизмом», — он порождает социальный энтузиазм и могучее движение. Другой английский этнолог, Х. Сетон-Уотсон пишет о «национализации коммунизма и марксизации национализма» (см. [11, с. 307]).[1]

Этот синтез, противоречащий марксизму, дался большевикам очень непросто. Мало того, что он углубил их конфликт с марксистами-меньшевиками — настолько, что те призывали Запад к социалистическому крестовому походу против большевиков и в значительной своей части поддержали белых. «Национализация» марксизма поразила и старых большевиков-ленинцев. В декабре 1914 г. Ленин послал в журнал «Социал-демократ» свою статью «О национальной гордости великороссов». Редактор В.А. Карпинский, прочитав слова «мы, великорусские социал-демократы», «мы полны чувства национальной гордости», ответил Ленину: «Никогда таких разделений на страницах нашего Центрального органа не проводилось, никогда там не раздавалось таких слов! Понимаете: даже *слов*!» (см. [11, с. 17]).

Действительно, Карпинский был уверен, что чувство национальной гордости несовместимо с его положением марксиста. В своем ответе он продолжал: «Мне не чуждо только одно чувство гордости: пролетарской гордости (равно как и пролетарского стыда». Ленин с этими замечаниями не согласился, статья вышла, но оппозиция в партии была серьезной.[2]

Своим синтезом большевики смогли на целый (хотя и короткий) исторический период нейтрализовать западную русофобию и ослабить накал изнуряющего противостояния с Западом. С 1920 г. по конец 60-х годов престиж СССР на Западе был очень высок, и это дало России важную передышку. Россия в облике СССР стала сверхдержавой, а русские — полноправной нацией. О значении этого перелома писали и западные, и русские философы, очень важные уроки извлек из него первый президент Китая Сунь Ятсен и положил их в основу большого проекта, который успешно выполняется.

А.С. Панарин подчеркивал эту роль марксизма как советской идеологии: «По-марксистски выстроенная классовая идентичность делала советского человека личностью всемирно-исторической, умеющей всюду находить деятельных единомышленников — «братьев по классу» [148, с. 141].

Но дело не только в том, что российские трудящиеся обрели таким образом поддержку в виде классовой солидарности рабочих Западной Европы и США. Не менее важно было и то, что Россия при этом преодолела ту «цивилизационную раздвоенность», которая в течение многих веков осложняла укрепление ее статуса в мировой системе.

Именно об этой стороне дела пишет Панарин: «Русский коммунизм по-своему блестяще решил эту проблему. С одной стороны, он наделил Россию колоссальным «символическим капиталом» в глазах левых сил Запада — тех самых, что тогда осуществляли неформальную, но непреодолимую власть над умами — власть символическую.

Русский коммунизм осуществил на глазах у всего мира антропологическую метаморфозу: русского национального типа, с бородой и в одежде «а la cozак», вызывающего у западного обывателя впечатление «дурной азиатской экзотики», он превратил в типа узнаваемого и высокочтимого: «передового пролетария». Этот передовой пролетарий получил платформы для равноправного диалога с Западом, причем на одном и том же языке «передового учения». Превратившись из экзотического национального типа в «общечеловечески приятного» пролетария, русский человек стал партнером в стратегическом «переговорном процессе», касающемся поиска действительно назревших, эпохальных альтернатив.

С другой стороны, марксизм выражал достаточно глубокую, рефлексивную самокритику Запада: от нее Запад не мог отмахнуться как от чего-то внешнего, олицетворяющего пресловутый «конфликт цивилизаций»... В той мере, в какой старому русскому «национал-патриотизму» удалось сублимировать свою энергетику, переведя ее на язык, легализованный на самом Западе, этот патриотизм достиг наконец-таки точки внутреннего равновесия. И западническая, и славянофильская традиции по-своему, в превращенной форме, обрели эффективное самовыражение в «русском марксизме» и примирились в нем...

Советский человек, таким образом преодолевший «цивилизационную раздвоенность» русской души (раскол славянофильства и западничества), наряду с преодолением традиционного комплекса неполноценности, обрел замечательную цельность и самоуважение. В самом деле, на языке марксизма, делающем упор не на уровне жизни и других критериях потребительского сознания, обреченного в России быть «несчастливым», а на формационных сопоставлениях, Россия впервые осознавала себя как самая передовая страна и при этом — без всяких изъянов и фобий, свойственных чисто националисти-

ческому сознанию» [148, с. 139-140].

Если так, то заслугой марксизма перед русской революцией было и то, что он послужил прикрытием сущности советской мировоззренческой матрицы — тем прикрытием, которое в течение целого исторического периода было для России политически очень полезным, даже необходимым. По инерции (и благодаря угрозе фашизма) это прикрытие служило советском строю еще пару десятилетий — до 60-х годов.

Учитывая все это, начнем рассмотрение тех установок Маркса и Энгельса, которые, с учетом опыта катастрофы советского строя, которые нанесли ущерб и самосознанию русских, и развитию русской революции, и здоровью советского общества и государства.

Глава 2. Доктрина прогрессивных и реакционных народов

Ворошить представления Маркса и Энгельса о народах для нас болезненно потому, что они замешены на ненависти и жестком расизме по отношению именно к русским и России. Это для нас вообще непривычно, мы долго не могли поверить в расизм немцев, уже сжигающих наши села, а уж слышать такое от людей, чьи портреты несколько десятилетий висели в России во всех кабинетах, вызывает психологический шок. Но надо его спокойно преодолеть, не поддаваясь уязвленному национальному чувству. Конечно, было бы проще изучить эту болезненную тему на примере какого-то другого народа (хотя наверняка и этот другой народ было бы жалко). Но так уж получилось.

Маркс и Энгельс — мыслители Запада, причем мыслители, выдвинувшие большую доктрину мироустройства под эгидой Запада, одну из основных моделей глобализации с устройством мира по принципу «центр — периферия». А Россия у Запада с XVI века (с Ливонской войны) — как кость в горле. Уже тогда на Западе было сказано, в качестве непререкаемой догмы: «Русские хуже турок».

Русофобия — старая, укорененная часть западной культуры, надо смотреть на эту реальность, не впадая в истерику от того, чего нельзя изменить. Нам жить — и с Западом, и с марксизмом, хотя бы он и ушёл под прикрытие новых идеологических наслоений. А значит, надо их *знать* и использовать то полезное, что у них можно взять — спокойно отвергая яды.

Проблему отношения классового подхода и этнических представлений в марксизме необходимо знать потому, что эта глава марксизма прямо повлияла на ход исторического процесса в России. Прежде всего, она предопределила отношения русского революционного движения с западным в конце XIX — начале XX века. Здесь — один из корней раскола русского революционного движения в 1917 г., который привел к Гражданской войне. Наконец, развитие в марксизме представления о России и ее отношениях с Западом сыграли существенную роль и в принятии фашизма большинством населения Германии, и в выработке доктрины холодной войны интеллектуальной верхушкой США. Да и сегодня положения этой концепции основоположников марксизма сказывается на установках влиятельной части левой оппозиции в РФ. Речь идет о важных основаниях западного обществоведения, незнание которых сразу обезоруживает нас в трудной обстановке нынешнего кризиса.

Здесь мы рассматриваем лишь одну из глав огромного учения Маркса и Энгельса. В какой-то мере эта глава, конечно, повлияла и на все остальные срезы представлений марксизма об обществе и историческом процессе. Однако чтобы оценить степень и характер этого влияния, еще нужны специальные исследования. Поэтому для начала лучше исходить из того, что приведенные ниже рассуждения лишь частного вопроса — места и роли *национального* фактора во взглядах классиков марксизма на историю, особенно на революционную борьбу и особенно в приложении к России. Затрагивать политэкономия и философия марксизма мы здесь не будем.

Концепция истории как борьбы народов детально изложена Энгельсом в трактовке революционных событий 1848 г. в Австро-Венгрии [12]. [3]

Во вводной части Энгельс дает исторический очерк становления Австрии. Он подчеркивает, что это был процесс *захвата* славянских земель и *угнетения* славян. Вот главные для нас положения этого очерка: «Габсбурги получили те южногерманские земли, которые находились в непосредственной борьбе с разрозненными славянскими племенами или в которых немецкое феодальное дворянство и немецкое бюргерство совместно господствовали над угнетенными славянскими племенами...

Расположенная к югу от Судетских и Карпатских гор, Австрия в эпоху раннего средневековья была страной, населенной исключительно славянами... В эту компактную славянскую массу вклинились с запада немцы, а с востока — мадьяры...

Так возникла немецкая Австрия... Немцы, которые вклинились между славянскими варварами в эрцгерцогстве Австрии и Штирии, соединились с мадьярами, которые таким же образом вклинились между славянскими варварами на Лейте. Подобно тому, как на юге и на севере... немецкое дворянство господствовало над славянскими племенами, германизировало их и таким образом втягивало их в европейское движение, — так и мадьярское дворянство господствовало над славянскими племенами на юге и на севере...».

Как видим, Энгельс совершенно ясно описал характер национальных отношений немцев и венгров со славянами как *угнетение* и *эксплуатацию*, хотя и назвал захват славянских земель и «этническую чистку» этих земель уклончивым словом «*вклинились*». Определенно выражена и разница этнических статусов. Немцы — европейцы, народ, имеющий развитые государственность и социальную структуру (Габсбурги, дворянство), славяне — племена, которые подвергаются германизации («немцы вклинились между славянскими варварами»). [4]

Как же развивались эти отношения при господстве немцев и мадьяр над варварами? В связи с конкретным случаем этнических взаимоотношений в Австрии Энгельс создает целую концепцию сущности разных народов, используя в качестве диагностического средства *революцию*. Он пишет: «Среди всех больших и малых наций Австрии только три были носительницами прогресса, активно воздействовали на историю и еще теперь сохранили жизнеспособность; это — *немцы*, *поляки* и *мадьяры*. Поэтому они теперь революционны.

Всем остальным большим и малым народностям и народам предстоит в ближайшем будущем погибнуть в буре мировой революции. Поэтому они теперь контрреволюционны».

Таким образом, из представленной Энгельсом модели следует, что революции совершают не классы, не пролетариат, а *нации*. Революционны те нации, которые «сохранили жизнеспособность и являются носительницами прогресса». Не немецкие, венгерские или польские рабочие революционны, а *немцы*, *мадьяры* и *поляки*. Польша в то время была шляхетской, и о наличии в ней революционного пролетариата говорить не приходится. Революционность выступает у Энгельса как присущее полякам *этническое* качество.

Второй важный тезис Энгельса состоит в том, что большинство народов Центральной и Восточной Европы к носителям прогресса *не принадлежит*. Они *контрреволюционны*. Здесь опять же речь идет не о классах, а о народах (нациях). Это — взгляд на этничность через призму *примордиализма* — учения, согласно которому этническая принадлежность человека есть некая данная ему изначально (примордиально) сущность.

Это — важный, но побочный для нашей темы вопрос (подробнее о нем см. [14]). Представления о народах самих Маркса и Энгельса были унаследованы от романтической немецкой философии, согласно которым народам присущи качества, порожденные «кровью и почвой». В целостном виде теорию нации основоположники марксизма не изложили. Это сделал австрийский марксист О. Бауэр, его книга «Национальный вопрос и социал-демократия» была издана в 1909 г. на русском языке в Петербурге. Из ее положений исходили и российские марксисты. Бауэр продолжает традицию немецкого романтизма и представляет нацию как общность, связанную кровным родством — «общей кровью» (см. [15, с. 209]). Формулу Бауэра принял Сталин, хотя и выбросив из нее «кровь».[5]

Однако революционность социальных групп — явление очевидно ситуативное, да и сами социальные группы есть общности весьма изменчивые. Если же говорят, что один народ революционен, а

другой, наоборот, реакционен, то это характеристика *сущностная*. Энгельс как раз и утверждает, что большинство народов Центральной и Восточной Европы к носителям прогресса не принадлежат. Они *контрреволюционны*.

Отсюда Энгельс делает важнейший вывод об исторической *миссии* революции, которая в советском истмате была замаскирована классово-риторикой.[6] Из того «очищенного» марксизма, который нам преподавался и был прочно встроен в наше общественное сознание, вытекало, что революция ожидалась как «праздник угнетенных», как путь к освобождению *всех народов* от угнетения и эксплуатации. Именно так мы понимали смысл девиза, к которому были приучены с детства — *Пролетарии всех стран, соединяйтесь!*

Из рассуждений Энгельса следует совершенно иное — мировая революция призвана не только открыть путь к более прогрессивной общественно-экономической формации (привести производственные отношения в соответствие с производительными силами). Она должна *погубить* большие и малые народы и народности, не принадлежащие к числу прогрессивных («все остальные» народы кроме революционных). Вчитаемся в этот прогноз основателей марксизма: «*Всем остальным большим и малым народностям и народам [то есть, за исключением прогрессивных — С. К-М] предстоит в ближайшем будущем погибнуть в буре мировой революции*».

В виду такой перспективы эти народы, естественно, становятся не просто пассивными в отношении истории, они, в соответствии с концепцией Энгельса, просто *вынуждены* быть контрреволюционными. И хотя такое их отношение к революции, которая грозит народам гибелью, следовало бы считать вполне разумным и оправданным и оно должно было бы вызывать у *гуманистов* сочувствие, Энгельс подобный сентиментализм отвергает.

Он пишет в другой статье («Демократический панславизм»): «На сентиментальные фразы о братстве, обращаемые к нам от имени самых контрреволюционных наций Европы, мы отвечаем: ненависть к русским была и продолжает еще быть у немцев их *первой революционной страстью*; со времени революции к этому прибавилась ненависть к чехам и хорватам, и только при помощи самого решительного терроризма против этих славянских народов можем мы совместно с поляками и мадьярами оградить революцию от опасности. Мы знаем теперь, где сконцентрированы враги революции: в России и в славянских областях Австрии; и никакие фразы и указания на неопределенное демократическое будущее этих стран не помешают нам относиться к нашим врагам, как к врагам» [16, с. 306].

Понятно, насколько актуальными стали эти формулировки в октябре 1917 г., когда к власти в России пришла *марксистская* партия, которая в 1914 г. выдвинула лозунг поражения России в войне, а с начала 1918 г. вела с Германией переговоры о «похабном» Брестском мире. В элите российского общества возникли неразрешимые концептуальные противоречия. Консерваторы прямо увидели в *Октябрьской революции* «Апокалипсис России», реализацию предсказанной марксизмом угрозы, что русским «*предстоит в ближайшем будущем погибнуть в буре мировой революции*». В отчаянной попытке защитить Россию от этой угрожающей самому ее существованию «бури мировой революции» десятки тысяч русских офицеров кинулись на Дон собирать Белую армию.

С другой стороны, верные и верящие марксизму революционеры — меньшевики и эсеры — считали *Октябрьский переворот* контрреволюцией и прямо увидели в нем очередную попытку реакционного славянского крестьянства задушить чистый самоотверженный порыв Февраля, предвестника и первого шага великой мировой революции просвещенного пролетариата. Такую попытку «реакционного русского народа» досконально изучил Энгельс в момент революции 1848 г., и эту вторую попытку он уже предвидел в конце XIX века. Поэтому революционная молодежь тоже бросилась на Дон собирать Белую армию — *марксистская* молодежь в своем антисоветизме на время стала союзником антисоветского *либерального* офицерства. Ведь начиная с 1914 г. все эти статьи Энгельса стали объектом яростной дискуссии в среде российских социал-демократов, и сама идея русской крестьянской революции, подавляющей революцию либеральную, выглядела как прямо предсказанная марксизмом *контрреволюция реакционного народа*.

Некоторые считают, что в этих статьях выразилась *руссофобия* Энгельса. Да, выразилась, основоположники марксизма своей руссофобии и не скрывали. В их личной переписке они мимоходом обмениваются такими замечаниями. Маркс — Энгельсу (24 октября 1868 г.): «Боркхейм, руссофобия которого (я привил ее ему как самое невинное противоядие, чтобы дать выход его излишней жизненной энергии) принимает опасные размеры...». Но к руссофобии мы вернемся позже, сейчас она для нас вещь второстепенная по сравнению с фундаментальными абстрактными постулатами, которые здесь иллюстрируются конкретными случаями взаимоотношений конкретных народов — славян, венгров, немцев.

Да и не только о славянах говорит Энгельс как о реакционных народах. О революции 1848 г. в Австрии он пишет: «Борющиеся разделились на два больших лагеря: на стороне революции оказались немцы, поляки и мадьяры; на стороне контрреволюции остальные, т.е. все славяне, кроме поляков,

румьны и трансильванские саксы» [12, с. 178]. Или, в другом месте: «В Вене хорваты, пандуры, чехи, серезаны и прочий сброд задушили германскую свободу» [17].

На материале конкретной исторической ситуации Энгельс в целой серии работ формулирует важные установки своей концепции истории. Согласно его собственному описанию ситуации дело обстоит так: ослабление государственной власти Австро-Венгрии в момент революции 1848 г. дало всем угнетенным народам возможность выступить против своих *угнетателей* — немецких, польских и венгерских помещиков. Следуя традиционным советским представлениям о марксизме, это надо было расценить как *прогрессивное* движение трудящихся масс. На деле никаких симпатий это выступление против угнетателей у Энгельса не вызвало. Наоборот, это вызвало такое возмущение, что он требует ответных кар и репрессий, совершенно непропорциональных тому ущербу, который угнетенные народы нанесли своим угнетателям. В выступлении трудящихся против их угнетателей и эксплуататоров Энгельс вовсе не на стороне трудящихся. Напротив! Он на стороне угнетателей и эксплуататоров, потому что они — немцы, мадьяры и поляки, а трудящиеся — «славяне».

Что значит «*решительный терроризм против славянских народов*» (причем, заметим, терроризм со стороны *социалистов и демократов*)? Почему «ненависть к русским была и продолжает еще быть у немцев их *первой революционной страстью*»? Разве русские — это класс, эксплуатирующий класс немцев? Ведь это — тексты основоположников марксизма, опубликованные уже после издания «Манифеста коммунистической партии», а не романтические юношеские выступления.

Вот как предвидит Энгельс развитие событий в том случае, если «на один момент славянская контрреволюция нахлынет на австрийскую монархию»: «При первом же победоносном восстании французского пролетариата, которое всеми силами старается вызвать Луи-Наполеон, австрийские немцы и мадьяры освободятся и кровавой мезьей отплатят славянским народам. Всеобщая война, которая тогда вспыхнет, рассеет этот славянский Зондербунд и сотрет с лица земли даже имя этих упрямых маленьких наций».

В ближайшей мировой войне с лица земли исчезнут не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы. И это тоже будет прогрессом» [12, с. 186]. [7]

Из этого можно сделать первый вывод. Он заключается в том, что в шкале ценностей, на которой стоит обществоведение Маркса и Энгельса, ценности *свободы* и *справедливости* вовсе не занимают высшей позиции, как было принято считать в советской трактовке марксизма. Гораздо выше них

находится *прогресс*, понимаемый как приращение благосостояния *Запада*. Страдания угнетенных народов (*эксплуатируемых трудящихся*) являются для Энгельса несущественным фактором, если угнетатели и эксплуататоры принадлежат к тем нациям, которым марксизм присваивает титул носителей прогресса.

Цель исторического развития, которому служат эти *избранные* нации, оправдывает средства. Энгельс пишет: «Конечно, при этом дело не обходится без того, чтобы не растоптали несколько нежных национальных цветков. Но без насилия и неумолимой беспощадности ничто в истории не делается, и если бы Александр, Цезарь и Наполеон отличались таким же мягкосердечием, к которому ныне апеллируют панслависты в интересах своих ослабевших клиентов, что стало бы тогда с историей!» [16, с. 298].

Кто бы мог подумать! Из уст Энгельса — апология жестокости Наполеона, которого следовало бы считать первым крупномасштабным военным преступником Нового времени.

Чтобы наглядно объяснить свою позицию по отношению к славянским народам, Энгельс проводит аналогию с явлением, которое ему кажется очевидно справедливым и прогрессивным — захватнической войной США против Мексики с отторжением ее самых богатых территорий. Он даже мысли не допускает, что кто-то может бросить упрек США за эту войну.

Вот это рассуждение: «И бросит ли Бакунин американцам упрек в «завоевательной войне», которая, хотя и наносит сильный удар его теории, опирающейся на «справедливость и человечность», велась, тем не менее, исключительно в интересах цивилизации? И что за беда, если богатая Калифорния вырвана из рук ленивых мексиканцев, которые ничего не сумели с ней сделать? И что плохого, если энергичные янки быстрой разработкой тамошних золотых россыпей умножат средства обращения, в короткое время сконцентрируют в наиболее подходящих местах тихоокеанского побережья густое население, создадут большие города...? Конечно, «независимость» некоторого числа калифорнийских и техасских испанцев может при этом пострадать; «справедливость» и другие моральные принципы, может быть, кое-где будут нарушены; но какое значение имеет это по сравнению с такими всемирно-историческими фактами?» [1, с. 292-293]. [8]

Здесь выражено фундаментальное положение марксизма, воспринятое от романтических мессианских представлений о роли «белого человека» («Запада») как носителя прогресса. Очевидные массовые страдания, вызываемые вторжением Запада в незападные общества, марксизм принимал за неизбеж-

ную и сравнительно невысокую цену того прогресса, который несло это вторжение. Маркс писал: «Англии предстоит выполнить в Индии двоякую миссию: разрушительную и созидательную, — с одной стороны, уничтожить старое азиатское общество, а с другой стороны, заложить материальную основу западного общества в Азии» [18, с. 135].

Э. Саид, автор классического труда об «ориентализме», положенном в основание евроцентризма мифологизированном представлении о «Востоке», специально рассматривает это противоречие всей доктрины марксизма. Как пример он берет рассуждения Маркса об английской колонизации Индии. Он пишет: «Карл Маркс ввел понятие азиатской экономической системы при анализе в 1853 году британского владычества в Индии, но мимоходом отметил, что обнищание народа было вызвано вмешательством в эту систему английских колонизаторов, их ненасытностью и неприкрытой жестокостью. От статьи к статье у него росла уверенность в том, что, даже разрушая Азию, Британия создает предпосылки для подлинной социальной революции. Стиль Маркса подталкивает нас к тому, чтобы мы, пусть и против воли, подавили в себе естественное возмущение, вызванное страданиями наших восточных братьев, пока их общество подвергается насильственной трансформации: ведь это происходит в силу исторической необходимости...

Однако как ни печально с точки зрения чисто человеческих чувств зрелище разрушения и распада на составные элементы этого бесчисленного множества трудолюбивых, патриархальных, мирных социальных организаций, как ни прискорбно видеть их брошенными в пучину бедствий, а каждого из членов утратившим одновременно как свои древние формы цивилизации, так и свои исконные источники существования, — мы все же не должны забывать, что эти идиллические сельские общины, сколь безобидными они бы ни казались, всегда были прочной основой восточного деспотизма, что они ограничивали человеческий разум самыми узкими рамками, делая из него покорное орудие суеверия, накладывая на него рабские цепи традиционных правил, лишая его всякого величия, всякой исторической инициативы... Вызывая социальную революцию в Индостане, Англия, правда, руководствовалась самыми низменными целями и проявила тупость в тех способах, при помощи которых она их добивалась. Но не в этом дело. Вопрос заключается в том, может ли человечество выполнить свое назначение без коренной революции в социальных условиях Азии. Если нет, то Англия, несмотря на все свои преступления, оказывается, способствуя этой революции, бессознательным орудием истории.

Но в таком случае, как бы ни было прискорбно для наших личных чувств зрелище разрушения древнего мира, мы имеем право воскликнуть вместе с Гёте:

Если мука — ключ отрады,
Кто б терзаться ею стал?
Разве жизнью мириады
Тамерлан не растоптал?

Цитата, приводимая Марксом в подтверждение тезиса о несущих в себе отраду мучениях [18, с. 135-136] взята из «Западно-восточного дивана» и указывает нам на источники представлений Маркса о Востоке. Это романтические и даже мессианские воззрения: как человеческий материал Восток менее важен, чем он же в качестве части романтического проекта спасения. Несмотря на гуманные чувства и сострадание к бедствующим людям, которые Маркс обозначает вполне отчетливо, его экономический анализ прекрасно вписывается в стандартную схему ориенталистского предприятия. В конце концов верх берет именно романтический ориенталистский подход, и теоретические суждения Маркса по общественно-экономическим проблемам сменяются классическим стандартным суждением...

Идея возрождения безжизненной в основе своей Азии — это, конечно же, типичный ход для романтического ориентализма, но усльпнуть подобное заявление из уст того же самого автора, который только что так остро переживал страдания народа, — это поразительно. Прежде всего нам следовало бы спросить, каким образом моральное уравнение Маркса, сочетающее потери Азии с осуждаемым им британским колониальным владычеством, превращается в прежнее неравенство между Востоком и Западом?.. Во-вторых, нам следовало бы спросить, куда же подевалось человеческое сострадание, в какое царство мысли оно удалилось, когда возобладал ориенталистский подход?..

Но если Маркс все же мог испытывать хоть какое-то сострадание к восточным собратьям и даже отчасти отождествлял себя с позицией бедной Азии, это говорит о том, что прежде чем его сознание полностью затмили разного рода ярлыки, прежде чем он обратился к Гёте как источнику знаний о Востоке, произошло нечто важное. Похоже, нашелся хотя бы один человек (в данном случае Маркс), которому удалось разглядеть в Азии ее исконное своеобразие, еще не полностью погребенное под собирательными официальными стереотипами, — и, обнаружив такое своеобразие, он позволил первоначальной Азии овладеть своими эмоциями, переживаниями, чувствами, — однако лишь затем, чтобы впоследствии о ней забыть, столкнувшись с грозной цензурой, воплощенной в самом вокабуляре,

которым он вынужден был пользоваться.

Эта цензура сначала приглушила, а затем и вовсе вытеснила исходное сочувствие, навязав Марксу свою лапидарную формулу объяснения: эти люди ничуть не страдают — ведь это восточные люди, а потому к ним следует относиться иначе, чем к остальным. Налет сочувствия растворился, натолкнувшись на стену неколебимых дефиниций, возведенную ориенталистской наукой и подкрепленную «восточной» эрудицией (вроде гётевского «Дивана»), призванной проиллюстрировать выводы ученых. Язык чувства отступил перед полицейской дубинкой ориенталистской лексикографии и даже ориенталистского искусства. Живой опыт был подменен словарными дефинициями: если разобраться, именно это и происходит в очерках Маркса об Индии. Такое впечатление, что в конце концов что-то вынуждает его повернуть назад, к Гёте, и предпочесть ориентализированный Восток и покровительственное к нему отношение» [19].

То потрясение колониальной системы, которое должна была вызвать пролетарская революция в Европе, воспринимается Энгельсом как неизбежное зло, с которым пришедший к власти пролетариат будет вынужден примириться. И ни о каком «соединении пролетариев всех стран» (например, Англии и Индии) тут и речи нет — Энгельс предлагает пролетарской Англии постараться поскорее оставить индийских, алжирских и других пролетариев на произвол судьбы.

В июле 1916 г. Ленин цитирует письмо Энгельса к Каутскому от 12 сентября 1882 г., в котором обсуждается взаимоотношение победившего пролетариата с колониями. Энгельс пишет: «По моему мнению, собственно колонии, т. е. земли, занятые европейским населением, Канада, Кап, Австралия, все станут самостоятельными; напротив, только подчиненные земли, занятые туземцами, Индия, Алжир, голландские, португальские, испанские владения пролетариату придется на время перенять и как можно быстрее привести к самостоятельности. Как именно развернется этот процесс, сказать трудно. Индия, может быть, сделает революцию, даже вероятно, и так как освобождающийся пролетариат не может вести колониальных войн, то с этим придется помириться, причем, разумеется, дело не обойдется без всяческого разрушения. Но подобные вещи неотделимы от всех революций. То же самое может разыграться еще и в других местах, например, в Алжире и в Египте, и для нас это было бы, несомненно, самое лучшее. У нас будет довольно работы у себя дома» [20, с. 297].

Таким образом, видение реальной истории, в отличие от футурологических рассуждений о всемирной пролетарской революции, вовсе не опирается у Энгельса на представления *классовой* борьбы как

отражения противоречий между производительными силами и производственными отношениями. Романтический образ грядущей, как Второе пришествие, революции пролетариата — это всего лишь образ идеологии, что-то вроде «нового опиума для народа». В критические моменты этот образ отодвигается в сторону, и история предстает как борьба *народов*. В этой картине нет и следа объективности, гуманизма и даже универсализма. Главный критерий для Энгельса — «для нас будет лучше». Интересы Запада превыше всего (термин «прогрессивные нации» — лишь прикрытие этих интересов).[9]

Энгельс откладывает в сторону понятия классовой борьбы и мыслит в понятиях войны народов в *теоретическом* плане — для объяснения современных ему или исторических общественных процессов. Но всего через 30 лет после его смерти к власти в Германии приходят люди, совершающие эту операцию *на практике*. В Шубарт писал в своей книге «Европа и душа Востока»: «Фашистский национализм есть принцип разделения народов. С каждым новым образующимся фашистским государством на политическом горизонте Европы появляется новое темное облако... Фашизм перенес разъединительные силы из горизонтальной плоскости в вертикальную. Он превратил борьбу классов в борьбу наций» [21].

В директивной речи, произнесенной за день до начала войны с СССР, А. Розенберг достаточно четко обозначил цели предстоящей войны: «Мы хотим решить не только временную большевистскую проблему, но также те проблемы, которые выходят за рамки этого временного явления как первоначальная сущность европейских исторических сил» [22].

Таким образом, идеологи немецкого фашизма видели цель войны против СССР в том, чтобы «оградить и одновременно продвинуть далеко на восток сущность Европы». Их война и была той *народной войной Запада против Востока*, к которой призывал Энгельс.

Глава 3. Шовинизм и «натурализация» общества

Энгельс выступает как идеолог колониальной политики буржуазии западных держав — как в самой Европе, так и за ее пределами. И вовсе не *классовыми* интересами *немецкого пролетариата* обосновывает он свою поддержку угнетению славян и лишению их политических прав, а *национальными* интересами *немцев*. Право «жизнеспособной» нации на угнетение более слабых народов кажется Энгельсу настолько очевидным, что он даже переходит на иронический тон:

«Поистине, положение немцев и мадьяр было бы весьма приятным, если бы австрийским славянам помогли добиться своих так называемых «прав»! Между Силезией и Австрией вклинилось бы независимое богемско-моравское государство; Австрия и Штирия были бы отрезаны «южнославянской республикой» от своего естественного выхода к Адриатическому и Средиземному морям; восточная часть Германии была бы искромсана, как обглоданный крысами хлеб! И все это в благодарность за то, что немцы дали себе труд цивилизовать упрямых чехов и словенцев, ввести у них торговлю и промышленность, более или менее сносное земледелие и культуру!» [16, с. 296].

Примитивный шовинизм, которым проникнуты эти рассуждения, удивителен для середины XIX века. «Немцы дали себе труд цивилизовать упрямых чехов и словенцев»! От кого мы это слышим! Чем эти рассуждения отличаются от рассуждений бесноватого фюрера, которые мы справедливо считали бредовыми? Он писал в книге «Майн Кампф»: «Не государственные дарования славянства дали силу и крепость русскому государству. Всем этим Россия обязана была германским элементам — превосходнейший пример той громадной государственной роли, которую способны играть германские элементы, действуя внутри более низкой расы. Именно так были созданы многие могущественные государства на земле. Не раз в истории мы видели, как народы более низкой культуры, во главе которых в качестве организаторов стояли германцы, превращались в могущественные государства и затем держались прочно на ногах, пока сохранялось расовое ядро германцев».

Что касается «упрямых чехов», то утверждение Энгельса антиисторично. И Чехия, и южные славяне уже в Средние века обладали «сносным земледелием», так что поставки зерна из славянских областей (оплаченные поступавшим из Америки дешевым серебром) в XVIII веке во многом способствовали развитию промышленности на Западе. По данным Ф. Броделя, именно в Чехии со второй половины

XVII века наблюдалось повышение урожайности — в отличие от Польши и Западной Европы.

С другой стороны, именно вторжение западного финансового капитала в славянские области задержало их промышленное развитие. Ф. Бродель пишет: «В марксистской историографии был составлен подробный отчет о преступлениях торгового капитализма Нюрнберга в Чехии, Саксонии и Силезии; на него возлагают ответственность за экономическое и социальное отставание этих областей, отрезанных от всего мира и имевших к нему доступ только через недобросовестных посредников. Такие же обвинения можно выдвинуть в отношении генуэзцев в Испании: они помешали развитию местного капитализма» [23].

На утверждение Энгельса о том, что немцы «вклинивались» в славянские земли, чтобы их цивилизовать, отвечает М.А. Бакунин: «Всем известен обычный и неизменный метод, который пускали в ход эти милые проповедники Христова Евангелия [орден Тевтонских крестоносцев и орден Ливонских меченосцев] для обращения в христианство и германизации славянских, варварских и языческих народностей. Впрочем, это тот же самый метод, который их достойные преемники применяют сегодня, чтобы *морализовать, цивилизовать и германизировать* Францию; эти три разных глагола в устах и в мыслях немецких патриотов имеют одинаковый смысл. На практике же они означают обстоятельную и массовую резню, пожары, грабеж, насилие, разорение одной части населения и порабощение остальной. В завоеванных странах вокруг окопанных лагерей этих вооруженных цивилизаторов формировались впоследствии немецкие города. В центре обосновывался епископ, непременно благословлявший все совершенные или предполагаемые набеги этих благородных разбойников; вместе с епископом появлялась целая свора священников, силой крестившая бедных язычников, избегнувших резни; затем этих рабов принуждали строить храмы.

Влекомые стремлением к святости и славе, прибывали, наконец, добрые немецкие буржуа, смиренные, раболепные, подло почтительные по отношению к дворянской спеси, падающие ниц перед всеми установленными властями, политическими и религиозными, одним словом, преклонявшиеся перед всем, что представляло собой какую-либо силу, но до крайности жестокие, преисполненные презрения и ненависти к побежденному местному населению. К этому еще нужно прибавить, что буржуазные выходцы соединяли с этими полезными, хотя и неблагородными качествами силу, ум, редкое упорство в труде и невероятную способность к росту и воинствующей экспансии. Все это, вместе взятое, делало этих трудолюбивых паразитов очень опасными для независимости и целостности национального

характера даже в тех странах, где они водворились не по праву завоевания, но из милости, как, например, в Польше» [24, с. 273].

Борьбу чехов за свою национальную и культурную идентичность Бакунин рассматривает именно как свидетельство неприятия «цивилизаторской миссии» немцев. Он пишет: «Народ [Богемии], поработанный, но не германизированный, проклинал от всего сердца и это рабство, и всю аристократически-буржуазную цивилизацию немцев. Этим объясняется, почему на пути религиозного протестантизма чешский народ опередил на целый век народ немецкий. Одним из первых проявлений этого религиозного движения в Богемии было массовое изгнание всех немецких профессоров из Пражского университета, ужасное преступление, которое немцы никогда не могли простить чешскому народу. И все же, если присмотреться ближе, придется согласиться, что этот народ был тысячу раз прав, изгнав этих дипломированных раблепных развратителей славянской молодежи... Происходя из немецкой буржуазии, они добросовестно выражают ее стремления и дух. Их наука — верное выражение рабского сознания. Это — идеальное освящение исторического рабства» [24, с. 282].

Отбрасывая классовую риторику и представляя историю как борьбу прогрессивных и реакционных народов, Энгельс прибегает к *натурализации* общественных отношений, предвосхищая идеологию социал-дарвинизма. Прежде всего, речь идет о *биологизации* этнических свойств. Для характеристики народов и разделения их на «высшие» и «низшие» он вводит натуралистическое понятие *жизнеспособности*. Как богатство в учении о предопределенности является симптомом избранности, так и в концепции Энгельса «жизнеспособность» служит признаком прогрессивности нации и подтверждает ее права на угнетение и экспроприацию «нежизнеспособных». Стоит заметить, что понятие жизнеспособности как критерий для наделения народов правами Энгельс употреблял до конца жизни, присущая всей этой концепции *биологизация этничности* вовсе не была его ошибкой молодости.

Каковы же у Энгельса показатели «жизнеспособности»? Прежде всего, способность *угнетать* другие народы и *революционность* (имеются в виду «прогрессивные революции»). Вот как иллюстрирует Энгельс эти показатели: «Если восемь миллионов славян в продолжение *восьми веков* вынуждены были терпеть ярмо, возложенное на них четырьмя миллионами мадьяр, то одно это достаточно показывает, кто был более жизнеспособным и энергичным — многочисленные славяне или немногочисленные мадьяры!» [16, с. 297].

Здесь критерием служит сам факт угнетения. Жизнеспособен именно угнетатель — значит, он и прогрессивен, он и выиграет от мировой революции. Мы знаем, как эта идея развивалась в дальнейшем в немецкой философии. О. Шпенглер, который отстаивал идеи консервативной революции и прусского социализма, писал: «Человеку как типу придает высший ранг то обстоятельство, что он — хищное животное... Существуют народы, сильная раса которых сохранила свойства хищного зверя, народы господ-добытчиков, ведущие борьбу против себе подобных, народы, предоставляющие другим возможность вести борьбу с природой с тем, чтобы затем оградить и подчинить их» (цит. в [25]).

Энгельс так сердит на неблагодарных славян, цивилизованных угнетателями-мадьярами, что даже бросает упрек последним: «Единственное, в чем можно упрекнуть мадьяр, — это в излишней уступчивости по отношению к нации, по самой природе своей контрреволюционной» [16, с. 298]. Разве само это выражение не есть образец биологизаторства и расизма: «нация, по самой природе своей контрреволюционная»?

Как ни парадоксально, для Энгельса «жизнеспособен» даже такой народ, который ради свободы и прогресса готов отказаться от своей *национальной идентичности*. Здесь он придает понятию смысл, *противоположный* смыслу того слова, которым он это понятие обозначает. Жизнеспособность, способность к жизни... В чем же проявится жизнь народа, если он действительно завоеует свободу ценой отказа от своей этничности? Ведь он при этом перестанет быть прежним народом, тот народ «умрет» как этническая общность. Энгельс пишет: «Поляки обнаружили большое политическое понимание и истинно революционный дух, выступив теперь против панславистской контрреволюции в союзе со своими старыми врагами — немцами и мадьярами. Славянский народ, которому свобода дороже славянства, уже одним этим доказывает свою жизнеспособность, тем самым уже гарантирует себе будущее» [12, с. 179].

Очевидно, что «славянский народ», который отказывается от славянства, перестает быть славянским. Рассуждение Энгельса не только нелогично, в нем нарушена и мера. Европейские бури вроде революции 1848 г. — катаклизмы не такого масштаба, чтобы стирать с земли народы. Мерилом жизнеспособности они быть не могут, и лишиться своего «славянства» поляки не рисковали. «Большого политического понимания» шляхетская Польша никогда не обнаруживала и постоянно ввязывалась в авантюры, в которых несла потери. Вылезала она из них потому, что в этих авантюрах всегда старалась услужить какой-то западной партии. Даже если та терпела неудачу, Польшу не разорвали слишком

сильно, оставляя ее как материал для следующих авантюр. В данном случае она взяла сторону «своих старых врагов — немцев и мадьяр», и Энгельс ее хвалит просто как изменника ненавистного ему славянства, в своем надуманном страхе перед «панславистской контрреволюцией».

Когда речь заходит о русских, то в поисках оснований для объяснения их прирожденных отрицательных свойств Маркс доходит до привлечения чисто расистского критерия *крови*. Он с интересом относится к сведениям о *происхождении* русских, как будто это дает ключ к пониманию их культурных установок в XIX веке. Он подхватывает самые нелепые гипотезы о том, что русские — *не славяне*, почему-то считая, что это сразу отвратит от них южных славян и чехов. Благожелательно, хотя и с явной иронией он отнесся и к такой версии. В письме Энгельсу (10 декабря 1864 г.) Маркс спрашивает: «Дорогой Фред... Что ты скажешь по поводу глубоких открытий Коллета — с божьей помощью Уркарта, о Навуходносоре и происхождении русских от ассирийцев...?» [26, с. 32]. Нечего и говорить, *глубокое* открытие одного из вождей английского рабочего движения Коллета! А ведь напрашивается вопрос: допустим даже, что есть в русских и капля ассирийской крови — что из этого?

В письме Энгельсу (24 июня 1865 г.) Маркс пишет: «Догма Лапинского, будто великороссы *не славяне*, отстаивается господином Духинским (из Киева, профессор в Париже) самым серьезным образом с лингвистической, исторической, этнографической и т.д. точек зрения; он утверждает, что настоящие московиты, т.е. жители бывшего Великого княжества Московского, большей частью монголы или финны и т.д., как и расположенные дальше к востоку части России и ее юго-восточные части... Выводы, к которым приходит Духинский: название *Русь* узурпировано московитами. Они не славяне и вообще не принадлежат к индогерманской расе, они — *intrus* [пришельцы], которых требуется опять прогнать за Днепр и т.д... Я бы хотел, чтобы Духинский оказался прав, и чтобы по крайней мере этот взгляд стал господствовать среди славян» [26, с. 106-107].

Отвлечемся от тех мотивов, которые побуждали Маркса обнаружить в русских жилах монгольскую кровь, выгнать их обратно за Днепр и т.д. Вникнем в методологический смысл рассуждений. Казалось бы, какая разница во второй половине XIX века, с кем смешались и чье имя узурпировали русские в XIII веке? Ведь все это — преданья старины далекой. Есть русский народ, есть Россия, со времени монгольского нашествия прошло несколько исторических эпох — так давайте в оценке идеологии и политики России исходить из реальности Нового времени. При чем здесь анализ крови? Если ему придается такое значение, что возникает желание сообщить об открытии всем славянам, то только

потому, что именно в «крови», в расовой принадлежности таится, по мнению Маркса, неизменяемая со временем *сущность* московитов, которые коварно примазались к славянам.

Идея, что русские являются не славянами, а пришельцами, которые узурпировали имя Русь, что это азиатский народ, даже не принадлежащий к индогерманской расе — часть *руссофобии*, большой идеологической доктрины, которая внедрялась в сознание западного обывателя начиная с Возрождения. Удивительно то, что Маркс благосклонно обсуждает почерпнутые у польских руссофобов самые гротескные мифы этой доктрины, которые уже тогда находились в полном противоречии с научными представлениями. Отсюда и желание найти у русских следы ассирийской крови — ведь один из мифов руссофобии гласил, что они произошли от библейского народа *Мосох*!

Натурализация этничности не ограничивается у Маркса только биологизацией, «голосом крови». Он охотно подхватывает и теории о влиянии «почвы». Сообщая Энгельсу о новой книге, Маркс пишет: «Очень хорошая книга, которую я пошлю тебе..., это П. Тремо «Происхождение и видоизменение человека и других существ» (Париж, 1865). При всех замеченных мной недостатках, эта книга представляет собой *весьма значительный* прогресс по сравнению с Дарвином... Применение к истории и политике лучше и содержательнее, чем у Дарвина. Для некоторых вопросов, как, например, национальность и т.п., здесь впервые дана естественная основа.

Например, он исправляет поляка Духинского, теорию которого о различиях в геологии России и западославянских земель он в общем подтверждает, отмечая ошибочность его мнения, будто русские — не славяне, а скорее татары и т.д.; считает, что ввиду преобладающего в России типа *почвы* славяне здесь татаризировались и монголизировались; он же доказывает (он долго жил в Африке), что общий тип негра есть лишь результат дегенерации более высокого типа».

Далее Маркс цитирует Тремо: «На одной и той же почве будут повторяться одни и те же характеры, одни и те же способности... Истинной границей между славянскими и литовскими расами, с одной стороны, и московитами — с другой, служит главная геологическая линия, проходящая севернее бассейнов Немана и Днепра... К югу от этой главной линии, задатки и типы, свойственные этой области, отличаются и всегда будут отличаться от тех, которые свойственны России» [26, с. 209-210].

Итак, одна почва «производит» московитов, а другая — литовцев. Разная у них капуста растет. Видно, к проблеме происхождения народов основатели марксизма подходили с той же немецкой биологизаторской мудростью, что и к характеристике социальных типов — «Der Mensch ist was er isst» («Человек

есть то, что он ест»). То, что удивляло в мифологии «кормящего ландшафта» у фашистов, рассуждавших о значении свиньи для различения арийцев и евреев, уходит корнями в немецкий романтизм.

Л.Н. Гумилев, подходя к своей идее о роли ландшафта в создании этничности, цитирует классиков марксизма. Он пишет, приводя цитату из важного труда Энгельса «Происхождение частной собственности, семьи и государства»: «Энгельс развивает мысль Маркса, указывая на прямую связь пищи с уровнем развития разных племен. По его мнению, «обильному мясному и молочному питанию арийцев и семитов и особенно благоприятному влиянию его на развитие детей следует, быть может, приписать более успешное развитие обеих этих рас. Действительно, у индейцев пуэбло Новой Мексики, вынужденных кормиться почти исключительно растительной пищей, мозг меньше, чем у индейцев, стоящих на низшей ступени варварства и больше питающихся мясом и рыбой» [27, с. 32].

Тут Энгельс, похоже, пошёл на поводу у идеологов раннего капитализма, в энциклопедии которых (1771) говорилось: «Крестьяне обычно довольно глупы, ибо питаются они лишь грубой пищей». Не отсюда ли пошёл миф об «идиотизме деревенской жизни»?

Это — выражение крайнего *биологического детерминизма*. Социал-дарвинистский взгляд на социальные группы смыкается с таким же взглядом на расовые и этнические. Энгельс пишет: «Формы мышления также отчасти унаследованы путем развития (самоочевидность, например, математических аксиом для европейцев, но, конечно, не для бушменов и австралийских негров)» [28, с. 629]. Судя по всему, термин «унаследованы» здесь понимается буквально, биологически. Ведь откуда иначе возьмется «самоочевидность математических аксиом», например, у неграмотных европейцев? Только как наследственное качество.

Мы удивляемся: как могли западные социал-демократы в начале XX века принять расизм империалистов. Вот слова лидера Второго Интернационала, идеолога социал-демократов Бернштейна: «Народы, враждебные цивилизации и неспособные подняться на высшие уровни культуры, не имеют никакого права рассчитывать на наши симпатии, когда они восстают против цивилизации. Мы не перестанем критиковать некоторые методы, посредством которых закабаляют дикарей, но не ставим под сомнение и не возражаем против их подчинения и против господства над ними прав цивилизации... Свобода какой-либо незначительной нации вне Европы или в центральной Европе не может быть поставлена на одну доску с развитием больших и цивилизованных народов Европы» [29].

Но ведь Бернштейн почти слово в слово повторяет утверждения Маркса и Энгельса.

Глава 4. Тезис о «прогрессивности» поляков как политическое средство

В своих рассуждениях о «качествах» разных народов Энгельс отбрасывает принцип беспристрастности и выступает с позиции политической выгоды для «своих». Он писал, что немцы и мадьяры угнетали «славянские племена» (чехов, хорватов, сербов и др.), а те покорно терпели — что свидетельствовало об их низкой «жизнеспособности» и оправдывало их угнетение. Но вот славяне выступили против своих угнетателей — именно за свою свободу, чтобы сбросить «ярмо, возложенное на них четырьмя миллионами мадьяр». Энгельс этого и не отрицает: «Южные славяне, уже тысячу лет тому назад взятые на буксир немцами и мадьярами,... поднялись в 1848 году на борьбу за восстановление своей национальной независимости» [12, с. 184]. Тут бы и похвалить их за проявление жизнеспособности и дух свободы. Нет, в их стороны сыплются проклятья. Значит, дело не в свободе, а в том, на чьей ты стороне в данном конфликте. Славяне здесь — против «Запада», в этом все и дело.

Здесь стоит сделать маленькое методологическое замечание. Трактовать обобщающие постулаты Энгельса надо очень осторожно. В разном контексте смысл их может меняться на прямо противоположный — без всяких предупреждений. Вот, он заявляет, например (в письме Каутскому 7 февраля 1882 г.): «Устранение национального гнета является основным условием всякого здорового и свободного развития» [20, с. 220]. Казалось бы, формула имеет *общее* значение. Но нет, она относится только к Польше — Энгельс выдвинул ее в поддержку борьбы польских социалистов против России. Точнее, Энгельс оговаривается, что «две нации в Европе не только имеют право, но и обязаны быть национальными, прежде чем они станут интернациональными: это — ирландцы и поляки» [20, с. 221, 222].

В другом месте, задолго до этого (в 1847 г.), Энгельс, стоя на митинге рядом с Марксом, говорит знаменитую фразу: «Никакая нация не может стать свободной, продолжая в то же время угнетать другие нации». Формула эта также предельно обобщенная (хотя и высказана в контексте польского вопроса) — *никакая нация не ...* Казалось бы, через год он должен был бы напомнить эту формулу

немецким и мадьярским борцам за свободу и призвать их к национальному освобождению славян. Как мы видели выше, ничего подобного не произошло — он призвал их к *кровавому терроризму* против славян.

Надо сделать еще и такое замечание. Понимание трудов классиков марксизма сопряжено с особой методологической сложностью. Переплетение в этих трудах обществоведения с идеологией во многих случаях приводит к тому, что конъюнктурная «революционная целесообразность» заставляет авторов говорить нечто совершенно противоположное тому, что они знают как обществоведы. Читателю трудно определить, какое утверждение надо принимать всерьез, а какое вызвано требованиями момента и верить ему не следует. Это свойство текстов марксизма в последующем позволяло идеологам манипулировать ими, обосновывая свои «требования момента» цитатами из классиков.

И в момент революции 1848 г., и позже, в 1863 г., Маркс и Энгельс представляли *поляков* как нацию, принадлежащую к категории «носительниц прогресса». Выше приведены красноречивые высказывания Энгельса, сделанные в январе 1849 г. В феврале того же года он писал, что «польская дворянская республика была колоссальным шагом вперед по сравнению с русским самодержавием» [30, с. 325].

Утверждение сильное, речь о *колоссальном шаге* вперед. В это должны были вдуматься всем марксисты — и польские, и русские, и прочие. Но ведь в действительности Энгельс так не думал! В личной переписке он дает полякам и российскому самодержавию совсем другие оценки. Вот письмо Энгельса Марксу от 23 мая 1851 г. Судя по всему контексту, речь в письме идет об обустройстве Европы после победы всемирной пролетарской революции, которая должна была произойти со дня на день. Приведем здесь довольно широкие выдержки из этого письма:

«Чем больше я размышляю над историей, тем яснее мне становится, что поляки — *une nation foutue* [пропащая нация, обреченная нация], которая нужна, как средство, лишь до того момента, пока сама Россия не будет вовлечена в аграрную революцию. С этого момента существование Польши теряет всякий смысл. Поляки никогда не совершали в истории ничего иного, кроме смелых драчливых глупостей. И нельзя указать ни одного момента, когда бы Польша, даже только по сравнению с Россией, с успехом представляла бы прогресс или совершила что-либо, имеющее историческое значение. Наоборот, Россия действительно играет прогрессивную роль по отношению к Востоку... Россия восприняла гораздо больше элементов просвещения и в особенности элементов промышленного развития, чем, по самой природе своей шляхетски-сонная, Польша... Поляки никогда не умели ассимилировать чужерод-

ные элементы. Немцы в [польских] городах остались и остаются немцами. Между тем каждый русский немец во втором поколении является живым примером того, как Россия умеет русифицировать немцев и евреев. Даже у евреев вырастают там славянские скулы...

Вывод: взять у поляков на западе все, что возможно, занять их крепости немцами, особенно Познань, под предлогом защиты, предоставить им хозяйничать, посылать их в огонь, пожирать их продукты, кормить их обещаниями Риги и Одессы, а в случае, если бы удалось вовлечь в движение русских, соединиться с ними и вынудить поляков к уступкам» [31].

Вот истинные взгляды на то, как должна творить историю жизнеспособная нация: натравить поляков на Россию, «посылать их в огонь, пожирать их продукты», потом натравить русских на поляков — и властвовать над ними.

И ради этой политической целесообразности Маркс и Энгельс в публичных политических выступлениях гипертрофируют революционные и прогрессивные качества поляков. Вот статья Энгельса 1875 г.: «Польша — не только единственный славянский народ, но и единственный европейский народ, который сражался и сражается как всемирный солдат революции» [32, с. 555]. Вот выступление Энгельса в 1876 г.: «Польша играет совершенно особую роль в истории европейских революций. Любая западная революция, которой не удастся увлечь за собой Польшу и обеспечить ей независимость и свободу, осуждена на поражение... Воистину Польша не похожа ни на какую иную страну. В революционном аспекте это краеугольный камень европейского здания: сумеет ли удержаться в Польше революция или реакция, — та или другая окончательно победит и во всей Европе» [33, с. 35-36].

В похвалах революционному героизму поляков Маркс порой теряет чувство меры. Об их стойкости во время событий 1848 г. он выразился так: «Снова польский народ, этот бессмертный рыцарь Европы, заставил монгола отступить» [34, с. 205]. Как это «заставил монгола отступить», если через фразу сам же Маркс сообщает, что «Россия пришла в себя и достаточно собралась с силами, чтобы нанести революции 1848 г. удар в ее последнем убежище»?

Таких заявлений множество. За ними стоит одна главная мысль: «Освобождение Польши равнозначно падению Российской империи». Вот общее заявление Маркса, Энгельса и Лафарга в 1880 г.: «Клич «Да здравствует Польша!» означал сам по себе: смерть Священному союзу, смерть военному деспотизму России, Пруссии и Австрии, смерть монгольскому господству над современным обществом!» [33, с. 248]. При этом противопоставление Польши и России носит исключительно *цивилизаци-*

онный характер, оно не имеет никакого классового смысла.

Мысль такова: Польша — «часть Европы», чужеродная для *азиатской* России. Ее освобождение сразу вытолкнет Россию из Европы и освободит прогрессивные силы Запада от угрозы русского милитаризма. Энгельс пишет: «Как ни развилась Россия со времени Петра Великого, как ни возросло ее влияние в Европе, — все же она по существу оставалась такой же внеевропейской державой, как, например, Турция, вплоть до того момента, когда она овладела Польшей... Что Польшу нельзя умертвить, это она доказала в 1863 г. и доказывает это каждый день. Ее право на самостоятельное существование в семье европейских народов неоспоримо» [35].

Понятно, какую роль сыграли публикации и выступления Маркса и Энгельса по «польскому вопросу» в формировании отношения к России и русским в польском обществе и особенно в польском левом движении. В XX веке этот вклад в польскую русофобию стоил и полякам, и русским немало дополнительных страданий. Вот наглядный пример. Юзеф Пилсудский, ставший в 1919 г. диктатором Польши и начавший в 1920 г. войну против Советской России, был революционером и *социалистом*, руководителем Польской социалистической партии. В 1887 г. он был сослан по тому же делу о подготовке покушения на царя, по которому был казнен брат Ленина Александр Ульянов. Находясь в ссылке в Сибири, он, по его признанию, «вылечился от остатков тогдашнего русского влияния, очистился для западноевропейского влияния». Биографы Пилсудского отмечают, что он был большим поклонником Энгельса и главным пунктом в его политической программе была «глубокая ненависть к России». Вряд ли Энгельс завоевал у него такой авторитет своим трудом «Диалектика природы».

Стремление Маркса и Энгельса придавать «польскому вопросу» во всех его аспектах антирусское звучание привлекало к ним крайне правых, «махровых» поляков, которые иначе не имели бы никакого шанса приобрести расположение основоположников научного коммунизма. Например, 12 сентября 1863 г. Маркс сообщает Энгельсу о своем новом знакомом: «Мое самое интересное знакомство здесь с полковником Лапинским. Без сомнения, он умнейший из всех поляков, встреченных мной, и кроме того — человек действия. Национальная борьба его не интересует, он знает только расовую борьбу. Он равно ненавидит всех азиатов, к которым причисляет русских, турок, греков, армян и т.д.» [36]. [10]

«Умнейший из поляков» ненавидит русских и греков как *азиатов* и считает, что русские и поляки принадлежат к разным расам. Он перечисляет народы, которые ненавидит, и готов вести с ними расовую борьбу, даже национальная борьба его не интересует. И у таких людей Маркс собирал самые

нелепые, антинаучные сведения, которые могли хоть как-то послужить для подкрепления антирусских установок.

Глава 5. Как понимать «пролетарский интернационализм» классиков марксизма? Какие народы достойны существования?

В 1882 г. Энгельс все еще считал славян смертельным врагом Запада и откровенничал Каутскому: «Вы могли бы спросить меня, неужели я не питаю никакой симпатии к малым славянским народам и обломкам народов, разделенным тремя клиньями, вбитыми в славянство: немецким, мадьярским и турецким? В самом деле — чертовски мало» [20, с. 223].

Он, правда, обещает, что после крушения царизма славянам дадут попробовать свободы, но при этом «убежден, что для большинства австро-венгерских славян достаточно будет шести месяцев независимости, чтобы они стали умолять принять их обратно».

Энгельс постоянно отмечает не классовый, а *цивилизационный* характер столкновения 1848 года. Согласно его трактовке, в 1848 г. реакционный Восток, как и во время арабского, монгольского и турецкого нашествий, поднялся против прогрессивного Запада («...против всего европейского развития. А там, где речь шла о спасении последнего, какую роль могли играть несколько таких давно распавшихся и обессиленных национальностей, как австрийские славяне...?»).

При этом даже особо подчеркивается, что речь идет не о классовой борьбе, а о *войне народов*. Вот, например, Энгельс пишет уже в июне 1849 г.: «Европейская война, *народная война*, стучится в дверь. Через несколько недель, быть может уже через несколько дней, армии республиканского Запада и поработанного Востока столкнутся друг с другом на немецкой земле в решающем бою» [37, с. 569].[11]

Поминать классовые интересы было бы тут вообще неуместно. Какая уж тут классовая борьба, когда даже об отдельной нации не может быть и речи, когда «существует только один вопрос» — интерес Запада как целого (понятно, что чехи, хорваты и т.п. реакционные народы в «Запад» не включаются, так что «Европа» и «Запад» являются у Энгельса понятиями не географическими, а именно цивилизационными). Таким образом, реакционные народы могут географически располагаться и внутри Запада, служа в нем *пятой колонной* реакции. Против них большая «революционная» нация должна вести

превентивную войну — или до «полного их уничтожения», или до полной их ассимиляции (до «полной утраты их национальных особенностей»).

Вот как он обобщает смысл борьбы славян, проводя аналогию с шотландцами в Англии, бретонцами во Франции и басками в Испании: «Нет ни одной страны в Европе, где в каком-нибудь уголке нельзя было бы найти один или несколько обломков народов, остатков прежнего населения, оттесненных и покоренных нацией, которая позднее стала носительницей исторического развития. Эти остатки нации, безжалостно растоптанной, по выражению Гегеля, ходом истории, эти *обломки народов* становятся каждый раз фанатическими носителями контрреволюции и остаются таковыми до момента полного их уничтожения или полной утраты своих национальных особенностей, как и вообще уже самое их существование является протестом против великой исторической революции...

Таковы в Австрии панславистские *южные славяне* ; это только *обломки народов* , продукт в высшей степени запутанного *тысячелетнего развития* . Вполне естественно, что эти... обломки народов видят свое спасение только в регрессе всего европейского движения, которое они хотели бы направить не с запада на восток, а с востока на запад, и что орудием освобождения и объединяющей связью является для них *русский кнут* » [12, с. 183].

В представлении Энгельса славяне — это расплывшаяся по Европе «империя зла», как коммунизм для Рейгана или А.Н.Яковлева. Энгельс приписывает им совершенно дьявольские замыслы: «Славяне..., оттесненные к востоку немцами, покоренные частично немцами, турками и венграми, незаметно вновь объединяя после 1815 г. отдельные свои ветви..., впервые заявляют теперь о своем единстве и тем самым объявляют смертельную войну романо-кельтским и германским народам, которые до сих пор господствовали в Европе. Панславизм — это не только движение за национальную независимость; это — движение, которое стремится свести на нет то, что было создано историей за тысячелетие; движение, которое не может достигнуть своей цели, не стерев с карты Европы Турцию, Венгрию и половину Германии, а добившись этого результата, не сможет обеспечить своего будущего иначе, как путем покорения Европы... Он ставит Европу перед альтернативой: либо покорение ее славянами, либо разрушение навсегда центра его наступательной силы — России» [38, с. 202-203]. [12]

Здесь дана картина якобы тысячелетней, неизбежной и непримиримой вражды между славянами с одной стороны и романо-кельтским и германским народами с другой. Как же вяжется со всем этим призыв Коммунистического Манифеста «*Пролетарии всех стран, соединяйтесь!* »? Ведь Манифест был

написан более чем за год до цитированных выше статей Энгельса 1849 г.

Этот призыв вяжется с установками Энгельса только если признать, что он обращен лишь к пролетариям тех *прогрессивных* стран (наций), которые в классификации Энгельса имеют право на жизнь (сейчас сказали бы «золотой миллиард»). В письме Каутскому (7 февраля 1882 г.) Энгельс поясняет: «Интернациональное движение пролетариата вообще возможно лишь в среде самостоятельных наций... Интернациональное сотрудничество возможно только между *равными*» [20, с. 220, 221].

Самостоятельных и равных наций в конце XIX века было в мире немного, это были нации империалистического Запада. Они были равны по критерию их жизнеспособности и уровня развития капитализма. Именно пролетариат этих наций и призывался к соединению. И когда, по представлениям Энгельса, произойдет очищающая революция «пролетариев всех *этих* стран», именно *этому* прогрессивному пролетариату выпадет честь «кровавой мстью отплатить славянским народам» и стереть с лица земли «целые реакционные народы». Тут уж разбираться не будут, кто там пролетарий, а кто крестьянин или купец — клеймо ставится на народе в целом.

Энгельс пишет: «В то время как французы, немцы, итальянцы, поляки, мадьяры подняли знамя революции, *славяне*, как один человек, выступили под знаменем *контрреволюции*. Впереди шли южные славяне, которые давно уже отстаивали свои контрреволюционные сепаратистские поползновения против мадьяр; далее чехи, а за ними русские, вооруженные и готовые появиться в решительный момент на поле сражения» [16, с. 301].

Конечно, подход марксизма сбивает с толку из-за частого перехода от одной модели к другой без всякого предупреждения. Ведь буквально в одно и то же время с этими статьями Энгельса выходят его совместные труды с Марксом, где утверждается, что вся человеческая история — это *борьба классов*. Это утверждение абсолютно несовместимо с концепцией революционных и контрреволюционных наций, с приведенными выше формулировками («*славяне*, как один человек, выступили под знаменем *контрреволюции* »).

Концепция, связывающая прогрессивность или реакционность с этнической принадлежностью, дается в самых разных вариациях, иногда в крайних выражениях. Вот, например, в такой форме: «Потому, что слова «поляк» и «революционер» стали синонимами, полякам обеспечены симпатии всей Европы и восстановление их национальности, в то время как чехам, хорватам и русским обеспечены ненависть всей Европы и кровавая революционная война всего Запада против них» [16, с. 303].

Здесь примечательна мысль, что Запад в качестве награды или наказания народам способен *восстановить* их национальность — или *лишить* их национальности («демонтировать» неудобный ему народ, совершить в каком-то виде *национальный геноцид*).

Какие же народы, по мнению основоположников марксизма, имели право на продолжение своего существования в будущем? Каким народам *не «предстояло в ближайшем будущем погибнуть в буре мировой революции»?*

В 1865 г., предлагая Лондонской конференции набросок программы для Женевского конгресса Интернационала (Международного Товарищества рабочих), Маркс во всем разделе «III. Международная политика» оставил всего один вопрос: «О необходимости уничтожения московитского влияния в Европе путем осуществления права наций на самоопределение и восстановления Польши на демократических и социальных основах» [26, с. 409]. Других проблем международной политики в период жестоких колониальных войн и становления мировой системы империализма Маркс не видел.

Таким образом, принцип права наций на самоопределение Маркс выдвигал только для Польши, и *не ради нее*, а как средство «уничтожения московитского влияния в Европе» (как красноречиво это словечко — «московитское»). В повестку дня Конгресса это предложение вошло как пункт 9: «Московитская угроза Европе и восстановление независимой и единой Польши».

Через год, в 1866 г., Энгельс так разъясняет принципиальную установку Интернационала в этом вопросе: право на независимую государственность должны иметь только большие (по выражению Гегеля, «*исторические*») народы Европы. Энгельс говорит о «старом положении демократии и рабочего класса о праве крупных европейских *наций* на отдельное и независимое существование» (заметим мельком, что речь постоянно идет о *европейских* нациях). Здесь биологизация этничности подкрепляется у Маркса и Энгельса *историко-эволюционным* эссенциализмом, то есть представлением, будто изначально данной народам сущностью становится дух, наличие или отсутствие которого и делит народы на две категории — *исторические* и *неисторические*. Тем народам, которые «не имеют истории», в национальном существовании, по мнению Энгельса, будет отказано.

Энгельс пишет серию из трех статей в английскую газету «Commonwealth», в первой из которых объявляет, что излагаемые им принципы (программа внешней политики рабочих Западной и Центральной Европы) поддержаны всеми группами Интернационала кроме прудонистов, которые отвергали антироссийскую направленность этой программы (по выражению Энгельса, «*глядели на дело*

глазами Герцена»).

Он пишет: «Право больших национальных образований Европы на политическую независимость, признанное европейской демократией, не могло, конечно, не получить такого же признания в особенности со стороны рабочего класса. Это было на деле не что иное, как признание за другими большими, несомненно жизнеспособными нациями тех же прав на самостоятельное национальное существование, каких рабочие в каждой отдельной стране требовали для самих себя. Но это признание и сочувствие национальным стремлениям относилось только к большим и четко определенным историческим нациям Европы; это были Италия, Польша, Германия, Венгрия» [39].

Ранее Энгельс на примере чехов и словаков объяснял, кто после мировой революции будет лишен права на национальное существование. Он писал: «Народы, которые никогда не имели своей собственной истории, которые с момента достижения ими первой, самой низшей ступени цивилизации уже подпали под чужеземную власть или лишь при помощи чужеземного ярма были *насильственно* подняты на первую ступень цивилизации, нежизнеспособны и никогда не смогут обрести какую-либо самостоятельность. Именно такова была судьба австрийских славян. Чехи, к которым мы причисляем также моравов и словаков..., никогда не имели своей истории... И эта «нация», исторически совершенно не существующая, заявляет притязания на независимость?» [16, с. 294].

Критерии, с которыми Энгельс подходит к предопределению судьбы народов, совершенно ясны. Он — на стороне угнетателей, на стороне «высшей расы», которая не только имеет право, но и обязана «поглощать умирающие нации», выполняя тем самым свою цивилизаторскую миссию. Он так пишет об исходе столкновения славян и немцев во время революции 1848 г.:

«Так закончились в настоящее время [в 1849 г.] и, весьма вероятно, навсегда попытки славян Германии восстановить самостоятельное национальное существование. Разбросанные обломки многочисленных наций, национальность и политическая жизнеспособность которых давным-давно утасли и которые поэтому в течение более тысячи лет были вынуждены следовать за более сильной, покорившей их нацией,... эти умирающие национальности: чехи, каринтийцы, далматинцы и т.д., попытались использовать общее замешательство 1848 г. для восстановления своего политического status quo, существовавшего в 800 г. нашей эры.

История истекшего тысячелетия должна была показать им, что такое возвращение вспять невозможно; что если вся территория к востоку от Эльбы и Заале действительно была некогда занята

группой родственных славянских народов, то этот факт свидетельствует лишь об исторической тенденции и в то же время о физической и интеллектуальной способности немецкой нации к покорению, поглощению и ассимиляции своих старинных восточных соседей; он свидетельствует также о том, что эта тенденция к поглощению со стороны немцев всегда составляла и составляет одно из самых могучих средств, при помощи которых цивилизация Западной Европы распространялась на востоке нашего континента... и что, следовательно, естественная и неизбежная участь этих умирающих наций состоит в том, чтобы дать завершиться этому процессу разложения и поглощения более сильными соседями» [40, с. 83-84].

Идея, что в ходе мировой пролетарской революции для дальнейшего национального существования будут «отобраны» лишь большие «исторические» нации, а *народы* сгорят в огне прогресса, поглощенные этими нациями, является принципиальной установкой классического марксизма. Уже в «Манифесте» она высказана вполне ясно: «Национальная обособленность и противоположности народов все более и более исчезают уже с развитием буржуазии, со свободой торговли, всемирным рынком, с единообразием промышленного производства и соответствующих ему условий жизни. Господство пролетариата еще более ускорит *их исчезновение* » [41] (выделено мною — С.К-М).

Это утверждение сопровождается туманным предсказанием, расшифровка которого мне не встречалась: «Рабочие не имеют отечества... Пролетариат должен прежде всего... конституироваться как нация». Возможно, этот тезис содержит смутную гипотезу, которая не была развита в дальнейшем — о взаимосвязи класса и нации как двух систем, способных к структурному преобразованию одна в другую. Для такого преобразования, видимо, нужна ликвидация всей сложной социальной структуры общества с исчезновением «непролетарских» сословий. Понятно, что при такой трансформации народы должны исчезнуть, но непонятно, как сохранятся «национальная обособленность и противоположности» исторических наций, каков будет социальный носитель их идентичности.

Тут следует заметить, что как только Маркс и Энгельс переходят от модели истории как войны народов к модели классовой борьбы, методологическая сила их модели иссякает. Вот прогноз Энгельса, в котором он соединяет *социальное* (формационный подход) с *национальным* (цивилизационный подход), соединяет категории *классовые* и *этнические*. Этот прогноз вытекает из его анализа революции 1848 г. как столкновения революционных классов и реакционных народов. Он пишет в предисловии к итальянскому изданию «Манифеста» (1893): «Ни в какой стране господство буржуазии невозмож-

но без национальной независимости. Поэтому революция 1848 г. должна была привести к единству и независимости тех наций, которые до того времени их не имели: Италии, Германии, Венгрии. Очередь теперь за Польшей. Итак, если революция 1848 г. и не была социалистической, то она расчистила путь, подготовила почву для этой последней» [42, с. 382].

Таким образом, согласно Энгельсу, итог 1848 года таков: революционные народы обрели национальную независимость, и она расчистила им путь к социалистической революции. Почему же социалистическая революция была совершена как раз наиболее реакционным народом — русскими? Явная ошибка прогноза Энгельса, который он публикует в 1893 г., практически уже в ходе русской революции, и при этом нисколько не отказывается от своих установок 1849 года, говорит о несостоятельности *методологии* его анализа.

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, готовя к изданию Полное собрание сочинений Маркса и Энгельса, встал перед сложной задачей — смягчить шокирующий эффект, который могли бы произвести на читателей работы Энгельса по национальному вопросу. Составители и редакторы дали в предисловии к 6-му тому пространственный комментарий. Он был явно неадекватным, уклонялся от обсуждения главного смысла этих работ и сводил все дело к тому, что Энгельс, конечно, был прав — для уровня знаний того времени, — но история пошла не так, как он предполагал. Вот выдержки из этого комментария:

«В статьях «Борьба в Венгрии» и «Демократический панславизм» Энгельс выступает против националистической идеологии, какую бы форму она ни принимала, — против пангерманизма и панславизма. Однако наряду с правильной исторической оценкой движения ряда славянских народов, входивших в состав Австрии, как движения, противоречившего в то время интересам германской и европейской революции, в статьях Энгельса содержатся некоторые ошибочные положения об исторических судьбах этих народов. Энгельс высказывает взгляд, будто эти народы уже не способны сыграть прогрессивную роль в дальнейшем ходе исторического развития и осуждены якобы на гибель как самостоятельные народы... Ошибочные взгляды Энгельса на историческую роль некоторых славянских народов объясняются также и тем, что в 1848-1849 годах марксистская разработка национального вопроса находилась еще в начальной стадии, и опыт национальных движений малых народов был еще сравнительно невелик» [43].

Оправдание, которое смог найти для Энгельса Институт марксизма-ленинизма, принять невозможно. Речь идет не о «некоторых ошибочных положениях», якобы вызванных новизной темы, а о краеугольных камнях, которые Энгельс закладывает в *методологию* национального вопроса (например, о категориях прогрессивных и реакционных народов). И «некоторые славянские народы» осуждаются Энгельсом на гибель не под железной пятой слепых объективных законов исторического развития, а на казнь от руки победоносного немецкого пролетариата. Вчитаемся к последнюю фразу статьи «Демократический панславизм»: «Тогда борьба, «беспощадная борьба не на жизнь, а на смерть» со славянством, предающим революцию, борьба на уничтожение и беспощадный терроризм — не в интересах Германии, а в интересах революции!» [16, с. 306].

Можно ли оправдать это лишенное логики тоталитарное утверждение? Почему речь идет о *предательстве* чужой для славянских крестьян буржуазно-помещичьей революции? Разве славяне присягали ей на верность? Как в революции, так и в борьбе с нею участвовали очень небольшие части населения. Можно ли в наказание за это подвергать «борьбе на уничтожение и беспощадному терроризму» целые народы! Даже удивительно, что и до сих пор товарищи, охраняющие марксизм от «нападок», оправдывают всю систему подобных «ошибочных положений» Энгельса.

Глава 6. Что такое «народ»?

Здесь уместно сделать еще одно методологическое замечание. Чтение текстов Маркса и Энгельса сильно затруднено тем, что они нередко обозначали одним и тем же привычным словом разные, необъясненные *сущности*. Постичь их могли лишь немногие посвященные, которые и ведут между собой уже более полутора веков споры об этих сущностях. Как человек не может понять без помощи юриста изоцированные законы современного западного общества, так и канонические тексты марксизма нельзя понять без профессоров, обученных *герменевтике* — науке толкования текстов. Те, кто понимали тексты Маркса и Энгельса буквально, по многим вопросам были введены в заблуждение, которое иногда стоило им очень дорого.

Представления Энгельса о народах является достаточно ясным, когда он говорит о *славянах*. Он даже сильно огрубляет образ народа, который является сложной общностью, представляя ее моделью *коллективного индивида* («славяне как один человек»). Герменевтика требуется и для того, чтобы понять суждения Энгельса о немцах и мадьярах, а также вообще о *революционных* нациях. Он пишет: «Революция 1848 года заставила все европейские народы высказаться за или против нее. В течение одного месяца все народы, созревшие для революции, совершили революцию» [16, с. 301].

Как это можно понять? Ведь революция 1848 года — это открытое столкновение *внутри* «исторических» наций Европы, внутри европейских народов. Революция — всегда внутренний раскол, разделение народа большим противоречием. Народ что-то может совершить «как один человек» (хотя и это гипербола) лишь на национальной основе, но каким образом немцы могут стать *революционным народом* в самой Германии? Понять это можно только приняв, что, в концепции Энгельса, та часть немцев, которая выступила *против* революции и, кстати, *подавила* ее, перестает быть частью народа. Парадокс, но к этой части, исключенной Энгельсом из немецкого народа, принадлежит, видимо, *большинство* немцев.

Об этой части Энгельс не говорит вообще ничего, в его модели это уже не немцы, а лишенная национальности безликая масса, которая организована как *иной народ*, не имеющий названия и в данный момент переставший быть «историческим». Так же и мадьяры. Они, по утверждению Энгельса, все как один — *революционный народ*. Значит, те многочисленные помещики и «аристократические

офицеры», которые, по выражению самого Энгельса, «дезертировали» из стана революции, из числа мадьяр как народа им исключаются.

Вот глава 18 («Мелкая буржуазия») из работы Энгельса «Революция и контрреволюция в Германии», опубликованная в марте 1852 г. [15, с. 103-107]. Из следующих высказываний можно судить о том, какая доля немцев примкнула к революции и можно ли на основании этой количественной меры считать немцев *революционной нацией*. Он пишет: «В мае восстание вспыхнуло, в середине июля 1849 года оно было полностью подавлено. Первая германская революция закончилась... В Дрездене уличная борьба продолжалась четыре дня... В Рейнской Пруссии дело дошло лишь до незначительных схваток... Как только было сосредоточено достаточное количество войск, вооружённому сопротивлению был положен конец».

Самый широкий масштаб восстание приобрело в Пфальце и Бадене. Положение в этой области Энгельс характеризует так: «Армия [повстанцев] была дезорганизована... и стояла перед вчетверо превосходящими её силами противника». Таким образом, число немцев, открыто примкнувших к революции, было существенно меньше численности *кадровой армии*. Значит, речь идет о порядке *одного процента* населения. Это и есть *революционный народ*.

Из дальнейшего можно сделать вывод, что в поражении виновата мелкая буржуазия, составлявшая подавляющее *большинство* немцев, поскольку к ней причислялись крестьяне и ремесленники. Энгельс пишет (явно вступая в противоречие с предыдущим описанием двух общностей — повстанцев и армии): «Во всех государствах Германии не только народ, но и войска решительно склонялись на сторону восстания и ждали только удобного случая, чтобы открыто присоединиться к нему. И всё же движение, попав в руки мелкой буржуазии, с самого начала было обречено на гибель... Мелкая буржуазия... жадно спешила захватить власть, как только восстание — совершенно вопреки её желанию — вспыхнуло; но этой властью она пользовалась только для того, чтобы свести к нулю успехи восстания. Повсюду, где вооружённое столкновение приводило к серьёзному кризису, мелких буржуа охватывал величайший ужас перед создавшимся для них опасным положением: ужас перед народом, который всерьёз принял их хвастливый призыв к оружию».

Структурируем социологическую картину, которую нарисовал Энгельс. Он выделяет три силы: *восставший народ*, *мелкую буржуазию* (которая народу противостоит и его боится, хотя составляет большинство населения) и *армию* (численность которой вчетверо превышала число повстанцев даже

в зоне максимального подъема революции). Из соотношения численности этих сил можно сделать вывод, что восставший *народ* представляет собой очень небольшое меньшинство немцев, а подавляющее большинство немцев противодействовало этому «народу» тем или иным способом — оно, выходит, было *антинародным* .

Таким образом, Энгельс, исходя из своих чисто политических пристрастий, возводит в ранг народа небольшую его часть и лишает статуса «частиц народа» большинство немцев. И даже при таком соотношении называет немцев *революционной нацией* . Понятия, которые применяет Энгельс, совершенно искажают картину реального общественного столкновения и затрудняют непредвзятый взгляд на него.

В большой работе Маркса о революции 1848 г. в Германии «Буржуазия и контрреволюция» [44] ключевым словом также является *народ* . Смысл этого понятия передается такой схемой. Трусливая немецкая буржуазия не возглавила народ, но народ толкал ее вперед. А она предала народ и пошла на соглашение с правительством. Как видим, и в этой модели «вне народа» остается та часть немцев, которая не поддержала революцию и оказала ей активное или пассивное сопротивление, в результате чего революция и была подавлена. Эта часть немцев, в представлении Маркса, в «народ» не входит. Но себя-то она наверняка считает народом! Строго следуя Марксу, надо было бы сказать, что в момент революции происходит расщепление *прежнего народа* , в котором назрело противоречие, на *два новых народа* .[13]

Надо отметить, однако, что основатели марксизма часто сдвигались в другую крайность и смешивали категории классовые и национальные. Так, Энгельс называл англичан «самая буржуазная из всех наций», а Ирландию — «крестьянской нацией». Следуя этой установке, глава советской антропологической науки Ю.В. Бромлей предлагал ввести, в дополнение к разграничению наций на буржуазные и социалистические, понятия «рабовладельческая народность» и «феодалная народность» [15, с. 275]. В 1964 г. Институт этнографии АН СССР издал книгу «Нации Латинской Америки», где было сказано, что, за исключением Кубы, все нации Латинской Америки являются буржуазными. Это уже схоластика, парализующая возможность понимания.

Одна из причин, по которым советские этнологи своими схоластическими дебатами о нациях и народах загнали себя в тупик, заключается в давлении формационного подхода. Маркс и Энгельс различали нации феодальные, крестьянские и буржуазные — значит, в СССР должны быть нации

социалистические. В справочнике «Нации и национальные отношения в современном мире», вышедшем в 1990 г., говорится, что в России до 1917 г. было 7 капиталистических наций, а в СССР к моменту перестройки — 50 социалистических наций.

В результате уже вполне сформировавшаяся к послевоенному времени советская гражданская полиэтническая нация была названа народом — ведь не могут же социалистические нации раствориться в советской нации? Не обладая статусом нации, советское общество лишилось очень многих важных политических прав в международном сообществе.

Однако в доктрине деления народов на революционные и реакционные этничность трактуется как *сущность*. Такое понимание народа как «сущности», совершенно отличное от традиционного для русской культуры, идет, видимо, от Великой французской революции, в ходе которой к народу были причислены лишь *граждане* — те, кто революцию поддержал. Остальные были исключены из народа, сохранив лишь свою категорию *подданных*. Например, реакционные крестьяне в народ Франции не включались.

Видимо, такое резкое разделение населения одной страны на *народ* и *не-народ*, то есть на две общности, каждая из которых воспринимается другой как «чужие», характерно именно для гражданского общества Запада. В концепции Локка при возникновении гражданского общества население делится на «республику собственников» и «неимущих» (на «расу богатых» и «расу бедных», на избранных и отверженных, на собственников и пролетариев и т.д.). Из этой антропологии, корнями уходящей в античность с ее обществом, разделенным на свободных и рабов, был легко перекинут мостик в антропологию *классового* общества.

В сословном обществе царской России и в советском «почти неклассовом и почти не сословном» обществе понятие народа выросло из Православия и из космологии крестьянской общины. Оно было производным из понятий *Родина-мать* и *Отечество*. Народ — надличностная и «вечная» общность всех тех, кто считал себя детьми Родины-матери и Отца-государства, которое персонифицировалось в лице «царя-батюшки» или другого «отца народа» (в том числе коллективного «царя» — Советов).

В норме, когда общество было в целом здорово, никакая общность людей из народа не исключалась. Как в христианстве «все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии», так и на земле все, «водимые духом Отечества», суть его дети и наследники. *Все* они и есть народ. В периоды смут, войн и революций возникают кучки отщепенцев, отвергающих «дух Отечества» — они из народа выпадают (в преде-

ле становятся «врагами народа»). Но это не связано с имущественным положением или образом жизни, критерием является именно отношение к Отечеству. Общеизвестным носителем духа народа было в России подавляющее большинство населения, собранное в однородную в культурном отношении общность — *общинное крестьянство* (вообще, не отделившиеся от него мировоззренчески «дети семьи трудовой»).

К нашему несчастью, в советском обществоведении никогда не поднимался вопрос о генезисе народа, его составе и структуре, о критериях включения в него или исключения из него тех или иных групп и личностей. Интуитивные представления были «заморожены» как нечто *естественное* — точнее, как нечто, предначертанное судьбой. Возникновение народа воспринималось как таинство, народ был прекрасным творением, которому в душе поклонялись. Александр Блок писал уже накануне революции:

Народ — венец земного цвета,
Краса и радость всем цветам.

Наличие проблемы маскировалось в России именно огромным численным преобладанием *трудового народа* — даже в начале XX века на 85 крестьян приходился 1 дворянин, прослойка буржуазии была ничтожной, а городские трудящиеся с крестьянами еще мировоззренчески не разошлись.

То, что проблема противостояния разных групп народа существовала, обнаруживалось в моменты раскола и социальных конфликтов. Тогда пели, хороня павших борцов: «Вы жертвою пали в борьбе роковой любви беззаветной *к народу*». Павшие — жертва их любви к народу, а злодеи и угнетатели уже неявно исключались из народа. Противник в качестве последнего, явного предупреждения прямо *сравнивался* с враждебным народом.

В ходе революции 1905-1907 г. сход крестьян дер. Куниловой Тверской губ. написал в своем наказе: «Если Государственная дума не облегчит нас от злых врагов-помещиков, то придется нам, крестьянам, все земледельческие орудия перековать на военные штыки и на другие военные орудия и напомнить 1812 год, в котором наши предки защищали свою родину от врагов французов, а нам от злых кровопийных помещиков».

А наказ крестьян с. Никольского Орловского уезда и губернии в I Госдуму (июнь 1906 г.) гласил, исключая из народа правящую верхушку: «Если депутаты не истребуют от правительства исполнения народной воли, то народ сам найдет средства и силы завоевать свое счастье, но тогда вина, что родина временно впадет в пучину бедствий, ляжет не на народ, а на само слепое правительство и на бессильную думу, взявшую на свою совесть и страх действовать от имени народа» [46, с. 272].

Подчеркнем, что в России статус народа всегда определенно оставался за *большинством*, причем большинством подавляющим. От народа *отлучались* очень небольшие, почти символические группы, совсем как при отлучении от церкви. Вот, например, наказ крестьян и мещан Новооскольского уезда Курской губ. в Трудовую группу I Госдумы (июнь 1906 г.): «Само правительство хочет поморить крестьян голодной смертью. Просим Государственную думу постараться уничтожить трутней, которые даром едят мед. Это министры и государственный совет запутали весь русский народ, как паук мух в свою паутину; мухи кричат и жужжат, но пока ничего с пауком поделаться нельзя» [46, с. 237]. Народу здесь противопоставлены министры и государственный совет.

По мере изменения структуры советского общества и нарастания культурных различий в процессе урбанизации и смены поколений представления о народе также изменялись. Однако это не находило отражения в обществоведении, понятийный аппарат которого был сформирован на базе классового подхода. Поэтому подавляющее большинство населения СССР было не готово к перестройке и реформе 90-х годов, когда бывших граждан стали сортировать и переводить в «низший разряд» — тех, кто не включался в новый (прогрессивный и революционный) народ, который и должен был стать обладателем политическими правами и собственностью в постсоветском обществе (см. [14]).

Эту важную методологическую проблему в преподавании марксизма в СССР никогда не поднимали и не объясняли. Но хотя бы сейчас мы должны осмыслить тот факт, что при анализе реальных общественных конфликтов в реальных времени и пространстве Маркс и Энгельс отходят от классовой теории исторического материализма и используют понятие этничности — *народ*. Это представление оказывается более адекватным реальному процессу, а понятия классовой теории в реальном времени и пространстве оказываются беспомощными (а если их применять на практике, то разрушительными).

Глава 7. Маркс, Энгельс и русофобия

Сделаем отступление, чтобы кратко рассмотреть важное для нас явление — *русофобию*. Этим словом обозначают широкий спектр отрицательных чувств и установок по отношению к русским — от страха до ненависти. Наиболее важной для нас является в данный момент русофобия Запада.

Она присутствует как важный элемент в основных идеологических течениях Запада и непосредственно оказывает большое влияние на отношение к России и русским и в массовом сознании, и в установках элиты и правящей верхушки. Поскольку Запад является в то же время «значимым иным» в формировании национального сознания русских, игнорировать этот фактор нельзя, он является важным качеством той «окружающей среды», в которой существуют Россия и русские.[14]

Этот фактор надо изучать, следить за его динамикой, стараться на него воздействовать соответственно нашим национальным интересам, но при этом относиться к нему *рационально*, как и к другим факторам окружающей среды. Нельзя давать волю эмоциям и тем более исходить из эмоций при выработке своих установок и конкретных решений. Обижаться на русофобию, испытывать неприязнь к ее носителям, тем более отворачиваться от их «культурных продуктов» — глупо.

Здесь мы обсуждаем русофобию основоположников марксизма и ее влияние на российскую интеллигенцию, на революционный процесс в России и судьбу советского строя. Однако Маркс и Энгельс вовсе не были родоначальниками западной русофобии, они восприняли ее в практически готовом виде из проекта Просвещения, как укорененную в культуре конструкцию. Следует поэтому вспомнить предысторию нашего вопроса.

Западная русофобия имеет примерно тысячелетнюю историю и глубокие корни. Это большая и сложная идеологическая концепция, составная часть *евроцентризма* — лежащей в основе западного мировоззрения доктрины, согласно которой в мире имеется одна *цивилизация*. Это Запад (не в географическом, а в культурном смысле). Он берет свое начало от Древней Греции и Рима (античности) и прошел в своем историческом развитии единственно правильный путь («столбовую дорогу цивилизации»). Остальные народы («варвары») отстали или уклонились с этого пути.

Всякого рода *фобии* — страхи и ненависть к *иным* — стали с раннего Средневековья важным средством в формировании самосознания народов Запада. Это были прежде всего фобии к тем, от кого

исходил вызов («варвары на пороге»), и к тем, кого Запад подавлял и угнетал — и потому ожидал угрозы, которая до поры до времени таится под маской покорности.

Программа выработки интеллектуальных и художественных оснований *руссофобии* началась на Западе, когда Россия возродилась после татарского ига в виде Московского царства. Так европейцы защищали свою идентичность, боялись не только силы русских, но и духовных воздействий, *соблазна русскости*. Однако руссофобия возникла и развивалась на более раннем основании — на ненависти к Восточному христианству (Православию), от которого с 7 века стала отходить Западная (католическая) церковь. В 1054 г. римский папа Лев IX и константинопольский патриарх Кируларий предали друг друга анафеме — произошел формальный раскол (схизма). Эта анафема была «предана забвению» только в 1965 г. — папой и константинопольским патриархом.

Под этим расколом лежала и более широкая причина — разделение в 4 веке на Западную и Восточную Римские империи означало расхождение двух больших цивилизаций. Наследницей Восточной, Византийской империи и считала себя Россия (в духовно-религиозном смысле Москва была названа «Третьим Римом»).

Ненависть раннего Запада распространилась на *славян* — большое число племен и народов, обитавших на Балканах, по Дунаю и к востоку от Лабы (Эльбы). Они тяготели к Восточному христианству, что давало идеологическое обоснование ненависти (а значит, и завоеванию). Еще в XVIII веке все восточноевропейские народы обозначались понятием «*скифы*», пока историк Гердер не позаимствовал у варваров древности имя «*славяне*», благодаря чему Восточная Европа обрела образ *славянского* края. Славяне долго еще были для западных европейцев скифами, варварами, *Востоком*. Отправляясь из Вены в Прагу, Моцарт считал, что едет *на Восток*, к славянам (хотя Прага находится *западнее* Вены).

Систематическая очистка земель от славян продолжалась четыре века — с кровавых походов короля франков Карла Великого (8 век). В хрониках, которые писали сопровождавшие его аббаты, славяне назывались не иначе как жабами и червями. Остановили этот напор Александр Невский на севере и монголы в Венгрии в 13 веке. Главы западных учебников всемирной истории о том, как Альберт Медведь и Генрих Лев очищали от славян центр Европы, читать страшно. Хотя моравы, венды и сербы уже были крещены, их уничтожали в качестве *язычников*.

Православие было объявлено языческой ересью, и норманны опустошали побережья Византии и Балкан, следуя указаниям св. Августина: поступать с язычниками так же, как евреи с египтянами —

обирать их. В XII веке начались *крестовые походы* против славян, и дело поставили на широкую ногу. Важнейшим для русской истории стал IV Крестовый поход в 1204 г. — против Византии, христианского государства.

Одним из первых истоков русофобии западных европейцев было представление о русских как религиозных отступниках. Из факта принятия христианства на Руси от Византии выводилось и мнение об их «азиатскости» и даже язычестве.

В среде просвещенных западников в самой России духовная связь Руси с Византией считалась причиной «умственной незрелости» русских. Чаадаев, который считается первым русским философом, писал: «Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко презираемой этими [западными] народами Византии за тем нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания». Эта мысль свербит у наших западников и сегодня. Новодворская оплакивает Россию: «Нас похоронила Византия, и геополитика нас отпела».

Историк Н.И. Ульянов пишет в эмиграции: «С давних пор отшлифовался взгляд на сомнительность русского христианства, на варварство и богопротивность его обрядов, на отступничество русских, подлость их натуры, их раболепие и деспотизм, татарщину, азиатщину, и на последнее место, которое занимает в человеческом роде презренный народ московитов» [47].

Так вспомним судьбу самой Византии. Чем была вызвана ненависть к ней Запада, сейчас понять трудно. В XI томе «Всемирной истории», по которой сегодня учатся на Западе, дается такое объяснение: «При виде богатства греков латинский мир испытывает восхищение, зависть, подавленность и ненависть. Комплекс неполноценности, который будет удовлетворен в 1204 г., питает его агрессивность по отношению к Византии».

Давайте прочтем в XIII томе «Всемирной истории», чем кончился в 1204 г. IV Крестовый поход против Византии. Описан он с множеством оправданий оголодавших рыцарей, но от документов самих аббатов не уйдешь. Вот что было после того, как штурмом был взят и сожжен Царьград: «Наконец рыцари и солдаты дали выход традиционной ненависти латинского мира к грекам. Грабежи, убийства и изнасилования охватили город. Невозвратны были утраты сокровищ искусства, накопленных в стенах Византии за ее почти тысячелетнюю историю. Целиком сжигались библиотеки, из церковных предметов были выломаны драгоценные камни, переплавлено в слитки золото и серебро и разбит мрамор.

Воины, начавшие свой поход как крестоносцы, не уважили религию: монахини были изнасилованы в монастырях; в соборе Святой Софии пьяные солдаты разбили молотками и топорами алтарь и серебряный иконостас; проститутка уселась на трон патриарха и распевала французские песни, вино пили из священных сосудов».

В отдельной хронике описано, как аббат Мартин из Эльзаса, угрожая настоятелю церкви Пантократора смертью, заставил его открыть тайник с реликвиями и «набил карманы своей сутаны» сокровищами. Он вывез 52 бесценные реликвии, список которых прилагается. Венецианцы увезли бронзовую квадригу, которую император Константин установил в своей новой столице. Сегодня она украшает вход в собор Св. Марка в Венеции. Хроники отмечают, что когда в 1187 г. сарадины захватили Иерусалим, они не тронули христианских храмов и разрешили христианам выйти из города со всем их имуществом.

Все это прекрасно знал Александр Невский (многие православные монахи, свидетели дел крестоносцев, ушли в Россию). А наши демократы его поносят за то, что он не сдал Русь тевтонам. С чем же шли на Русь тевтоны? В булле от 24 ноября 1232 г. папа Григорий IX призвал ливонских рыцарей-меченосцев идти в Финляндию «защитить насаждение христианской веры против неверных русских». В булле от 9 декабря 1237 г., после объединения Ордена меченосцев с Тевтонским орденом, этот же папа призывает организовать «крестовый поход». В походе должны были участвовать датские крестоносцы в Эстонии, тевтонцы и шведские рыцари. В этой кампании и произошла битва со шведами 1240 г. на Неве, за которую Александр получил свой титул. Он опередил немцев, которые шли на соединение со шведами. В булле от 6 июля 1241 г. Григорий IX просит и норвежского короля присоединиться к «крестовому походу против язычников».

Это отношение к Православию и православным славянам в принципе не изменилось в Новое время, да и до сих пор — оно просто ушло в подсознание. Разве Ватикан извинился за крестовый поход против христианской Византии в 1204 г., подобно тому как извинился перед Галилеем или перед евреями за изгнание их из Испании в 1492 г.? В XIX веке Карла Великого, «очистившего» Центральную Европу от славян, назвали главной фигурой истории Запада — выше Цезаря и Александра Македонского. Когда Наполеон пошел на Россию, его назвали «воскресшим Карлом». В 1942 г. фашисты пышно праздновали 1200 лет со дня рождения «Карла-европейца», а в ФРГ кардинал из Кёльна назвал холодную войну «реализацией идеалов Карла Великого».

Враждебное отношение к православию и представление об «азиатскости» русских на Западе усилились после монгольского нашествия на Русь. Русских представляли «варварами на пороге», жителями *восточной и мифологической* непонятной страны. Все непонятное внушает страх и неприязнь. Казавшееся европейцам таинственным освобождение от монгольского ига и быстрое укрепление Руси лишь усилили русофобию — на Востоке вдруг неожиданно возникло огромное государство.

Тогда в Европе стало складываться ощущение восточной границы Запада, за которой находится таинственный *чужой*. Русофобия стала формироваться как большой идеологический миф. В первой половине шестнадцатого века писатель Возрождения Рабле ставил в один ряд «москвитов, индейцев, персов и троглодитов». Большие культурные силы для идейного и художественного оформления русофобии были собраны с началом первой войны России и Европы, получившей название Ливонской войны (1558-1583). Считается, что эта война окончательно обозначила для западного человека *восточные пределы Европы*. Европа кончалась за рекой Нарвой и Псковским озером.

Автор первого на Руси трактата «Политика» хорват Ю. Крижанич (он ввел в оборот слово *чужебесие*) писал о разработке основ русофобии: «Когда пишут что-либо о русском народе, пишут, как видим, не историю, а язвительную и шутейную песнь. Наши пороки, несовершенства и природные недостатки преувеличивают и говорят в десять раз больше, чем есть на самом деле, а где и нет греха, там его придумывают и лгут».

Ливония была объявлена «восточным бастионом» цивилизации, в союзе с Ливонским орденом выступили Литва, Польша, Дания и Швеция, много наемников из всей Европы. Русские были представлены дьявольскими силами, наползающими с Востока. Можно сказать, что на этом этапе идеологи русофобии уже отдавали себе отчет в евразийской характере возникающей Российской империи. Во время Ливонской войны татарская конница составляла существенную часть русского войска, а одно время касимовский хан чингизид Шах-Али (Шигалей) даже командовал всей русской армией [48, с. 18].

На Западе было объявлено, что цель России в Ливонской войне — «окончательное разрушение и опустошение всего христианского мира». Был выдвинут лозунг «Священной войны» Европы против России. Тогда была создана первая развитая технология психологической войны. Было широко использовано книгопечатание и изобретен жанр «летучих листков» (листовок). Это короткие иллюстрированные тексты для массового читателя. Они были дешевы, написаны простым образным языком и охватили значительную часть населения. Для создания в листках черного образа русских были приме-

нены все художественные средства описания зла, найденные Возрождением. Главные из них такие.

Прямо или косвенно русских представляли через образы Ветхого Завета. Спасение Ливонии сравнивалось с избавлением Израиля от фараона, а Ивана Грозного сравнивали с фараоном, Навуходоносором и Иродом. Его однозначно и устойчиво определяли как *тирана*. Это делалось с такой частотой, что слово «тиран» стало нарицательным для определения всех правителей России в принципе. Утверждалось, что русские — это и есть легендарный библейский народ Мосох, с нашествием которого связывались предсказания о Конце Света. Говорилось, что москвиты есть искаженное слово мосох: «Потому что Мосох или москвитянин означает, не больше ни меньше, как человек, который ведет страшную жизнь, напрягает, протягивает свой лук и хочет стрелять; то же делают и москвитяне». Или, у другого автора: «Нечему удивляться, так как сам народ дик. Ведь моски названы от Месха, что означает: люди, натягивающие луки».[15] Популярным был сюжет и картинка: опричники забавляются тем, что стреляют из луков в бегающих по полю нагих девушек (да к тому же заставляют их нагибаться и ловить кур).

Вторая тема — «азиатская» природа русских. Иван Грозный изображался одетым в платье турецкого султана. Писали о его гареме из 50 жен, причем надоевших он убивал самыми изощренными способами. При изображении зверств москвитов использовались те же эпитеты и метафоры, как и при описании турок, их и рисовали одинаково [49].

После Ливонской войны русофобия полтора века питалась наработанными штампами и мифами. Самое популярное на Западе описание России в 17 веке было сделано Олеарием, который путешествовал в поисках торгового пути в Персию. Его отчет был издан по-немецки в 1647 г. и затем непрерывно переиздавался почти на всех западных языках. Олеарий писал: «Наблюдая дух, нравы и образ жизни русских, вы непременно причислите их к варварам». Затем он по шаблону осуждал русских за недостаток «хороших манер» — за то, что «эти люди громко рыгают и пускают ветры», за «плотскую похоть и прелюбодеяния», а также за «отвратительную развращенность, которую мы именуем содомией», совершаемую даже с лошадьми. Он также предупреждал будущих инвесторов, что русские «годятся только для рабства» и их надо «гнать на работу плетьюми и дубинами». Наши демократы-реформаторы в своей фантазии недалеко ушли от Олеария.

Вольтер, проявивший с 1745 г. большой интерес к Петру Великому и желавший написать историю его царствования, получил этот заказ от Елизаветы. Работа началась в 1757 г., из России Вольтеру

доставлялись исторические материалы. Ломоносов писал критические замечания на текст Вольтера и готовил часть материалов, посылавшихся Вольтеру. Исправления, касающиеся фактической стороны дела, Вольтер принимал, но Ломоносов жаловался на общую тенденциозность. В смягченной форме Вольтер следовал той установке, которую выразил раньше в своей «Истории Карла XII, короля Швеции».

Там он писал: «Московия, или Россия, занимает собою север Азии и Европы и, начиная от границ Китая, протянулась на полторы тысячи лье вплоть до пределов Польши и Швеции. Однако огромная сия страна оставалась почти неизвестной в Европе, пока на ее престоле не оказался царь Петр. Московиты были менее цивилизованы, чем обитатели Мексики при открытии ее Кортесом. Прирожденные рабы таких же варварских как и сами они властителей, влачили в невежестве, не ведая ни искусств, ни ремесел и не разумея пользы оных. Древний священный закон воспрещал им под страхом смерти покидать свою страну без дозволения патриарха, чтобы не было у них возможности почувствовать угнетавшее их иго. Закон сей вполне соответствовал духу этой нации, которая во глубине своего невежества и прозябания пренебрегала всяческими сношениями с иностранными державами» [50].

Дипломаты, именитые путешественники и писатели сообщали о России самые нелепые сведения. В «Записках о России» (1754), хранящихся в архиве французского МИДа, дипломат говорит о русских: «Поскольку они по натуре своей воры и убийцы, то не колеблясь совершают одно или другое из этих преступлений, если случай представится, и это в ту пору, когда они постыятся и даже водки себя лишают. Именно в это время напускной набожности особенно опасно находиться на улице в двух городах, в Москве и Санкт-Петербурге; большой риск, что ограбят и даже убьют. В обычае русских убивать тех, кого грабят; в объяснение они говорят, что мертвые не болтают».

Авантюрист Казанова в своих мемуарах описывает фантастическое зрелище: в праздник Богоявления на льду Невы перед Зимним дворцом строят Иордань, где пьяный поп крестит детей, окуная их в прорубь. Уронив случайно младенца в воду, он говорит родителям: «Другого!»

Даже достоинства русских объяснялись их предосудительными отличиями от цивилизованного западного человека. Д. Дидро написал для большой книги аббата Рейналя «История двух Индий» (1780) раздел о России. Он таким образом объясняет, почему русский солдат столь отважен: «Рабство, внушившее ему презрение к жизни, соединено с суеверием, внушившим ему презрение к смерти». Пора-

зительно, но эта формула XVIII века почти без вариаций действовала двести лет [51].

В январе 1942 г. после беседы с генералом СС Йозефом Дитрихом Геббельс сделал такую запись: «От подробностей, которые Зепп Дитрих рассказывает мне о русском народе в оккупированных областях, прямо-таки волосы встают дыбом. Величайшей опасностью, которая угрожает нам на востоке, является тупое упорство этой массы. Оно наблюдается как у гражданского населения, так и у солдат. Попав в окружение, солдаты не сдаются, как это модно делать в Западной Европе, а сражаются, пока их не убьют. Большевизм только еще усилил эту расовую предрасположенность русского народа. Стало быть, мы здесь имеем дело с противником, с которым надо держать ухо остро. Что случилось бы, если бы этот противник наводнил Западную Европу, — этого человеческий мозг вообще не в состоянии представить».

А в апреле 1942 г. Геббельс писал: «Если бы в восточном походе мы имели дело с цивилизованным народом, он бы уже давно потерпел крах. Но русские в этом и других отношениях совершенно не поддаются расчету. Они показывают такую способность переносить страдания, какая у других народов была бы совершенно невозможной» (Цит. по [52, с. 98]).

Принципиально русофобия обновилась после Отечественной войны 1812 г. Казалось бы, русская армия освободила завоеванную и униженную Наполеоном Европу. Более того, русская армия сразу же покинула оккупированную Францию и освобожденные земли Германии, что было необычно. Но тут же в столицах стали шептаться, что Россия планирует создать всемирную монархию и что царь опаснее Наполеона. Стали поминать, что Наполеон перед походом в Россию сказал, что после него «Европа станет или республиканской, или казацкой».

После 1815 г. русофобия стала раскручиваться и революционными силами Европы, и реакционерами. Против России — союз хоть с дьяволом. Революционеры проклинали Россию за то, что она мало помогает монархам, которых они сами пытались свергнуть. Монархи — за то, что не торопится помочь им подавить революцию. В 1849 г. царь по настойчивым просьбам Австрии послал, согласно договору, войска на подавление революции в Венгрии. Эта акция ничего уже не решала, но вой поднялся всеобщий.

Справа пугал реакционный философ Доносо Кортес: «Если в Европе нет больше любви к родине, так как социалистическая революция истребила ее, значит, пробил час России. Тогда русский может спокойно разгуливать по нашей земле с винтовкой под мышкой». Слева пугал Энгельс: «Хотите ли вы

быть свободными или хотите быть под пятой России?» На попытки русских демократов воззвать к здравому смыслу неслись ругань и угрозы. Дело было не в идеологии — одинаково ненавистны были и русские монархисты, и русские демократы, а позже русские большевики.

В октябре 1942 г., когда немцы, завязнув в России, перестали быть угрозой для Англии, Черчилль написал буквально то же самое, что за сто лет до этого писал Энгельс: «Все мои помыслы обращены прежде всего к Европе как прародительнице современных наций и цивилизации. Произошла бы страшная катастрофа, если бы русское варварство уничтожило культуру и независимость древних европейских государств. Хотя и трудно говорить об этом сейчас, я верю, что европейская семья наций сможет действовать единым фронтом, как единое целое под руководством европейского совета» (цит. в [53]).

Русофобия Маркса и Энгельса усиливается (даже с кооперативным эффектом) резко отрицательным отношением к социальным сторонам русского бытия — подавляющего большинства *крестьян* в населении России, длительного пребывания русского крестьянства в *общине*, сильного *религиозного чувства* (хотя и не вполне согласного с официальной Церковью), приверженностью к *монархической государственности* и общей негативной установкой по отношению к *капитализму*. Но даже и на этом фоне явно выражается русофобия как этническая неприязнь к русским. Это проявляется в тех работах, которые претендуют на статус непредвзятых сравнительных описаний состояния какого-то общественного института в разных странах.

Вот большая работа Энгельса «Армии Европы», глава «Русская армия» (1855). Здесь разным категориям военнослужащих даются такие этнические характеристики, которые немислимы при описании армий других стран. Вот несколько примеров:

«Унтер-офицеры в большинстве своем рекрутируются из солдатских сыновей, воспитанных в казенных заведениях... Это круг людей, играющих подчиненную роль, хитрых, ограниченных и эгоистичных, поверхностная образованность которых делает их еще более отвратительными; тщеславные и жадные до наживы, продавшие душу и телом государству, они сами в то же время ежедневно и ежечасно пытаются продать его по мелочам, если это может дать им какую-либо выгоду. Прекрасным образчиком таких людей является фельдъегерь, или курьер, сопровождавший г-на де Кюстина в его путешествии по России и удивительно хорошо изображенный им в своем отчете об этой поездке» [58, с. 477]. Никаких представительных данных для такой характеристики младших командиров русской

армии Энгельс, конечно, не имел и не мог иметь. Он ссылается на впечатление путешественника, крайнего русофоба де Кюстина.[16]

А вот что говорится об офицерстве: «С офицерами дело обстоит, пожалуй, еще хуже... В армию попадает большое число молодых людей в чине прапорщика или поручика, все образование которых в лучшем случае состоит в том, чтобы сравнительно легко разговаривать по-французски на самые обычные темы и немного разбираться в элементарной математике, географии и истории — все это вдалбливается им просто для видимости... Вплоть до настоящего времени русские, к какому бы классу они ни принадлежали, еще слишком варвары, чтобы находить удовольствие в научных занятиях или в умственной работе (исключая интриг), поэтому почти все выдающиеся люди, служащие в русской армии, — иностранцы, или — что значит почти то же самое — «остзейские» немцы из прибалтийских губерний...

Таким образом, среди офицеров русской армии есть очень хорошие и очень плохие, но первые из них составляют бесконечно малую величину по сравнению с последними» [58, с. 478-479].

Характеристика солдат завершается общим выводом о русских в целом: «Основной недостаток русских солдат состоит в том, что они — самые неповоротливые в мире. Они не годятся для службы ни в легкой пехоте, ни в легкой кавалерии...

Русские, будучи подражателями во всем, выполняют все, что им прикажут, или все, что их заставят сделать, но они не сделают ничего, если им придется действовать на свою ответственность. И действительно, этого трудно ожидать от тех, кто никогда не знал, что такое ответственность, и кто с такой же покорностью пойдет на смерть, как если бы ему было приказано качать воду или сечь своего товарища» [58, с. 480-481].

В начале XX века русофобия распространилась в интеллектуальной элите России — влиятельной части гуманитарной и творческой интеллигенции. В то время марксизм овладел практически всем общественным сознанием русского образованного слоя. Это была первая мировоззренческая система, в которой на современном уровне ставились основные проблемы бытия, свободы и необходимости. Даже тягу к религиозной философии в России начала века пробудил именно марксизм. В свое время марксистами были не только религиозные искатели, но даже и такие правые лидеры кадетов, как П. Струве и А. Изгоев.

Как только на русском языке появился первый том «Капитала» (1872), он сразу завоевал умы интеллигенции. Правая газета «Киевлянин» с удивлением писала, что «у нас многие тысячи лиц увлекаются Марксом, несмотря на трудности усвоения его работ и необходимую для этого подготовку». Как вспоминает меньшевичка Лидия Дан, сестра Мартова, в 90-е годы XIX в. для студента стало «почти неприличным» не стать марксистом.

Установки Маркса и Энгельса в отношении русских оправдывали сдвиг к русофобии. После крестьянских волнений 1902-1907 гг. либеральная элита качнулась от «народопоклонства» к «народоненавистничеству». Красноречивы установки И. Бунина, который обладал большим авторитетом и как писатель, и как «знаток русского народа». Он говорил о русских: «От дикости в народе осталось много дряни, злобности, зависть, жадность. Хозяйство мужицкое как следует вести не умеют. Бабы всю жизнь пекут плохой хлеб. Бегут смотреть на драку или на пожар и сожалеют, если скоро кончилось. По праздникам и на ярмарках в бессмысленных кулачных боях забивают насмерть. Дикий азарт. На Бога надеются и ленятся. Нет потребности улучшать свою жизнь. Кое-как живут в дикарской беспечности. Как чуть боженька не уродил хлеб — голод» [59, с. 14-15].

Академик Веселовский, судя по его дневникам, — либерал и даже социалист.[17] Но он, «один из ведущих исследователей Московского периода истории России XIV-XVII веков», рассуждает как русофоб и крайний западник. Он пишет в дневнике: «Еще в 1904-1906 гг. я удивлялся, как и на чем держится такое историческое недоразумение, как Российская империя. Теперь мои предсказания более, чем оправдались, но мнение о народе не изменилось, т.е. не ухудшилось. Быдло осталось быдлом... Последние ветви славянской расы оказались столь же неспособными усвоить и развивать дальше европейскую культуру и выработать прочное государство, как и другие ветви, раньше впавшие в рабство. Великоросс построил Российскую империю под командой главным образом иностранных, особенно немецких, инструкторов» [59, с. 31].

В другом месте он высказывается даже определеннее: «Годами, мало-помалу, у меня складывалось убеждение, что русские не только культурно отсталая, но и низшая раса... Повседневное наблюдение постоянно приводило к выводу, что иностранцы и русские смешанного происхождения даровитее, культурнее и значительно выше, как материал для культуры» [59, с. 38].

Был оживлен и антирусский миф, который гласил о «рабской душе» русских. Часто поминали фразу из романа Чернышевского: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы». Ленин писал в

1913 г. о реформе 1861 г.: «Теперь, полвека спустя, на русских осталось гораздо больше следов рабства, чем на неграх [в США]. И даже было бы точнее, если бы мы говорили не только о следах, но и об учреждениях» [60]. Ранее и сам Маркс оценивал эту реформу отрицательно: «Одни говорят, что Россия, благодаря освобождению крестьян, вступила в семью цивилизованных народов... Так вот, что касается освобождения крестьян в России, то оно избавило верховную правительственную власть от противодействия, какое могли оказывать ее централизаторской деятельности дворяне. Оно создало широкие возможности для вербовки в свою армию, подорвало общинную собственность русских крестьян, разъединило их и укрепило их веру в царя-батюшку. Оно не очистило их от азиатского варварства, ибо цивилизация создается веками» [34, с. 207].

Советская революция вызвала взрыв ненависти к русскому простонародью. Бунин писал в книге «Окаянные дни»: «А сколько лиц бледных, скуластых, с разительно ассиметричными чертами среди этих красноармейцев и вообще среди русского простонародья, — сколько их, этих атавистических особей, круто замешанных на монгольском атавизме! Весь, Мурома, Чудь белоглазая...».

Русофобия российской элиты подкреплялась русофобией Запада. Даже Керенский, масон и западник, так начинал в эмиграции в 1942 г. свою рукопись «История России»: «С Россией считались в меру ее силы или бессилия. Но никогда равноправным членом в круг народов европейской высшей цивилизации не включали... Нашей музыкой, литературой, искусством увлекались, заражались, но это были каким-то чудом возвращенные экзотические цветы среди бурьяна азиатских степей» (цит. в [61]).

Кстати, это взаимопонимание в русофобии не исчезло даже после Отечественной войны, когда наш народ представлял собой «нацию инвалидов и вдов». Вот что пишет, в эмиграции, любимая нашими демократами писательница Н. Берберова в 1947 г. Керенскому: «Для меня сейчас «русский народ» это масса, которая через 10 лет будет иметь столько-то солдат, а через 20 — столько-то для борьбы с Европой и Америкой... Что такое «его достойние»? Цепь безумств, жестокостей и мерзостей... Одно утешение: что будущая война будет первая за много десятилетий необходимая и нужная».

Как они ждали, чтобы начавшаяся холодная война переросла в горячую! Советские люди полной мерой хлебнули этнической ненависти к «совку», за которой скрывалась классическая русофобия, в годы перестройки и в начале 90-х годов.

Все это надо знать и относиться хладнокровно. Есть в западной мысли и в среде наших западников такой застарелый комплекс. Он всем мешает и бывает очень опасен. Надо его спокойно изживать,

вытаскивать из подсознания ушибленных русофобией европейцев. И не позволять всяким гайдарам разрушать наш ВПК. Он пока что лучшее лекарство от русофобии.

Глава 8. Реакционный народ — реакционное государство

Русофобия Маркса и Энгельса, их представление о русских как реакционном народе неразрывно связаны с ненавистью к *России* (и особенно к Российской империи) как государству и стране. В трудах основоположников марксизма это чувство проходит как постоянно звучащий мотив. Оно бросается в глаза и удивляет человека, который начинает читать подряд, без определенной цели, сочинения Маркса и Энгельса — из советского марксизма этот болезненный колорит был вычищен. Эта вульгаризация марксизма пошла нам на пользу, но и сделала нас незащитными против рассуждений, в которых антироссийский смысл сохранился в неявном виде.

Не будем пытаться проникнуть в происхождение устойчивой и глубокой неприязни Маркса и Энгельса к России. На поверхности лежат три причины, и их нам достаточно.

Русские считались реакционным народом. По мнению Маркса, «народ создает государство» (а сам он порождается «кровью и почвой»).[18] Какое же государство мог породить реакционный народ? Только реакционное. Для таких энтузиастов идеи *прогресса*, как Маркс и Энгельс, уже этого было достаточно, чтобы видеть в России особую, непохожую на западные государства, реакционную силу.

Российское государство не просто было реакционным, а и опиралось на все те силы, отношения и институты, которые в глазах Маркса были главными генераторами реакционного духа — религию, государственное чувство, общинное крестьянство, нерыночную уравнительную психологию. Таким образом, Россия представляла как *активный* источник реакции, бросающий вызов прогрессивным силам мировой цивилизации.

Наконец, Маркс и Энгельс были великими патриотами Запада, их евроцентризм был высшей пробы. Россия же выросла в огромную империю как альтернативная Западу христианская цивилизация. Она по главным вопросам бытия постоянно предлагала человечеству иные решения, нежели Запад, и стала не просто его конкурентом, но и экзистенциальным, бытийным противником — как бы ни пыталось само государство и элита России избежать такого положения.

О. Шпенглер так говорил о Западе и России: «Здесь есть различие не двух народов, но двух миров. Русские вообще не представляют собой народа, как немецкий или английский. В них заложены возможности многих народов будущего, как в германцах времен Каролингов. Русский дух знаменует

собой обещание грядущей культуры, между тем как вечерние тени на Западе становятся все длиннее и длиннее. Разницу между русским и западным духом необходимо подчеркивать самым решительным образом. Как бы глубоко ни было душевное и, следовательно, религиозное, политическое и хозяйственное противоречие между англичанами, немцами, американцами и французами, но перед русским началом они немедленно смыкаются в один замкнутый мир. Нас обманывает впечатление от некоторых, принявших западную окраску, жителей русских городов. Настоящий русский нам внутренне столь же чужд, как римлянин эпохи царей и китаец времен задолго до Конфуция, если бы они внезапно появились среди нас. Он сам это всегда сознавал, проводя разграничительную черту между «матушкой Россией» и «Европой».

Для нас русская душа — за грязью, музыкой, водкой, смирением и своеобразной грустью — остается чем-то непостижимым... Тем не менее некоторым, быть может, доступно едва выразимое словами впечатление об этой душе. Оно, по крайней мере, не заставляет сомневаться в той неизмеримой пропасти, которая лежит между нами и ими» [62, с. 147-148].

Очень многих европейцев эти различия тянули к России с симпатией, но многих — с неприязнью и страхом. Периодически равновесие нарушалось вспышками острой вражды, лавинообразным нарастанием антироссийских установок — вплоть до идеи новых Крестовых походов.

Уже незадолго перед войной (в 1938 г.) немецкий историк Вальтер Шубарт в книге «Европа и душа Востока» пишет: «Самым судьбоносным результатом войны 1914 года является не поражение Германии, не распад габсбургской монархии, не рост колониального могущества Англии и Франции, а зарождение большевизма, с которым борьба между Азией и Европой вступает в новую фазу... Причем вопрос ставится не в форме: Третий Рейх или Третий Интернационал и не фашизм или большевизм? Дело идет о мировом историческом столкновении между континентом Европы и континентом России ...»

Сегодня Европа чувствует себя под серьезной угрозой русского большевизма... Большевистскими властителями тоже руководит настроение противоположения Западу. То, что случилось в 1917 году, отнюдь не создало настроений, враждебных Европе, оно их только вскрыло и усилило» [21].

Размышляя о той необычно интенсивной ненависти к большевикам и к Сталину, которая обнаружилась за последние 20 лет и на Западе, и у наших отечественных западников, приходишь к выводу, что причины ее — не в социальной программе большевиков и даже не в репрессиях, которые сильно

ударили по космополитическому крылу элиты. Причина в том, что после ликвидации Российской империи и прихода к власти либеральных западников Россия, казалось, была готова к необратимому расчленению и «перевариванию» кусков Западом. Сорвалось, проиграли Гражданскую войну. Надежались на Троцкого и оппозицию в ВКП(б). Опять сорвалось — грубыми методами их задавили на полвека. Толкнули на восток Гитлера — опять неудача. Большевики сумели мобилизовать и организовать силы России так, что она буквально выскользнула из уже намыленной петли. Поэтому не могут оставить покоиться Сталина и большевиков в истории, а будут свергать и мазать этот памятник день за днем, чтобы он не стал для русских символом и уроком.

С середины XIX века все направления антироссийской темы, которые разрабатывали Маркс и Энгельс, были актуальны для идеологического воздействия и на западное общество, и на российскую элиту, и на советскую интеллигенцию. Первым направлением было представление России как «азиатской» силы, угрожающей Европе. В отношении русских образ «варвара на пороге» использовался постоянно в течение пяти веков.

Европейцев спланивали мифом, будто им приходилось издавна жить бок о бок с варваром непредсказуемым, ход мыслей которого недоступен для логического анализа. В предисловии к книге Л. Вульфа «Изобретая Восточную Европу» А. Нойман пишет о том, как менялась эта трактовка России в разные исторические периоды: «Неопределенным был ее христианский статус в XVI и XVII веках, неопределенной была ее способность усвоить то, чему она научилась у Европы, в XVIII веке, неопределенными были ее военные намерения в XIX и военно-политические в XX веке, теперь неопределенным снова выглядит ее потенциал как ученика — всюду эта неизменная неопределенность» [63].

Маркс сформулировал на этот счет целую концепцию. Уверенность в том, что Россия стремится покорить Европу и увековечить свое «монгольское господство над современным обществом», присутствует в рассуждениях основоположников марксизма очень устойчиво. Для объяснения цивилизационных установок России как хищной деспотической силы Маркс создал целую культурологическую доктрину, крайне экстравагантную для мыслителя, который постоянно подчеркивал научный характер своего учения.

Свою неоконченную работу «Разоблачения дипломатической истории XVIII века» (написана в 1856-1857 гг.) Маркс завершает так: «Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала virtuoso в искусстве рабства.

Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира... Так же как она поступила с Золотой Ордой, Россия теперь ведет дело с Западом. Чтобы стать господином над монголами, Московия должна была *татаризоваться*. Чтобы стать господином над Западом, она должна *цивилизироваться*... оставаясь Рабом, то есть придав русским тот внешний налет цивилизации, который подготовил бы их к восприятию техники западных народов, не заражая их идеями последних» [64]. [19]

Прошло десять лет, но этот антироссийский штамп применяется Марксом без изменения. На митинге в Лондоне он произнес патетическую речь: «Я спрашиваю вас, что же изменилось? Уменьшилась ли опасность со стороны России? Нет. Только умственное ослепление господствующих классов Европы дошло до предела... Путеводная звезда этой политики — мировое господство, остается неизменным. Только изворотливое правительство, господствующее над массами варваров, может в настоящее время замьшлять подобные планы... Итак, для Европы существует только одна альтернатива: либо возглавляемое москвитями азиатское варварство обрушится, как лавина, на ее голову, либо она должна восстановить Польшу, оградив себя таким образом от Азии двадцатью миллионами героев» [34, с. 206, 208].

Представление России как азиатской империи, стремящейся покорить Европу — примитивный исторический миф, сложенный в рамках идеологии евроцентризма в XVIII веке. Удивительно, что он был оживлен в марксизме в конце XIX века практически без изменений. Руссо писал в работе «Об общественном договоре»: «Русские никогда не будут народом истинно цивилизованным... Русская империя захочет покорить Европу и будет покорена сама. Татары, ее подданные или соседи станут и ее и нашими господами» [65].

На этой основе готовились и провокации. Так, при подготовке войны наполеоновской Франции с Россией появилась фальшивка под названием «Завещание Петра Великого». Изучение этого текста историками показало, что он является фальшивкой. Говорилось, что якобы французский дипломат Д'Эон добыл эти материалы в русских архивах в 1756 г. Смысл «завещания» сводится к следующему:

1. Ничем не пренебрегать, чтобы придать русскому народу европейские формы жизни и обычаи, и с этой целью приглашать из Европы различных людей, особенно ученых, или ради их выгод, или из

человеколюбивых принципов философии.

2. Поддерживать государство в состоянии непрерывной войны, для того, чтобы закалить солдата в бою и не давать народу отдыха, удерживая его во всегдашней готовности к выступлению по первому знаку.

3. Всевозможными средствами расширять свои пределы к северу, вдоль Балтийского моря, и к югу, вдоль Черного моря...

6. Поддерживать анархию в Польше, раздроблять ее при каждом удобном случае и, наконец, покорить.

9. Вмешиваться, невзирая ни на что, силою или хитростью, в распри Европы и особенно Германии...

10. Заискивать и поддерживать союз с Австрией, пользоваться малейшим на нее влиянием для вовлечения ее в разорительные войны, с целью постепенного ее ослабления, временами даже помогать ей, а между тем в тайне создавать ей врагов в Европе...

12. Пользоваться религиозным влиянием на греко-восточных отщепенцев или схизматиков, распространенных в Венгрии, Турции и южных частях Польши... Под этим предлогом Турция будет покорена, и сама Польша... скоро попадет под иго.

13. Втайне приготовить все средства для нанесения сильного удара, действовать обдуманно, предусмотрительно и быстро, чтобы не дать Европе времени придти в себя.

14. Среди всеобщего ожесточения... послать по Рейну и морям «несметные азиатские орды». Корабли... внезапно появятся для высадки этих кочевых, свирепых и жадных до добычи народов... одну часть жителей они истребят, другую уведут в неволю для заселения сибирских пустынь и отнимут у остальных всякую возможность свержения ига[66].

Этот «документ», впервые опубликованный в 1807 г., широко использовала наполеоновская пропаганда для оправдания войны против России.

Идея, что азиатская Россия следует заветам Чингисхана и осуществляет план завоевания мира, иногда видоизменялась в соответствии с конъюнктурой. Гитлер в «Майн Кампф» заменяет монголов на евреев. Он пишет: «В течение столетий Россия жила за счет именно германского ядра в ее высших слоях населения. Теперь это ядро истреблено полностью и до конца. Место германцев заняли евреи... Ближайшей приманкой для большевизма в нынешнее время как раз и является Германия... Чтобы провести успешную борьбу против еврейских попыток большевизации всего мира, мы должны прежде

всего занять ясную позицию по отношению к Советской России. Нельзя побороть дьявола с помощью Вельзевула». По структуре это рассуждение мало отличается от обвинений Маркса и Энгельса в адрес Российской империи.

В 1849 г. Энгельс предупреждал: «Европейская война, *народная война*, стучится в дверь». Здесь под «народной войной» имеется в виду война Запада как *цивилизации* — против Востока. Энгельс отмечает даже, что в этой войне национальные интересы отдельных народов Запада несущественны по сравнению с судьбой Запада как целого. Он пишет: «О *немецких* интересах, о *немецкой* свободе, *немецком* единстве, *немецком* благосостоянии не может быть и речи, когда вопрос стоит о свободе или угнетении, о счастье или несчастье всей *Европы*. Здесь кончаются все национальные вопросы, здесь существует только один вопрос! Хотите ли вы быть *свободными* или хотите быть *под пятой России*?» [37, с. 570].

Таким образом, «порабощенный Восток» олицетворяет именно имперская Россия, которая якобы стремится своей пятой задавить «всю Европу». Эта параноидальная мысль стала важной частью идеологии Запада, диапазон ее приверженцев — от махровых реакционеров до основоположников марксизма.

Тема имперского и «азиатского» характера стран, противодействующих втягиванию их в периферию Запада, не потеряла актуальности и сегодня. А.С. Панарин пишет: «Запад сохранил за собой право на понятие *политической нации*, в рамках которой этнические различия не могут иметь политического статуса и давать повода для «этносуверенитетов»... Что же касается Востока — начиная с постсоветского пространства и кончая Китаем, — то Запад проецирует на него негативное понятие империй, которые, в соответствии с правом на демократическое национальное самоопределение, должны распасться» [67, с. 172].

Почти целый век эксплуатировался и миф об угрозе для Европы *панславизма*, за которым стояла Россия. Вспомним, как Энгельс развивал эту тему в связи с революцией 1848 г.: «Европа [стоит] перед альтернативой: либо покорение ее славянами, либо разрушение навсегда центра его наступательной силы — России». Идеологический миф о панславизме как угрозе для Запада являлся во второй половине XIX века в Европе разновидностью русофобии. Ведущий российский историк-славист В.К. Волков писал: «Возникший в Венгрии и сразу же распространившийся в Германии термин «панславизм» был подхвачен всей европейской прессой и публицистикой... Термин «панславизм» служил не столько для

обозначения политической программы национального движения славянских народов... сколько для обозначения предполагаемой опасности» [68].

Невозможно привести *ни единого факта* завоевательных акций России и славянских народов в отношении Западной Европы; таких фактов попросту не было. И идеологический миф об угрозе «панславизма», как подчеркивает В.К. Волков, нередко распространялся «в пропагандистских целях правящими кругами тех стран, которые сами имели агрессивные намерения в отношении России» [68].

Насколько живучим был миф панславизма, видно из того, что к нему обращается даже Гитлер в «Майн Кампф»: «Я не забываю всех наглых угроз, которыми смела систематически осыпать Германию панславистская Россия. Я не забываю многократных пробных мобилизаций, к которым Россия прибегала с единственной целью ущемления Германии. Я не могу забыть настроений, которые господствовали в России уже до войны, и тех ожесточенных нападков на наш народ, в которых изощрялась русская большая пресса».

Более того, представление о России как «империи зла», угрожающей Европе посредством «панславизма», которое сформулировали Маркс и Энгельс, продолжало быть актуальным и в отношении СССР. В книге Ханны Арендт «Истоки тоталитаризма» (1951), которая стала библией либеральной антисоветской интеллигенции, ежегодно переиздаваемой на европейских языках, прямо сказано, что «большевизм должен своим происхождением панславизму более, чем какой-либо иной идеологии или движению». А ведь Ханна Арендт — боец «холодной войны» против СССР уже второй половины XX века.

Исчерпал себя в антироссийской доктрине Маркса и Энгельса миф панславизма — стала культивироваться идея о том, что Россия стоит за спиной Пруссии в ее агрессивной политике. В 1870 г., перед началом франко-прусской войны Интернационал принимает воззвание, в котором говорится: «На заднем плане этой самоубийственной борьбы виднеется мрачная фигура России. Плохим признаком является то, что сигнал к нынешней войне был дан как раз в тот момент, когда московитское правительство закончило постройку важных для него в стратегическом отношении железных дорог» [69, с. 4].

Английский либеральный философ Дж. Грей пишет: «Рефлекторная враждебность Запада по отношению к русскому национализму... имеет долгую историю, в свете которой советский коммунизм воспринимается многими в Восточной и Западной Европе как тирания Московии, выступающая под новым флагом, как выражение деспотической по своей природе культуры русских» [70, с. 71].

Как уже говорилось, с XVI века к образу России как «варвара на пороге» добавлялся «географический» мотив представления русских как азиатского народа. Это сближало образ России с образом другого «варвара на пороге» — Османской империи. Некоторые авторы утверждали, что для Европы «русские хуже турок». У Маркса эта мысль приобрела концептуальную четкость, по его выражению, «Турция была плотиной Австрии против России и ее славянской свиты» [71, с. 247].

В Англии во время русско-турецкой войны соратники Маркса занимались организацией «национальной демонстрации сочувствия Турции и осуждения русской политики». Сам Маркс, находясь на отдыхе, писал им: «Пожалуйста, информируйте меня об успехах, которых Вы добились в этом направлении». Он писал В. Либкнехту (4 февраля 1878 г.): «Мы самым решительным образом становимся на сторону турок... Потому, что поражение русских очень ускорило бы социальный переворот в России, элементы которого налицо в огромном количестве, а тем самым ускорило бы резкий перелом во всей Европе» [71, с. 246]. Вот в чем суть — заинтересованность в «социальном перевороте в России» вызвана вовсе не в возможности устроении справедливой жизни российских трудящихся, а в «резком переломе во всей Европе».

Об этой единомысленной антироссийской позиции западного общества писал в 1879 г. Н.Я. Данилевский. По его словам, на стороне Турции выступила не только «жидовствующая, банкирствующая, биржевая, спекулирующая Европа — то, что вообще понимается под именем буржуазии», но и «Европа демократическая, революционная и социалистическая, начиная от народно-революционных партий... до космополитической интернационалки» [72].

Одним из направлений в борьбе против имперского государства России был подрыв той модели межэтнического общежития, которое сложилось в России. Здесь союзником выступала либеральная российская интеллигенция, которая со второй половины XIX века вела непрерывную кампанию поддержки антироссийских движений в Польше и в Галиции. Был сформирован образ России как «тюрьмы народов».

Маркс не вникает в особенности того типа многонационального государства, который сложился в Российской империи. Он формирует свои представления на основе чтения политических памфлетов из России. Так, он исключительно высоко оценивает книгу демократа-утописта Н. Флеровского (В.В. Берви) «Положение рабочего класса в России» (СПб, 1869). Маркс пишет о ней Энгельсу: «Это самая значительная книга среди всех, появившихся после твоего труда о «Положении рабочего класса [в

Англии]». Прекрасно изображена и семейная жизнь русского крестьянина — с чудовищным избиением насмерть жен, с водкой и любовницами» [73, с. 358]. Чтобы читать эту книгу, Маркс стал изучать русский язык. Он многократно ссылается на эту книгу как на самый достоверный источник знания «о положении крестьянства и вообще трудящегося класса в этой окутанной мраком стране». Из этой книги, по мнению Маркса, «следует, что крушение русской державы должно произойти в ближайшее время» [73, с. 367]. Можно себе представить, что там написал Флеровский.

Здесь она интересна тем, что Маркс почерпнул из нее сведения о межнациональных отношениях в России. Он пишет о Флеровском: «Он хорошо схватывает особенности характера каждого народа — «прямодушный калмык», «поэтический, несмотря на свою грязь, мордвин» (которого он сравнивает с ирландцами), «ловкий, живой эпикуреец-татарин», «талантливый малоросс» и т.д. Как добропорядочный великоросс он поучает своих соотечественников, каким образом они могли бы превратить ненависть, которую питают к ним все эти племена, в противоположное чувство» [73, с. 363-364].

Рассуждая в 1866 г. о том, какие страны имеют право на независимое существование, Энгельс делает такой вывод: «Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу громадного количества украденной собственности, которую ей придется отдать назад в день расплаты» [39, с. 160].

Серьезная попытка устроить России «день расплаты» и отнять у нее «громадное количество украденной собственности» была сделана германским фашизмом. Перед началом войны Гитлер заявил: «Чем для Англии была Индия, тем для нас станет восточное пространство». До этого о прогрессивной роли «британского владычества в Индии» мы читали у Маркса.

Вожди Третьего Рейха, действительно, с восхищением смотрели на образцовую в марксизме страну — Англию, — имевшую колоссальный опыт колонизаторства, которого Германии, по их мнению, не хватало. Ясно излагает суть Меморандум 1938 года о предстоящей войне с СССР, подготовленный промышленником А. Рехбергом. В нем дано такое обоснование военной доктрины: «Объектом экспансии для Германии представляется пространство России..., она обладает неисчислимыми потенциальными богатствами в области сельского хозяйства и еще не тронутых сырьевых ресурсов. Если мы хотим, чтобы экспансия в это пространство обеспечила Германии превращение в империю с достаточной для ее потребностей аграрной и сырьевой базой, то необходимо захватить по крайней мере всю русскую территорию по Урал включительно, где залегают огромные рудные богатства» [13, с. 42]. Тут — прагматическая сторона концепции России как «тюрьмы народов», которые гуманный Запад дол-

жен освободить.

Воздействие символического образа России как «тюрьмы народов» было очень сильным. Этот образ разрушал этническое самосознание русского народа («народ-угнетатель!»), порождал комплекс вины, обладающий разъедающим эффектом для национального сознания (это наглядно показала перестройка в конце XX века). Этот образ, абсолютно противоречащий реальности, был введен в обиход в конце XIX в., но выражения типа «великорусы — нация угнетающая» мы знаем уже из социал-демократической литературы. Разница между большевиками и другими течениями в образованном слое России была в том, что большевики активно включились в сборку нарождавшейся российской нации уже в форме советского народа и стали необходимым участником этой программы.[20]

Но еще в 1915 г. Ленин писал: «Нигде в мире нет такого угнетения большинства населения страны, как в России: великороссы составляют только 43% населения, т.е. менее половины, а все остальные бесправны, как инородцы. Из 170 миллионов населения России около 100 миллионов угнетены и бесправны... Теперь на двух великороссов в России приходится от двух до трех бесправных «инородцев»: посредством войны царизм стремится увеличить количество угнетаемых Россией наций, упрощить их угнетение и тем подорвать борьбу за свободу и самих великороссов» [74].[21]

Примечательно и такое суждение Ленина (1914 г.): «Экономическое процветание и быстрое развитие Великороссии требует освобождения страны от насилия великороссов над другими народами» [75]. Особенно эффективным для экстремистских нападок на царизм был миф о «бесправии» украинцев, но рикошетом он бил и по русским как народу. Ленин писал в июне 1917 г. (!): «Проклятый царизм превращал великороссов в палачей украинского народа, всячески вскармливал в нем ненависть к тем, кто запрещал даже украинским детям говорить и учиться на родном языке» [76].

Какие «палачи украинского народа»! В Российской империи все православные славяне были совершенно равноправны, и малороссам была открыта любая карьера. Даже их браки с русскими не считались смешанными. В начале XX века, когда в русском национализме в условиях тяжелого кризиса возникла ксенофобия, а русскость стала частью общества трактоваться в терминах *этнического* национализма, малороссов и белорусов не причисляли к «инородцам», а считали частью единой этнической общности — русского народа. Об этом даже особо не говорили, так как считалось естественным.

На марксизм опиралась и та часть западнической советской интеллигенции, которая с 60-х годов подрывала символы национального самосознания русского народа. К ним относилась и Отечественная

война 1812 г. Энгельс неоднократно говорит о попытке славян при поддержке России снова поднять голову — после поражения Наполеона, воспользовавшись теми изменениями, которые произошли в Европе после победы России в Отечественной войне. Во множестве статей и писем Энгельс характеризует эту победу как цивилизационную катастрофу Запада — «казаки, башкиры и прочий разбойничий сброд победили республику, наследницу Великой Французской революции». Во всех этих замечаниях отечественная война России предстает как война *реакционного народа*.

Маркс также считал войну против Наполеона «в то же время войной против революции, антиякобинской войной». Он напоминает, что сам Наполеон якобы предсказал перед походом в Россию, что он решит вопрос, — быть Европе «конституционной или казацкой» [77, с. 320, 323]. Насколько догма может заслонять реальность, говорит суждение Энгельса о преимуществах армии Наполеона: «сыновей свободных, прочно владеющих землей французских крестьян нельзя победить при помощи сыновей крепостных барщинников» [78, с. 252]. Хотя речь идет о кампании 1806 г., в тезисе, высказанном в 1885 году, нельзя же было не учитывать итога похода Наполеона в Россию в 1812 г. Энгельс прекрасно знал, что армию Наполеона разгромили именно «сыновья крепостных барщинников».

В связи с этой войной Маркс и Энгельс попрекают Россию даже тем, что в нормальной логике считается благородным делом — освобождением российскими войсками германской территории, оккупированной армией Наполеона. Об этом они пишут так: «Проливали ли Россия свою кровь за нас, немцев?.. Она достаточно вознаградила себя позже грабежом и мародерством за свою так называемую помощь... Если бы Наполеон остался победителем в Германии,... французское законодательство и управление создали бы прочную основу для германского единства... Несколько наполеоновских декретов совершенно уничтожили бы весь средневековый хлам, все барщины и десятины, все изъятия и привилегии, все феодальное хозяйство и всю патриархальность, которые еще тяготеют над нами во всех закоулках наших многочисленных отечеств» [79].

Мысль о том, что Отечественная война 1812 г. была войной *реакционной*, настолько существенна, что она наследовалась «прогрессивной левой интеллигенцией», в том числе в России и СССР, из поколения в поколение — вплоть до нынешних дней. Израильский историк Дов Конторер пишет сегодня о том, что во влиятельной части советской интеллигенции существовало течение, которое отстаивало «возможность лучшего, чем в реальной истории, воплощения коммунистических идей» (он называет эту возможность «троцкистской»). Конторер цитирует текст Михаила Ромма, который ходил в 1963 г. в

самиздате, и пишет: «Чтобы не быть голословным, сошлюсь на известное выступление Ромма перед деятелями науки, театра и искусств:

«Вот у нас традиция: исполнять два раза в году увертюру Чайковского «1812 год». Товарищи, насколько я понимаю, эта увертюра несет в себе ясно выраженную политическую идею — идею торжества православия и самодержавия над революцией. Ведь это дурная увертюра, написанная Чайковским по заказу. Это случай, которого, вероятно, в конце своей жизни Петр Ильич сам стыдился. Я не специалист по истории музыки, но убежден, что увертюра написана по конъюнктурным соображениям, с явным намерением польстить церкви и монархии. Зачем Советской власти под колокольный звон унижать «Марсельезу», великолепный гимн французской революции? Зачем утверждать торжество царского черносотенного гимна? А ведь исполнение увертюры вошло в традицию. Впервые после Октябрьской революции эта увертюра была исполнена в те годы, когда выдуманы были слова «безродный космополит», которыми заменялось слово *жид*».

Контрорер увязывает увертюру Чайковского и саму победу России в Отечественной войне 1812 г. с совершенно актуальным современным тезисом о «русском фашизме». Он пишет о демарше Михаила Ромма: «Здесь мы наблюдаем примечательную реакцию художника-интернационалиста на свершившуюся при Сталине фашизацию коммунизма» [80]. Так что пусть те, кто читает сегодня «Войну и мир» или слушает увертюру «1812 год», поостерегутся делать это на публике — как бы их не занесли в «черные списки» как «русских фашистов».

Хотя антироссийские рассуждения стали изыматься из советского марксизма с первой половины 30-х годов, это делалось осторожно и наталкивалось на большие трудности. Красноречив такой эпизод, 19 июля 1934 г. Сталин закончил текст под названием «О статье Энгельса «Внешняя политика русского царизма» (редактировал он этот текст с апреля). Статья Энгельса, написанная им в 1890 г., содержит типичные для Энгельса антироссийские утверждения.[22] В предисловии к 22 т. сочинений Маркса и Энгельса сказано, что это «боевой обличительный памфлет, написанный в связи с просьбой русских марксистов, а также что эту статью «Ленин относил к числу важнейших произведений Энгельса, написанных «в духе материалистического понимания истории».

В английском варианте, который писал сам Энгельс, статья начинается так: «Не только социалисты, но и каждая прогрессивная партия в любой стране Западной Европы, вдвойне заинтересованы в победе русской революционной партии.

Во-первых, потому, что царская Российская империя является главным оплотом, резервной позицией и вместе с тем резервной армией европейской реакции; потому, что уже одно ее пассивное существование представляет для нас угрозу и опасность.

А во-вторых, потому, — и этот момент мы, со своей стороны, все еще недостаточно подчеркивали, — что своим постоянным вмешательством в дела Запада эта империя задерживает и нарушает нормальный ход нашего развития и делает это с целью завоевания для себя таких географических позиций, которые обеспечили бы ей господство над Европой и тем самым под железной пятой царя была бы уничтожена всякая возможность прогресса» [81, с. 13].

Ответный текст Сталина стал бы первым случаем открытой полемики с установками основоположников марксизма. Это было бы, конечно, важным событием. Статью Энгельса тогда не стали печатать, однако в 1934 г. Сталин еще не решился не только опубликовать свой текст, но даже разослать его членам Политбюро. Он лишь послал 5 августа 1934 г. Адоратскому, Кнорину, Стецкому, Зиновьеву и Пospelову записку с резкой критикой журнала «Большевик», который печатал письма Энгельса, не обращая внимания на их антироссийский подтекст.

Свою записку Сталин завершает такими словами: «Мне кажется, что журнал «Большевик» попадает (или уже попал) в ненадежные руки. Уже тот факт, что редакция пыталась поместить в «Большевике» статью Энгельса «О внешней политике русского царизма», как статью руководящую, — уже этот факт говорит не в пользу редакции. ЦК ВКП(б), как известно, своевременно, вмешался в дело и прекратил подобную попытку. Но это обстоятельство, очевидно, не пошло редакции впрок. Даже наоборот: редакция, как бы в пику указаниям ЦК, поместила уже **после** предупреждения ЦК такую заметку, которая не может быть квалифицирована иначе, как попытка ввести читателей в заблуждение на счет действительной позиции ЦК. А ведь «Большевик» является органом ЦК. Я думаю, что пришла пора положить конец такому положению» [82].

Текст Сталина был напечатан в журнале «Большевик» только *в мае 1941 г.* — за месяц до начала войны. По нынешним временам этот текст выглядит как очень умеренная, с реверансами, отповедь Энгельсу, который в своей статье представляет Россию угрожающим Европе монстром. Но и сегодня, излагая этот случай, Н.В. Романовский делает строгий выговор Сталину: «Сталин следовал вульгарно-материалистическим представлениям, свойственным людям со складом ума, далеким от научного... Но ведь был прав Энгельс... Конечно, за марксизм обидно. Но ведь подлинный марксизм и тогда и

позднее был предан забвению» [83].

Глава 9. Реакционные нации и прогрессивный пролетариат: как это совместить?

Вводя в свое обществоведение понятие прогрессивных и реакционных наций, основатели марксизма, казалось бы, вступали в неразрешимое противоречие с классовой теорией. Ведь в середине XIX века, после выхода в свет «Манифеста коммунистической партии», следовало бы говорить о прогрессивности и реакционности *классов*, а не *народов*. Реакционными перед нами должны были предстать немецкая, польская и венгерская буржуазия и помещики, а прогрессивными — славянские (чешские, хорватские и галицийские) пролетарии. Если получилось не так, то следовало бы по крайней мере объяснить, почему классовая теория во время революции 1848 г. была «отменена» ее создателями.

Противоречие было настолько очевидным, что корреспондент кёльнской газеты написал: «Так называемая демократическая печать Германии стала в австро-венгерском конфликте на сторону мадьяр... Как странно, однако! Немецкие демократы на стороне той аристократической касты, для которой, несмотря на XIX век, ее собственный народ всегда был *miseria contribuens plebs* [жалкий народ, платящий налоги]; немецкие демократы на стороне самых наглых угнетателей народа!»

Ответ Энгельса [30], из которого и взята эта цитата, груб и язвителен, но убедительным его назвать нельзя. Все его доводы сводятся к следующему:

1) Среди депутатов, собравшихся в революционном парламенте у Кошута, насчитывается всего 11 магнатов, а магнат Эстергази вообще дезертировал. И мадьярские офицеры из аристократов тоже нередко предают дело революции.

2) «Большинство венгерских дворян, как и большинство польских дворян, — сущие пролетарии, все дворянские привилегии которых сводятся к тому, что их нельзя подвергать телесному наказанию».

3) «Допустим, что мартовская революция в Венгрии была чисто дворянской революцией. Разве это дает австрийской монархии право угнетать венгерское дворянство, а тем самым и венгерских крестьян так, как она угнетала галицийских дворян, а при их помощи и галицийских крестьян?»

Первый довод в социологическом плане негоден. Из того, что самый богатый магнат уехал, а среди депутатов не так уж много магнатов, ничего не следует, мера использована негодная и довода оппо-

нента не опровергает. Собственно, Энгельс и не пытается опровергнуть этого довода.

Второй довод настолько парадоксален, что его можно считать попыткой ответить оппоненту шуткой. Помещики — это существа пролетарии! Ничего себе, классовый анализ. Все-таки средства различить помещика и пролетария в методологии марксизма должны быть.

Третий довод мне кажется не просто нелогичным, но и странным. Выходит, славян Галиции (русинов), даже галицийских дворян, австрийская монархия имела право угнетать, но такого же угнетения мадьяр немецкие демократы вытерпеть не могут! Хотя, угнетение славян по характеру было совсем иным, гораздо более жестким. Но главное, Энгельс просто ушел от разговора в терминах классового подхода, который ему предложил реакционный хорватский журналист.

Что-то похожее на классовый анализ Энгельс дает в своей большой работе [12]. Но и здесь он сводится к обычным евроцентристским штампам. Энгельс выдвигает два очень туманных тезиса — о прогрессивном характере буржуазии и реакционном характере крестьян, «зараженных религиозным и национальным фанатизмом».

Он пишет: «Движущий класс, носительница движения, буржуазия была повсюду немецкой или мадьярской. У славян с трудом создается своя национальная буржуазия, а у южных славян это имело место только в отдельных случаях. А вместе с буржуазией в руках немцев и мадьяр находилась промышленность, находился капитал, развивалась немецкая культура, и в интеллектуальном отношении славяне тоже подчинялись немцам, вплоть до Хорватии. То же самое произошло — только позднее и потому в более слабой степени — в Венгрии, где мадьяры вместе с немцами стали во главе интеллектуального и торгового развития».

О *рабочем классе* не сказано ни слова, а о славянах, которые в подавляющем большинстве были *крестьянами*, сказано: «Так как движение крестьян, которые повсюду являются носителями национальной и местной ограниченности, необходимо принимает местный и национальный характер, то вместе с ним опять возникла старая борьба между нациями» [12, с. 180]. Вот так доктрина прогрессивных и реакционных народов увязана с классовой теорией.

В 1848-1849 гг., когда революционные события были перед глазами или еще свежи в памяти, Энгельс и не думал отрицать, что движущей силой революции была демократическая буржуазия или, как в Польше и Венгрии, дворянство. Это «социальное» измерение маскировалось введением категории *революционного народа* (немцы, мадьяры и поляки). Позже Энгельс изменил акценты и в 1893 г. писал

о событиях 1848 г.: «Повсюду эта революция была делом рабочего класса, именно он строил баррикады и расплачивался своей кровью» [42, с. 381]. Это странное утверждение. Почему же вдруг революция польской шляхты и венгерских аристократов вдруг стала «делом рабочего класса»?

Когда Энгельс пишет о славянах как реакционных народах, он в ряде мест делает оговорку, которая может создать впечатление, будто он допускает их превращение в «исторические» нации, достойные того, чтобы в будущем заслужить право на национальное существование. Эта оговорка касается участия народов в революции. Энгельс пишет: «Революция 1848 года заставила все европейские народы высказаться за или против нее... Вопрос был в том, какая нация возьмет на себя здесь революционную инициативу, какая нация разовьет наибольшую революционную энергию и тем обеспечит свое будущее. Славяне остались безгласными, немцы и мадьяры, верные своей прежней исторической роли, стали во главе движения. И тем самым славяне были окончательно брошены в объятия контрреволюции» [16, с. 301-302].

Как мы видим, Энгельс считает, что любой европейский народ, чтобы обеспечить свое будущее, был обязан «развить наибольшую революционную энергию». Слово «наибольшую» тут, конечно, не годится, ибо в таком случае билет в будущее получил бы всего-навсего один народ. Смягчим требование — будущее, согласно критерию Энгельса, будет обеспечено всем народам, принявшим активное участие в революции на стороне революционеров. Понятно, что сам Энгельс не является вершителем судеб народов, и его тезис надо понимать не как предписание, а как прогноз, вытекающий из обществоведческого анализа, проведенного по методологии марксизма. Прогноз этот, как известно, не сбывся даже в малой степени. Значит, в чем-то важном методология анализа Энгельса *неверна*. Где же рефлексия, где поиск источника ошибки?

Нет рефлексии, нет поиска ошибки, и причина, на мой взгляд, проста — нет тут никакой методологии и никакого анализа. Есть жесткая идеологическая установка, которая отвергает нормы научного метода (хотя бы норму беспристрастности). Прогноз Энгельса совершенно неправдоподобен, он противоречит здравому смыслу и логике. Почему сербы и русины, которых угнетали венгерские и польские помещики, должны были в момент революционного хаоса броситься на помощь своим угнетателям и воевать против русской армии, в которой они видели братскую силу? Если бы это случилось, как раз тогда и можно было бы усомниться в жизнеспособности (да и просто разумности) славян.

В оговорке Энгельса, сулившего славянам индульгенцию в случае обретения ими революционности, есть еще одна важная ловушка (или нарушение логики). Ведь Маркс и Энгельс вовсе не считают, что *революционная* борьба *реакционных* наций и классов прогрессивна. Напротив, она реакционна, потому что имеет целью остановить колесо истории, которое должно их раздавить и стереть с лица земли.

Вспомним чеканную формулу «Манифеста коммунистической партии» (1848). В нем сказано: «Средние сословия: мелкий промышленник, мелкий торговец, ремесленник и крестьянин — все они борются с буржуазией для того, чтобы спасти свое существование от гибели, как средних сословий. Они, следовательно, не революционны, а консервативны. Даже более, они реакционны: они стремятся повернуть назад колесо истории» [41, с. 436].

Славяне, которые «остались безгласными» в революции 1848 г., в подавляющем большинстве были крестьянами. Если бы они присоединились к революционному пролетариату и стали бить своих угнетателей, то их борьба придавала бы событиям реакционный характер. Ведь они боролись бы именно «чтобы спасти свое существование от гибели», а это, по мнению классиков марксизма, цель реакционная.

Более того, из того, как революция 1848 г. представлена самими Марксом и Энгельсом, видно, что они вовсе не приветствуют революционные движения *любого* народа. Борьба с буржуазией крестьян *реакционна*. Народы, подавляющее большинство которых составляют крестьяне (как у славян и особенно русских), также реакционны. Значит, и антибуржуазная (и даже буржуазно-демократическая) революция таких народов реакционна. Это фундаментальное положение.

Вернемся к 1848 году. Тогда движение славян было в определенном смысле *продуктом* революции или даже *частью* этой революции. Вдохновителями этого движения славянских народов были в основном как раз представители «прогрессивной буржуазии», в том числе *социалисты*. В обзоре, посвященном политическому значению национализма и роли таких вдохновителей («будителей») читаем: «Мотивы, которыми руководствовались будители,... включали идеи прогресса и модернизации, надежды на повторение славы Французской революции, стремления противостоять гегемонии Австро-Венгерской, Российской или Оттоманской империй. Часть будителей была социал-демократами, желавшими освободить крепостных и подневольных людей и создать из массы бесправных крестьян нацию граждан. Другие были представителями интересов нарождавшейся восточноевропейской буржуазии, преследовавшими цель модернизации и обогащения региона. Национальное пробуждение

характеризовалось своего рода эффектом домино, при котором действие вызывало противодействие. Например, национальное пробуждение венгров во время и после революции 1848 г. послужило катализатором деятельности румынских, хорватских и словацких будителей, организовавших сопротивление принудительной мадьяризации и венгерскому политическому контролю» [84, с. 148].

Таким образом, *одни и те же* мотивы *одних и тех же* (в марксистском понимании) классовых сил оцениваются Энгельсом как прогрессивные, если речь идет о немцах и мадьярах, и как реакционные, если речь идет о славянах.

Проблема славян (и крестьян как основной социальной группы славянских народов в Европе того времени) в пролетарской революции, как она представлялась Марксу и Энгельсу, была и одной из главных тем книги М. Бакунина «Государственность и анархия» (1873 г.). Маркс тщательно изучил эту книгу, и ее конспект с его комментариями сам стал довольно большим трудом (конец 1874 — начало 1875 г.), в котором, как считается, высказан ряд важнейших положений марксизма [85].

Не вдаваясь в спор Бакунина и Маркса по проблеме государства и анархии, отметим лишь реакцию Маркса на высказывания Бакунина об установках в отношении крестьян и славян, сформулированных в статьях Энгельса 1849 года. Маркс отмечает в конспекте, что, согласно Бакунину, «марксисты должны проклинать всякую народную революцию, особенно же крестьянскую, по природе анархическую и идущую прямо к уничтожению государства. Как всепоглощающие пангерманисты, они должны отвергать крестьянскую революцию уже по тому одному, что эта революция специально славянская». Выписав эти слова Бакунина в свой конспект, Маркс не дает на них никаких комментариев.

Затем Бакунин пытается представить, как же будет выглядеть диктатура пролетариата в свете этих установок марксистов. В конспекте Маркса это выглядит так: «Крестьянская чернь, как известно не пользующаяся благорасположением марксистов и которая, находясь на низшей степени культуры, будет, вероятно, управляться городским и фабричным пролетариатом... Или, если взглянуть с национальной точки зрения на этот вопрос, то, положим, для немцев славяне по той же причине станут к победоносному немецкому пролетариату в такое же рабское подчинение, в каком последний находится по отношению к своей буржуазии».

Мы знаем из опыта, что обе эти мысли Бакунина оказались удивительно прозорливыми. Именно так, как сказано в первой фразе, ставился вопрос о диктатуре пролетариата в отношении крестьянства российскими марксистами в 1917 г., вследствие чего такой глубокий конфликт между большевиками

и меньшевиками и вызвала в РСДРП сама идея *союза рабочего класса и крестьянства*, а затем, в 1921 г., уже в партии большевиков, идея перехода к НЭПу.

Вторая мысль Бакунина выражает одну из главных идей немецкого национал-социализма, предполагавшего превратить славян в эксплуатируемый победоносным немецким пролетариатом «внешний» пролетариат. Бакунин предупредил об этом за полвека до появления книги Гитлера «Майн Кампф».

На это Маркс в своем комментарии отвечает: «Ученический вздор! Радикальная социальная революция связана с определенными социальными условиями экономического развития; последние являются ее предпосылкой. Она, следовательно, возможна только там, где вместе с капиталистическим производством промышленный пролетариат занимает, по меньшей мере, значительное место в народной массе... Но тут-то и проявляется затаеннейшая мысль г-на Бакунина. Он абсолютно ничего не смыслит в социальной революции, знает о ней только политические фразы. Ее экономические условия для него не существуют... Он хочет, чтобы европейская социальная революция, основывающаяся на экономическом базисе капиталистического производства, произошла на уровне русских или славянских земледельческих и пастушеских народов и чтобы она не переступала этого уровня» [85, с. 613, 615].

Маркс, легко читающий «затаеннейшие мысли», обругал Бакунина, хотя тот высказал предположения, прямо вытекающие из доктрины, сформулированной Энгельсом после 1848 г., и из рассуждений о диктатуре пролетариата самого Маркса. В этих предположениях Бакунина пока и не ставился вопрос о самостоятельной социальной революции в России «на уровне русских земледельческих и пастушеских народов».[23] Но Маркс чутко уловил в тексте Бакунина предчувствия, что революция в России будет осложнена принципиальным и глубоким конфликтом с марксизмом. Маркс не стал анализировать эти предчувствия, обсуждать степень их обоснованности и способы смягчить этот конфликт, если он произойдет. Он просто назвал это «ученическим вздором», а самого Бакунина «ослом». Возможно, в чем-то другом Бакунин и был «ослом», но в данных конкретных пунктах он верно воспроизвел установки Маркса и Энгельса, а затем сделал из них вполне логичные предположения, которые и на практике оказались верными.

Сделаю побочное замечание. Это, наверное, можно считать мелочью по сравнению с фундаментальными свойствами марксизма, но в реальной политической практике марксистов и эта мелочь сыграла большую негативную роль. Марксисты, во всяком случае российские, советские и постсоветские,

восприняли от своих учителей Маркса и Энгельса крайнюю нетерпимость к любому сомнению и к малейшей критике их доктрин и установок. Их отповеди оппонентам обычно носят разрушительный характер. Они полны страстью и отличаются применением методов, недопустимых в дискуссиях, которые направлены на конструктивное разрешение расхождений.

Глава 10. Ответ Бакунина

Изложенные Марксом и Энгельсом после 1848 г. представления о прогрессивных и реакционных народах, о реакционной буржуазной сущности крестьянства и столь же реакционной сущности славян (особенно русских), вызвали в самом марксизме того времени раскол, который затем перерос в конфликт марксистов с русскими народниками, а затем и в конфликт меньшевиков с большевиками.

Принципиальное неприятие положений Маркса и Энгельса в указанных выше вопросах выразил М.А. Бакунин. Так возник его конфликт с основоположниками марксизма, который привел к их вражде, изгнанию Бакунина из общности марксистов, а в общественном мнении СССР — к замалчиванию тех важных идей и прогнозов, которые высказал Бакунин относительно назревающей русской революции. И тем не менее, в этом разрыве Бакунина с Марксом есть предвестие будущего скрытого конфликта большевиков с марксизмом. Как сказал о Бакунине Н.А. Бердяев, «в его русском революционном мессианизме он является предшественником коммунистов».

Рассмотрим важные для нашей темы мысли Бакунина, изложенные в его книге «Кнута-германская империя и социальная революция», которая послужила ответом на серию статей Энгельса о революционных народах, славянах и крестьянах [24]. Прежде всего, Бакунин выдвинул тезис о том, что *национальный* шовинизм (ненависть к «реакционным народам») и *социальный* шовинизм (ненависть к «реакционному крестьянству») имеют одну и ту же природу. Оба они отражают расизм западного капитализма, который оправдывает присущую ему эксплуататорскую сущность своей якобы цивилизаторской миссией. Бакунин считает, что буржуазная идеология «заразила» этим шовинизмом и рабочий класс Запада, включая рабочих-социалистов.

Бакунин пишет, обращаясь к французским социалистам: «Откуда явилось у них [французских рабочих-социалистов] это притязание, настолько же смешное, как и высокомерное, настолько же несправедливое, как и пагубное, навязать свой политический и социальный идеал десяти миллионам крестьян, не желающих его? Очевидно, это также наследие буржуазии, политическое завещание буржуазной революционности. Каково же объяснение, какова же теоретическая основа этого притязания? Это не более как мнимое или хотя бы даже действительное превосходство ума, образования, одним словом, цивилизации рабочих над цивилизацией деревни. Но разве вы не знаете, что этот же принцип может

оправдать все завоевания и всякого рода притеснения?

У буржуа, например, никогда и не было иного принципа для доказательства своего призвания *управлять* или — что одно и то же — эксплуатировать рабочих. Переходя от одной нации к другой, от одного класса к другому, этот роковой принцип, представляющий из себя не что иное, как принцип авторитета, объясняет и возводит в право все захваты и завоевания. Разве не им руководствовались немцы для осуществления всех своих посягательств на свободу и независимость славянских народов, разве не им оправдывают они все жестокости насильственной германизации? Это, говорят они, победа цивилизации над варварством...

Берегитесь, как бы им вскоре не пришло в голову, что их назначение просветить и осчастливить вас, подобно тому, как вы воображаете, что ваша миссия состоит в том, чтобы цивилизовать и осчастливить ваших соотечественников, ваших братьев, французских крестьян. По-моему, как то, так и другое притязание одинаково гнусно, и я заявляю вам, что и в международных отношениях, и в отношениях между классами я всегда буду на стороне тех, кого хотят цивилизовать таким способом. Я восстану вместе с ними против всех этих высокомерных цивилизаторов, будь то рабочие или немцы, и, восстав против них, я тем самым буду служить делу революции против реакции» [24, с. 223-224].

Бакунин категорически отвергает представления Маркса и Энгельса о крестьянстве, об «идиотизме деревенской жизни». Он предупреждает рабочих, что этот социальный расизм в отношении крестьян не имеет под собой никаких разумных оснований. Более того, он выдвигает пророческий тезис о том, что социалистическая революция может произойти только как действие *братского союза* рабочего класса и крестьянства. Этот тезис Ленин развил в целостную политическую доктрину (которая и стала основанием *ленинизма*), но надо же наконец учесть, что он был уже вполне определенно высказан Бакуниным и принят народниками.

Бакунин пишет: «В интересах революции, которая их освободит, рабочие должны как можно скорее перестать выражать это презрение к крестьянам. Справедливость требует этого, потому что на самом деле у рабочих нет никакого основания презирать и ненавидеть крестьян. *Крестьяне не лежебоки, они такие же неутомимые труженики, как и рабочие*; только работа их ведется при иных условиях, вот и все. *Перед лицом буржуа-эксплуататора рабочий должен чувствовать себя братом крестьянина*» [24, с. 222].

Отвергает Бакунин и утверждение о реакционной сущности крестьянства, хотя и признает, что социалистическое мировоззрение крестьян не оформлено идеологически. «[Сельский пролетариат]... конечно, по своему положению и по натуре социалист, но — сам того не подозревая», — пишет он [24, с. 255]. К этим установкам русские большевики пришли только осознав опыт революции 1905-1907 гг., а марксисты-меньшевики не пришли вовсе.

Бакунин отвергает само представление Энгельса о том, что народы как целое являются носителями или революционных, или реакционных качеств (немцы, мадьяры и поляки революционны, южные славяне и русские — контрреволюционны). Бакунин видит в революционности как раз не *этническое*, а именно *социальное* качество, причем исторически обусловленное. Он пишет: «Если верно, что только инстинкт свободы, ненависть к притеснителям и способность восставать против всевозможной эксплуатации и деспотизма служит мерилom человеческого достоинства наций и народов, — а в правильности этого суждения я глубоко убежден, — то нужно сознаться, что с тех пор, как существует германская нация, и до 1848 г. только одни немецкие крестьяне доказали своим восстанием в XVI веке, что этой нации не вполне чуждо это достоинство. Что же касается немецкой буржуазии, то, судя по ее чувствам, по ее поступкам, нам ничего не остается, как признать ее предназначенной к осуществлению идеала добровольного рабства» [24, с. 290].

Но при этом Бакунин в определении революционности человеческих общностей отвергает и этнический, и классовый детерминизм. Да, во Франции буржуазия в какой-то исторический момент была революционным классом, но это — вовсе не естественное свойство буржуазии, эта революционность была продуктом французской культуры в конкретных условиях. За немецкой буржуазией Бакунин до того момента вообще не признает революционности, о ней он пишет: «Немецкая буржуазия никогда не любила, не понимала свободу, не стремилась к ней. Она живет в своем рабстве спокойная и счастливая, как крыса в сыру, но ей хочется, чтобы сыра было побольше» [24, с. 269].

Более того, в ходе исторического процесса и под влиянием культурных условий может меняться характер даже отдельных сословий — дворянство рождает революционеров, а буржуазия оказывается реакционной независимо от стадии развития капиталистической формации. Историческая реальность делает нелепой попытку приписать немцам революционный дух, а русским — природную реакционность.

Бакунин пишет: «Оно [крепостничество] действительно изменилось до такой степени, что — упомянем только наиболее характерные факты — с 1818 по 1825 год мы видели, как несколько сот дворян, цвет дворянства, принадлежащего к наиболее образованному и богатому классу, подготовили заговор, серьезно угрожавший императорскому деспотизму, с целью образовать на его обломках согласно желанию одних монархическо-либеральную конституцию или согласно желанию других, значительного большинства, федеративную и демократическую республику, основываясь в том и другом случае на полном освобождении крестьян с наделением их землею. С тех пор не было в России ни одного заговора, в котором бы не участвовала дворянская молодежь, часто очень богатая. С другой стороны, все знают, что по преимуществу сыновья наших священников, студенты академий и семинарий составляют в России священную фалангу революционной социалистической партии.

Пусть господа немецкие патриоты перед лицом этих неоспоримых фактов, которых даже их общеизвестной недобросовестности не удастся опровергнуть, соблаговолят сказать мне, много ли было в Германии дворян и студентов-теологов, восстававших против государства и ратовавших за освобождение народа? И однако ни в дворянах, ни в теологах у них недостатка никогда не было. Отчего же происходит эта бедность, чтобы не сказать — отсутствие либеральных и демократических чувств в дворянстве, в духовенстве и, добавлю также, чтобы быть искренним до конца! — и в буржуазии Германии? А это потому, что раболепство, присущее всем этим почтенным классам, представителям немецкой цивилизации, возникнув как естественное следствие естественных же причин, стало системой, наукой, чем-то вроде религиозного культа, и именно вследствие этого оно превратилось в неизлечимую болезнь.

Можете ли вы вообразить себе немецкого бюрократа или же офицера немецкой армии, которые были бы способны составить заговор и восстать за свободу, за освобождение народов? Несомненно, нет... Ну, а бюрократия русская и русские офицеры насчитывают в своих рядах многих заговорщиков, борющихся за благо народа. Вот разница, и она всецело в пользу России. Но если поработавшее действие немецкой цивилизации и не смогло окончательно развратить даже привилегированные и официальные сословия России, то все же оно постоянно оказывало неблагоприятное влияние на эти классы. И я повторяю, большое счастье для русского народа, что он не проникся этой цивилизацией точно так же, как не проникся и цивилизацией монголов» [24, с. 267].

Энгельс с симпатией пишет о том, как «жизнеспособные» нации во имя прогресса захватывали земли других народов (славян, мексиканцев) и разрушали их «отсталую» культуру («конечно, при этом дело не обходится без того, чтобы не растоптали несколько нежных национальных цветков»). Бакунин категорически отвергает само это видение. Для него захватчик и колонизатор ненавистен, и он, прямо не вступая в спор с Энгельсом, проходит буквально по его утверждениям, давая им совершенно противоположную оценку.

Прямо отвечает Бакунин и на утверждение Энгельса о якобы прирожденной рабской и контрреволюционной душе славян, конкретно чехов (как писал Энгельс, «чехам, хорватам и русским обеспечены ненависть всей Европы и кровавая революционная война всего Запада против них»). Бакунин пишет: «С чувством глубокой симпатии и братской гордости думаю я об этом великом национальном движении славянского народа [религиозном восстании Яна Гуса]. Это было больше, чем религиозное движение, это был победоносный протест против немецкого деспотизма, против аристократически-буржуазной цивилизации немцев; это было восстание древней славянской общины против немецкого государства. Два великих славянских восстания имели место уже в XI веке. Первое было направлено против благочестивых притеснений храбрых тевтонских рыцарей, предков современных прусских поместных дворянчиков. Славянские повстанцы сожгли тогда все церкви и истребили всех священников. Они вполне справедливо ненавидели христианство, представшее перед ними в самой своей отвратительной, германистской форме: под личиной любезного рыцаря, добродетельного священника и честного буржуа, всех троих — чистокровных немцев и как таковых представителей власти прежде всего, представителей грубого, наглого и жестокого гнета» [24, с. 280].

Бакунин представляет борьбу чехов против германизации как движение в защиту своей цивилизационной идентичности. Но в этом представлении важна мысль, что это движение в данном случае необходимо принимает характер *революционного* движения, которое в разные исторические периоды облекается в различные формы. Вот два эпизода этой борьбы чехов. Первый — народная революция под религиозным знаменем: «Чешский народ ответил на него [сожжение Яна Гуса] грозной революцией. Поднялся великий, ужасный Жижка, этот герой, этот мститель народный, память о котором, как обет грядущего, еще живет в недрах богемской деревни, — и во главе своих таборитов, обойдя всю Богемию, сжег церкви, уничтожил священников и смел всю императорскую, или немецкую, сволочь, что тогда означало одно и то же, потому что все богемские немцы были сторонниками императора.

Вслед за Жижкой Прокоп Великий наполнил ужасом сердце немцев... В продолжение семнадцати лет подряд эти грозные табориты, живущие между собою в братском согласии, разбивали все саксонские, франконские, баварские, рейнские и австрийские войска, которые император и папа посылали против них крестовым походом; они очистили Моравию и Силезию и перенесли ужас своего нашествия в сердце самой Австрии» [24, с. 283].

Бакунин отвергает и русофобию Энгельса, даже ту, которая направлена не против русских как народа, а против российского государства — притом, что сам Бакунин, как революционер и анархист, является врагом этого государства. Он не приемлет эту русофобию как идеологию, как форму фальсификации истории. Вот пара соответствующих выдержек из его книги:

«Друг русского народа, но отнюдь не патриот государства, всероссийской империи, я не представляю себе, чтобы кто-нибудь ненавидел эту последнюю больше меня. Но желая быть справедливым прежде всего, я предложил бы немецким патриотам оглядеться повнимательнее вокруг себя, и, я уверен, они не замедлили бы убедиться, что, помимо прикрытой лицемерием приличной внешности, их Прусское королевство и их старая Австрийская империя до 1866 г. не были сколь-нибудь либеральнее, ни тем более гуманнее, чем всероссийская империя. Что же касается Прусско-германской, или *кнуто-германской* империи, воздвигаемой ныне немецким патриотизмом на развалинах и в крови Франции, то последняя обещает даже превзойти Россию своими злодеяниями. Посмотрим: при всей своей гнусности причиняла ли русская империя когда-либо Германии, Европе хоть сотую часть того зла, какую Германия причиняет теперь Франции и угрожает причинить всей Европе?.. Если русские и обесчестили себя когда-либо и творили ужасы, выполняя кровавые приказы своих царей, так это в Польше. Так вот, я обращаюсь к самим полякам: все русские армии, солдаты и офицеры, совершили ли они хоть десятую часть тех гнусных поступков, какие совершают теперь во Франции все германские армии, солдаты и офицеры?» [24, с. 260-261].

«В 1813 году русские пришли в Германию как освободители и, что бы там ни говорили господа немцы, немало способствовали ее освобождению от ига Наполеона. Или, быть может, озлобление против русских ведет свое начало со времен императора Александра I за то, что он не допустил в 1814 г. прусского фельдмаршала Блюхера, вопреки его настойчивому требованию, разгромить Париж? Последнее обстоятельство служит доказательством, что у пруссаков всегда были одни и те же намерения и что по натуре они не изменились. Или они не прощают императору Александру I, что он почти

принудил Людовика XVIII дать Франции конституцию вопреки желанию прусского короля и австрийского императора и удивил Европу и Францию, выказав себя, российского императора, более гуманным и более либеральным, чем два великих властелина Германии?» [24, с. 262].

Бакунин оспаривал и многочисленные утверждения Маркса и Энгельса о том, что Россия якобы была оплотом реакции в Европе и что «московитское влияние» несет главную вину за укрепление реакционных порядков в Германии. Напротив, он очень отрицательно оценивает ту роль, которую немецкие культуртрегеры играли со времен Петра в становлении российской бюрократии. Он пишет, приводя примеры влияния немцев на многие стороны государственной жизни России: «В противовес всем этим фактам могут ли буржуазные немецкие патриоты указать хоть один, который бы доказывал губительное влияние монголо-византийской официальной России на Германию? Подобная попытка оказалась бы совершенно тщетной, потому что русские никогда не приходили в Германию ни как победители, ни как учителя, ни как администраторы, откуда следует, что если Германия и заимствовала что-либо у официальной России — что я решительно отрицаю, — то это могло быть сделано лишь по склонности и для собственного удовольствия.

Поистине, несравненно более соответствовало бы достоинству лучшего немецкого патриота и искреннего социалиста-демократа, каким несомненно является г-н Карл Маркс, и было бы гораздо полезнее для народа Германии, если бы вместо того, чтобы тешить национальное тщеславие, ложно приписывая ошибки, преступления и позор Германии чужеземному влиянию, он постарался бы воспользоваться своей громадной эрудицией для доказательства, в соответствии со справедливостью и исторической истиной, что Германия сама произвела, воспитала и исторически развила в себе все элементы своего нынешнего рабства» [24, с. 268].

Здесь нам не нужно подробно разбирать, насколько соответствуют исторической действительности оценки Бакунина. Важен тот факт, что присутствующий в классическом марксизме этнический и социальный расизм, а также открытая ненависть к отдельным народам и странам получили недвусмысленный отпор из среды русских революционеров. И этот отпор был дан несмотря на искреннее уважение к Марксу и Энгельсу как создателям господствующего в революционном движении XIX века философского учения.

Глава 11. Реакционные и прогрессивные революции

Как видно из вышесказанного, в середине XIX века русские заслужили ненависть Маркса и Энгельса тем, что оказали духовную и, частично, военную поддержку *контрреволюционным* славянским народам, которые попытались выступить за свое национальное освобождение в момент революции 1848 г. Следуя этой логике, можно было предположить, что появление, с начала 60-х годов XIX века, признаков назревания революции в самой России будет встречено вождями Интернационала с горячим одобрением. Этого не произошло, что ставит перед нами и методологический, и актуальный политический вопрос.

Какую же революционность признает марксизм *прогрессивной*? Ведь если, как это произошло с представлением революции 1848 г., марксизм видит в революции прежде всего войну народов, то революция *реакционного народа* может быть признана *реакционной революцией*. Эта теоретическая проблема приобрела практическую важность уже в момент революции 1848 г.

Поскольку, согласно установкам Маркса и Энгельса, именно революционность дает народу шанс на то, что ему будет позволено продолжить национальное существование, этот вопрос становится ключевым для судьбы любого народа — в рамках всей марксистской концепции исторического развития. И проблема эта вовсе не тривиальна. Та борьба против угнетения и эксплуатации, которая внутри страны рассматривается как революционная, в европейском центре марксистской мысли может быть оценена как *реакционная* и, выходит, сами же революционеры обрекут свой народ на то, что против него со стороны прогрессивного пролетариата будет развязан *кровавый террор* с целью стереть этот народ с лица земли.

Понятно, что с самого зарождения революционного движения в России второй половины XIX века этот вопрос стал предметом ожесточенных дискуссий, причиной череды расколов и, во многом, причиной Гражданской войны, а затем и репрессий 30-х годов. При всякой возможности русские революционеры обращались за разъяснениями к главным арбитрам — Марксу и Энгельсу. Иногда это приводило к острому взаимному конфликту, как это случилось с Бакуниным, который воочию наблюдал революцию 1848 г. в Германии (и был, по свидетельству самого Энгельса, самым умелым и мужественным командиром революционных войск).

Бакунин, как было сказано выше, пришел к категорическому выводу: «марксисты должны проклинать всякую народную революцию, особенно же крестьянскую... Они должны отвергать крестьянскую революцию уже по тому одному, что эта революция специально славянская». Иными словами, уже Бакунин пришел к выводу, что отношение марксистов к революции определяется вовсе не *классовым* подходом. Революции рассматриваются ими как дело *народов* и оцениваются в плоскости *войны народов* .

Поскольку, начиная с 70-х годов XIX века, марксизм господствовал в умах левой и либеральной российской интеллигенции, вывод Бакунина или получал лишь молчаливую поддержку, или поддерживался с умолчанием имен основоположников марксизма. Например, основоположник концепции евразийства лингвист Н.С. Трубецкой писал в известном труде «Европа и человечество» (1920): «Социализм, коммунизм, анархизм, все это «светлые идеалы грядущего высшего прогресса», но только лишь тогда, когда их проповедует современный европеец. Когда же эти «идеалы» оказываются осуществленными в бытие дикарей, они сейчас же обозначаются, как проявление первобытной дикости» [86].

Его предвидение характера назревающей русской революции (как революции социалистической и совершаемой союзом рабочего класса и крестьянства) Маркс оценил как «ученический вздор». Он увидел в этом реакционную попытку низвести пролетарскую революцию в высокоразвитой Западной Европе на уровень «русских или славянских земледельческих и пастушеских народов».[24]

Исторические исследования XX века показали, что в этом споре был прав Бакунин, а не Маркс. Именно «трудовой народ» (и прежде всего общинное крестьянство) как раз и был носителем идеи социальной справедливости, и в этом смысле — социалистом и коммунистом. Уже Вебер сказал, что мировоззренческой основой русской революции служит *общинный крестьянский коммунизм* .

Уже с опытом краха советского строя А.С. Панарин писал (считая, что в «марксистском тексте» главной и понятной широким массам ценностью является именно социальная справедливость): «Народ по некоторым признакам является природным или стихийным *социалистом*, сквозь века и тысячелетия пронесшим крамольную идею социальной справедливости... Остается бесспорным, что в современной тяжбе между либеральной «демократией свободы» и социалистической «демократией равенства» народ тяготеет к поддержке последней... Иными словами, представляется небеспочвенной новейшая либеральная догадка, что обоснование «марксистского текста» на почве русской народной культуры не является случайностью, что советский народ есть идеологическая экспликация смыслов,

заложенных в русском народе — социальном правдолюбце и тираноборце. А следовательно, и «советская империя» есть не просто империя, а способ мобилизации всех явных и тайных сил, не принявших буржуазную цивилизацию и взбунтовавшихся против нее... Именно совпадение коммунистического этоса советского типа с народным этосом как таковым вызвало величайшую тревогу Запада перед «русским вызовом». Были в прошлом и возможны в будущем и более могущественные в военном отношении и при этом враждебные Западу империи. Но они не вызывали и не вызывают такой тревоги на Западе» [67, с. 244].

Пожалуй, именно этот скрытый в народной революции вызов Западу как буржуазной цивилизации и побудил Маркса дать такую жесткую отповедь Бакунину.

Следующим поколением реакционных русских революционеров, которое Маркс и Энгельс считали своим долгом разгромить, были *народники*. В 80-е годы XIX века экономисты-народники развили концепцию некапиталистического («неподражательного») пути развития хозяйства России. Один из них, В.П. Воронцов, писал: «Капиталистическое производство есть лишь одна из форм осуществления промышленного прогресса, между тем как мы его приняли чуть не за самую сущность». Это была сложная концепция, соединяющая формационный и цивилизационный подход к изучению истории. В работе 1897 г. «От какого наследства мы отказываемся» Ленин так определил суть народничества, две его главные черты: «признание капитализма в России упадком, регрессом» и «вера в самобытность России, идеализация крестьянина, общины и т.п.».

Концепцию народников Маркс отверг категорически и очень резко. Какую роль сыграла эта позиция Маркса и Энгельса в судьбе революционного движения в России, видно из следующего. В 1875 г. народник П. Ткачев пишет брошюру «Открытое письмо г-ну Фр. Энгельсу», в которой и объясняет, почему в России назревает революция и почему она будет антикапиталистической. Маркс пересылает эту брошюру Энгельсу и просит публично ответить на нее. Тот отвечает, сравнивая Ткачева с «зеленым, на редкость незрелым гимназистом».

Ответ этот полон грубых личных выпадов против Ткачева и совсем не добродушной иронии, основной для которой брошюра Ткачева не дает. А ведь, как писал через полвека Н.А. Бердяев, «замечательнейшим теоретиком революции в 70-е годы был П.Н. Ткачев». Даже те выдержки из его брошюры, которые Энгельс цитирует как нечто несуразное, удивляют сегодня своей прозорливостью и здравым смыслом.

Для нас Ткачев интересен тем, что он, обычно относимый к народникам, шел дальше их. Он, по словам Бердяева, «первый противопоставил тому русскому применению марксизма, которое считает нужным в России развитие капитализма, буржуазную революцию и пр., точку зрения очень близкую русскому большевизму. Тут намечается уже тип разногласия между Лениным и Плехановым... Ткачев, подобно Ленину, строил теорию социалистической революции для России. Русская революция принуждена следовать не по западным образцам... Ткачев был прав в критике Энгельса. И правота его не была правотой народничества против марксизма, а исторической правотой большевиков против меньшевиков, Ленина против Плеханова» [87, с. 59-60].

Ответ Энгельса Ткачеву, работа «О социальном вопросе в России» [11], был опубликован в 1875 г. в Лейпциге и, как сказано в предисловии к 18-му тому сочинений Маркса и Энгельса, «положил начало той всесторонней критике народничества в марксистской литературе, которая была завершена В.И. Лениным в 90-х годах XIX века и привела к полному идейно-теоретическому разгрому народничества» [32, с. XXIX].

Энгельс издевается над прогнозами народников: «Г-т Ткачев говорит чистейший вздор, утверждая, что русские крестьяне, хотя они и «собственники», стоят «ближе к социализму», чем лишенные собственности рабочие Западной Европы. Как раз наоборот. Если что-нибудь может еще спасти русскую общинную собственность и дать ей возможность превратиться в новую, действительно жизнеспособную форму, то это именно пролетарская революция в Западной Европе» [88, с. 546].

Трудно поверить, что Энгельс пишет это искренне. Утверждать в 1875 г., что «лишенные собственности рабочие Западной Европы революционны» — это значит противоречить очевидности, причем такой очевидности, которую сам же Энгельс не раз констатировал в своих письмах. Так, 7 октября 1858 г. (!) Энгельс писал Марксу: «Английский пролетариат фактически все более и более обуржуазивается, так что эта самая буржуазная из всех наций хочет, по-видимому, довести дело в конце концов до того, чтобы иметь буржуазную аристократию и буржуазный пролетариат *рядом* с буржуазией. Разумеется, со стороны такой нации, которая эксплуатирует весь мир, это до известной степени правомерно. Здесь могут помочь лишь несколько очень плохих годов, а их, по-видимому, уже не так-то легко дожидаться, с тех пор как открыты золотые россыпи» [89, с. 293]. Сравните это с теми нотациями, которые прочел Энгельс Ткачеву, утверждавшему буквально то же самое, только не в письмах, а публично.

И ведь это представление Энгельса, сложившееся к 1858 году, было вполне устойчивым. 12 сентября 1882 г. он пишет Каутскому, что «рабочие преспокойно пользуются вместе с ними [буржуазией] колониальной монополией Англии и ее монополией на всемирном рынке» [20, с. 297]. Как же в таких условиях Энгельс мог требовать от русских, чтобы они дожидались пролетарской революции в Англии? Из его же собственных утверждений прямо следовало, что уповать на пролетарскую революцию в метрополии капитализма не приходилось, а революция в странах периферийного капитализма, к которым относилась и Россия, неизбежно приобретала не только антикапиталистический, но и национально-освободительный характер.

Энгельс не только с возмущением отвергает «чистейший вздор» относительно социалистических установок русских крестьян, но и предупреждает, что революция в России, согласно марксизму, имела бы *реакционный* характер: «Только на известной, даже для наших современных условий очень высокой, ступени развития общественных производительных сил, становится возможным поднять производство до такого уровня, чтобы отмена классовых различий стала действительным прогрессом, чтобы она была прочной и не повлекла за собой застоя или даже упадка в общественном способе производства. Но такой степени развития производительные силы достигли лишь в руках буржуазии» [88, с. 537].

В официальной советской истории обходился молчанием тот факт, что основоположники марксизма наложили запрет на то, чтобы русская революция выходила за рамки буржуазной революции — раньше, чем это будет позволено пролетариатом «господствующих народов». Ученики Маркса и Энгельса считали своим долгом выполнять этот завет, ставший для них священной догмой. Это во многом предопределило раскол революционных социалистических сил в России, который привел к Гражданской войне.

Руководитель партии эсеров В.М. Чернов в своих воспоминаниях пишет о либералах, социал-демократах и эсерах, собравшихся в коалиционном Временном правительстве: «Над всеми над ними тяготела, часто обеспокоившая их работу, одна старая и, на мой взгляд, устаревшая догма. Она гласила, что русская революция обречена быть революцией чисто буржуазной и что всякая попытка выйти за эти естественные и неизбежные рамки будет вредной авантюрой... Соглашались на всё, только бы не переобременить плеч трудовой социалистической демократии противоестественной ответственностью за власть, которой догма велит оставаться чужой, буржуазной» [90].

Но это Чернов написал через много лет после революции. А в 1917 г. принятие марксистской догмы привело к краху российской социал-демократии. Лишь небольшая ее фракция — *большевики* — смогла эту догму преодолеть и была принята в лоно русской революции, хотя и в партии большевиков эта догма выбаливала с кровью. Но каких перегрузок и травм стоил России тот факт, что на антисоветские позиции перешло большинство политически активного образованного слоя! Ибо антисоветские позиции быстро превратились в *антинациональные*. Они затянули Россию в Гражданскую войну.

Ленин писал: «Если есть абсолютно бесспорный, абсолютно доказанный фактами урок революции, то только тот, что исключительно союз большевиков с эсерами и меньшевиками, исключительно немедленный переход всей власти к Советам сделал бы гражданскую войну в России невозможной» [91, с. 222].

Видный меньшевик А. Иоффе писал в мае 1917 г.: «Как бы громки ни были революционные фразы, но до тех пор, пока меньшевизм остается правительственной партией *буржуазного* правительства, — до тех пор меньшевизм не только обречен на бездействие, но и совершает над собою своеобразное политическое «харакири», ибо губит самую внутреннюю сущность социал-демократии» [92].

Вспомним, какое неприятие и по какой причине вызвала Октябрьская революция у ортодоксальных марксистов в России и в Западной Европе. Вот суждение родоначальника российского марксизма Г.В. Плеханова: «Маркс прямо говорит, что данный способ производства никак не может сойти с исторической сцены данной страны до тех пор, пока он не препятствует, а способствует развитию ее производительных сил. Теперь спрашивается, как же обстоит дело с капитализмом в России? Имеем ли мы основание утверждать, что его песенка у нас спета, т.е. что он достиг той высшей ступени, на которой он уже не способствует развитию производительных сил страны, а, наоборот, препятствует ему? Россия страдает не только от того, что в ней есть капитализм, но также от того, что в ней недостаточно развит капиталистический способ производства. И этой неоспоримой истины никогда еще не оспаривал никто из русских людей, называющих себя марксистами» [93].

Сразу после революции, 28 октября 1917 г. Плеханов опубликовал открытое письмо петроградским рабочим, в котором предрекал поражение Октябрьской революции: «В населении нашего государства пролетариат составляет не большинство, а меньшинство. А между тем он мог бы с успехом практиковать диктатуру только в том случае, если бы составлял большинство. Этого не станет оспаривать ни один серьезный социалист».

Это утверждение лишено логики и является простым повторением марксистской догмы — никогда и нигде возможность господства какой-то социальной группы не определялась ее численностью. И эта марксистская догма засела в сознании марксистов так глубоко, что реальные факты нисколько не могли ее поколебать.

Один из лидеров Бунда М. Либер (Гольдман) писал уже в 1919 г.: «Для нас, «непереучившихся» социалистов, не подлежит сомнению, что социализм может быть осуществлен прежде всего в тех странах, которые стоят на наиболее высокой ступени экономического развития, — Германия, Англия и Америка — вот те страны, в которых прежде всего есть основание для очень крупных победных социалистических движений. Между тем с некоторого времени у нас развилась теория прямо противоположного характера. Эта теория не представляет для нас, старых русских социал-демократов, чего-либо нового; эта теория развивалась русскими народниками в борьбе против первых марксистов... Эта теория очень старая; корни ее — в *славянофильстве*» [94].

На Западе оценки были еще жестче. Некий профессор П. Шиман, ссылаясь на К. Каутского, писал в брошюре «Азиатизация Европы»: «Внутреннее окостенение, которое было свойственно народам Азии в течение тысячелетий, стоит теперь призраком перед воротами Европы, закутанное в мантию клочков европейских идей. Эти клочки обманывают сделавшийся слепым культурный мир. Большевизм приносит с собой азиатизацию Европы». И это было почти общим местом в рассуждениях о советской революции.

Примечательно также и то, что немецкие социал-демократы 20-х годов XX века, как будто прямо продолжая линию Маркса, видели связь между большевиками и народниками. Видный социал-демократ Г. Штребель писал в 1921 г.: «Если большевики и воображали, что русских крестьян можно... завоевать на сторону коммунизма и коммунистического способа производства, то они лишь доказывали вновь, что они обретаются в плену типичных представлений старого русского революционизма, которые составляют специфическую сущность бакунизма». [25]

К этому же выводу, но уже в качестве не обвинения, а беспристрастного суждения, пришел Н.А. Бердяев. Он писал, что при строгом следовании принципам марксизма социальной революции в России пришлось бы ждать очень долго: «И наиболее революционно настроенные марксисты должны были иначе истолковывать марксизм и построить другие теории русской революции, выработать иную тактику. В этом крыле русского марксизма... произошло незаметное соединение традиций рево-

люционного марксизма с традициями старой русской революционности... Марксисты-большевики оказались гораздо более в русской традиции, чем марксисты-меньшевики» [87, с. 86].

Такова прямая преемственность антисоветских установок российских и западных марксистов в момент русской революции 1917 г. и критикой Энгельса в адрес народников в 1875 г. Но вернемся к этой критике. Стараясь доходчиво объяснить в ответе Ткачеву, почему крестьянская и общинная Россия обязана следовать по пути развития буржуазии с разделением народов по классовому признаку, Энгельс с иронией поясняет эту мысль таким образом: «У дикарей и полудикарей часто тоже нет никаких классовых различий, и через такое состояние прошел каждый народ. Восстанавливать его снова нам и в голову не может прийти» [88, с. 537].

Эта аналогия ложная. Народники предложили концепцию индустриализации и *модернизации* России не так, как она осуществлялась в ходе буржуазной промышленной революции на Западе — не через разрушение выработанных культурой общественных институтов, а с опорой на эти институты (прежде всего, на *общину*). Найти в этой концепции стремление *восстановить* неклассовое общество «дикарей и полудикарей» невозможно даже при самой вольной трактовке написанного. Эта ирония Энгельса вызывает неприятие не своей нетерпимостью (ради умного замечания можно было бы проглотить насмешку), а своей несостоятельностью, отсутствием логики.

Замечу к тому же, что Энгельс иронизирует в 1875 г., когда в разгаре уже была Реставрация Мэйдзи в Японии — разновидность революции, имевшей целью форсированную модернизацию общества и хозяйства не по западному пути, а с опорой на *традиционные* (и даже архаичные) японские институты. Например, тогда была сознательно выработана специфическая японская модель промышленного предприятия, построенного не на принципах рынка рабочей силы, а на основе межсословного и межкланового контракта, как это практиковалось в Японии XI века в контрактах между крестьянской общиной, ремесленниками и кланами самураев. «Восстанавливать это нам и в голову не может прийти!» — воскликнул бы Энгельс. Но оказалось, что у Японии были и свои головы.

Теория тех антикапиталистических революций, которые действительно произошли во многих странах, сложилась в России. Она именно *сложилась* исходя из анализа реальности, который вели в течение полувека большое число политиков и ученых. Политическую форму этой теории придал В.И. Ленин. Эта теория кардинально расходилась с марксистской, хотя это «обвинение» отвергалось исходя из политической целесообразности.

Глава 12. Теория революции Маркса: узость модели

Конфликт между Марксом и русскими революционерами имеет несколько уровней. Структура его не разобрана из-за умолчаний, вызванных особым местом, которое занимал марксизм в идеологии мирового левого движения и в официальной советской идеологии.

В первой части данной работы говорилось о том, что установки Маркса и Энгельса были отягощены радикальным евроцентризмом и русофобией. Это создавало внутреннюю противоречивость всего учения, поскольку из-под концепции исторического процесса как борьбы классов периодически прорывалось более фундаментальное представление истории как *борьбы народов*. Однако не менее важен и другой фактор: евроцентризм заставлял Маркса так сузить рамки его представления революции, что основные противоречия, порождавшие с середины XIX века революционные движения, из этой модели исключались. Следовательно, они и не могли получить одобрения основоположником марксизма.

Для судеб России важно и то, что наша интеллигенция приняла как догму понятие *революции*, проникнутое этими представлениями марксизма. Это положение сохраняется практически до сих пор. Например, «Философский словарь» (1991) гласит: «Революция — коренной переворот в жизни общества, означающий низвержение отжившего и утверждение нового, прогрессивного общественного строя; форма перехода от одной общественно-экономической формации к другой... «Переход государственной власти из рук одного в руки другого *класса* есть первый, главный, основной признак революции как в строго-научном, так и в практически-политическом значении этого понятия» (Ленин В.И.). Революция — высшая форма борьбы классов».

Выделим главные черты, которые приписывает революциям это определение.

Во-первых, революция представлена как явление всегда *прогрессивное*, ведущее к улучшению жизни общества («низвержение отжившего и утверждение прогрессивного»). Этому определению присущ *прогрессизм*.

Во-вторых, это определение исходит из *формационного* подхода к истории. В его поле зрения не попадают все другие «коренные перевороты в жизни общества», которые не вписываются в схему

истории как смены общественно-экономических формаций. Этому определению присущ *экономизм*

В-третьих, революция в этом определении представлена как явление *классовой борьбы*. Из него выпадают все «коренные перевороты в жизни общества», вызванные противоречиями между общностями людей, не подпадающими под понятие класса (национальными, религиозными, культурными и др.).

Это исключительно узкое и ограниченное марксистское понятие служит фильтром, который не позволяет нам увидеть целые типы революций, причем революций реальных, определяющих судьбу народов. Более того, это понятие *ошибочно*, оно задает нам ложную модель. Перед нами очевидный факт: за последние двести лет в мире не произошло революций, отвечающих приведенному выше определению. Ему соответствуют только *буржуазные* революции в Англии XVII века и Франции конца XVIII века. В XX веке *классовых* революций не было, но зато прошла мировая волна революций в *сословных* обществах «крестьянских» стран, затем волна *национально-освободительных* революций, а в последние десятилетия — волна постмодернистских «*бархатных*» и «*оранжевых*» революций, вызванных геополитическими и культурными противоречиями.

Маркс, как известно, изучал классовое капиталистическое общество (на материале Англии) и назревающую в нем, как он предполагал, пролетарскую революцию. Доктрине марксизма присущ крайний экономизм — в ней не только революции, но и вообще любая политическая борьба сводится исключительно к экономическим причинам и к борьбе классов, отрицается любая иная природа общественных конфликтов. В важном труде «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» Энгельс пишет: «По крайней мере для новейшей истории доказано, что всякая политическая борьба есть борьба классовая и что всякая борьба классов за свое освобождение, невзирая на ее неизбежно политическую форму, — ибо всякая классовая борьба есть борьба политическая, — ведется, в конечном счете, из-за освобождения *экономического*» [1, с. 310].

Такое представление общественных противоречий — крайняя абстракция. В действительности конфликты на экономической почве являются лишь *одним из многих типов* общественных конфликтов. Чаще всего конфликты возникают на почве *культурных различий* — в прошлом *религиозных*, в XX веке — *национальных*. Разумеется, во всех случаях важную роль играют и экономические интересы, но они каждый раз «сплавлены» с внеэкономическими факторами в своеобразную систему, несводи-

мую к политэкономии.

Американский этнограф К. Янг, посвятивший классификации конфликтов большую книгу (1976), говорил в Москве на конференции «Этничность и власть в полиэтнических государствах»: «Широкомасштабное насилие, имевшее место в последние десятилетия в рамках политических сообществ, в огромном большинстве случаев развивалось по линии культурных, а не классовых различий; в экстремальном случае геноцид является патологией проявления культурного плюрализма [то есть *этничности*], но никак не классовой борьбы» [96].

Более того, во второй половине XX века, на исходе Нового времени, западное общество даже смогло интегрировать то, что Маркс считал импульсами революции, в качестве укрепляющих общество инструментов. Известный французский философ Ж-Ф. Лиотар отмечал в книге «Состояние постмодерн»: «Марксизмом руководит другая модель общества... В основе этой модели лежит борьба классов... Здесь невозможно обойтись без перипетий, которые занимают общественную историю, политику и идеологию в течение более века... Судьба их известна: в странах с либеральным или прогрессивно-либеральным правлением происходит преобразование этой борьбы и ее руководителей в регуляторы системы... И повсюду, под разными названиями, критика политической экономии (под названием «Капитала» Маркса) и критика связанного с ней общества отчуждения используются в качестве элементов при программировании системы» (см. [97]).

В последние двадцать лет мы наблюдали исторического масштаба революционную трансформацию «обществ советского типа» в СССР и странах Восточной Европы. Организованным движением, которое наиболее последовательно готовило эту революцию, была польская «Солидарность». Однако мотивация этой внешне «буржуазной» революции была совершенно *не классовой*.

Вот что говорится об основаниях этой мотивации: «*Солидарность* представляла собой «ценностно-ориентированный монолит», а не сообщество заинтересованных в достижении конкретных целей групп общества. Разделительная линия между противоборствующими силами пролегла не в социальной или классовой плоскости, а в ценностной, то есть культурной, точнее культурно-политической, или социально-психологической. Фактически общественная функция этого движения свелась к разрушению социалистической системы. Предпосылки институционального краха этой системы возникли после распада ее ценностной основы.

Однако этот *Солидарности*, провозглашавшиеся ею идеалы были бесконечно далеки от социокультурной реальности общества либерально-демократического типа, от рыночной экономики, частной собственности, политического плюрализма, западной демократии. *Солидарность* как тип культуры — несмотря на свою антикоммунистическую направленность — тяготела скорее к предшествующему периоду консервативной модернизации с ее неотрадиционалистским заключительным этапом, чем к сменившей его эпохе прагматизма» [98, с. 141].

В случае радикальных революций, сопровождающихся гражданской войной, конфликт на экономической почве даже не является главным. Американский социолог (из числа высланных из СССР в 1922 г. философов) П.А. Сорокин пишет: «Гражданские войны возникали от быстрого и коренного изменения высших ценностей в одной части данного общества, тогда как другая либо не принимала перемены, либо двигалась в противоположном направлении. Фактически все гражданские войны в прошлом происходили от резкого несоответствия высших ценностей у революционеров и контрреволюционеров. От гражданских войн Египта и Персии до недавних событий в России и Испании история подтверждает справедливость этого положения» [99].

Марксистское определение революции страдает еще и тем изъяном, что отсылает нас к понятию *класса*, которое таит в себе большую неопределенность. Споры относительно этого понятия велись после выхода основных трудов Маркса около ста лет. В результате понятие класса усложнилось — основанием для классификации стало не только отношение социальной группы к собственности, но и признаки *культуры*. На то, что понятие класса вообще трактуется совершенно по-разному в разных культурах, указывалось и раньше.

Например, О. Шпенглер пишет о восприятии этого понятия в Германии: «Английский народ воспитался на различии между богатыми и бедными, прусский — на различии между повелением и послушанием. Значение классовых различий в обеих странах поэтому совершенно разное. Основанием для объединения людей низших классов в обществе независимых частных лиц (каким является Англия), служит общее *чувство необеспеченности*. В пределах же государственного общения (т.е. в Пруссии) — *чувство своей бесправности*».

В другом месте Шпенглер пишет: «Маркс мыслит чисто по-английски. Его система двух классов выведена из уклада жизни народа купцов... Здесь существуют только «буржуа» и «пролетарий», субъект и объект предприятия, грабитель и ограбленный. В пределах господства прусской государственной

идеи эти понятия бессмысленны» [62, с. 71, 114.].

Не соответствовала марксистскому определению классов и структура общества социалистических стран Восточной Европы в период подготовки «бархатных» революций. Н. Коровицына пишет: «По наблюдениям польских социологов, именно образование служило детерминантой идеологического выбора в пользу либерализма в широком его понимании. Высокообразованные отличались от остального населения по своему мировоззрению. Можно даже сказать, что все восточноевропейское общество, пройдя путь соцмодернизации, состояло из двух «классов» — имевших высшее образование и не имевших его. Частные собственники начального этапа рыночных преобразований не представляли из себя социокультурной общности, аналогичной интеллигенции. Более того, как свидетельствуют эмпирические данные, они даже не демонстрировали выраженного предпочтения либеральных ценностей» [98, с. 59].

Совсем иначе, нежели в марксизме, понимался смысл классов и в России — именно по этой причине советские граждане так долго не замечали ошибочности отнесения русских революций к классовым. Н.А. Бердяев в книге «Истоки и смысл русского коммунизма» писал: «Марксизм разложил понятие народа как целостного организма, разложил на классы с противоположными интересами. Но в мифе о пролетариате по-новому восстановился миф о русском народе. Произошло как бы отождествление русского народа с пролетариатом, русского мессианизма с пролетарским мессианизмом. Поднялась рабоче-крестьянская, советская Россия. В ней народ-крестьянство соединился с народом-пролетариатом вопреки всему тому, что говорил Маркс, который считал крестьянство мелкобуржуазным, реакционным классом» [87, с. 88-89]. Столь же далеким от марксизма было и представление о буржуазии. М.М. Пришвин пишет в «Дневниках» (14 сентября 1917 г.): «Без всякого сомнения, это верно, что виновата в разрухе буржуазия, то есть комплекс «эгоистических побуждений», но кого считать за буржуазию?.. Буржуазией называются в деревне неопределенные группы людей, действующие во имя корыстных побуждений» [6].

А.С. Панарин пишет об этой стороне русской (советской) революции: «Язык стал по-своему перерабатывать — окультуривать и натурализовать на народной почве агрессивные классовые лексемы. Одно из чудес, которые он тогда совершил, это сближение инородного слова «пролетариат» с родным словом «народ», в результате чего возникло натурализованное понятие «трудовой народ». С пролетариатом могло идентифицировать себя лишь меньшинство, с трудовым народом — большинство,

при том что последнее понятие вбирало в себя марксистские классовые смыслы, одновременно смягчая их и сближая с национальной действительностью» [67, с. 137].

Общества, еще не проваренные в котле капитализма (как Россия в начале или СССР в конце XX века), вообще являются не классовыми, а в той или иной степени *сословными*. А основания, по которым люди объединяются в классы или в сословия, принципиально различны. Это замечает даже О. Шпенглер, хотя Германия прошла в разделении общества на классы несравненно дальше, чем Россия. Он пишет: «С полным непониманием психологии, свойственным воспитанному на естествознании уму 50-х годов XIX века, Маркс не знает, что ему делать с различием сословия и класса» [62, с. 113].

В официальной истории СССР утверждалось, что в России в 1917 г. произошла *классовая* (пролетарская) революция. Но как же видит Маркс основания для пролетарской революции — для того, чтобы заменить у власти буржуазию как господствующий класс пролетариатом? Первое основание — исчерпание тех возможностей, которые капитализм давал для развития производительных сил. Причину этого Маркс видел в том, что основанное на частной собственности капиталистическое производство регулируется стихийными механизмами рынка и не приемлет научного планирования в масштабе всего общества. Именно потому, что базис капиталистической формации все более ограничивал, по мнению Маркса, простор для развития производительных сил, капитализм должен был уступить место более прогрессивной формации, в которой частная собственность заменялась общественной.

Какие условия необходимы, по мнению Маркса, для того, чтобы сложились условия для пролетарской революции? Первым условием является глобальный характер господства капиталистического способа производства. Поступательное развитие капитализма перестанет быть прогрессивным только тогда, когда и капиталистический рынок, и пролетариат станут *всемирными* явлениями. Революция созреет тогда, когда полного развития достигнет частная собственность.

Смысл ясен: без полного развития частной собственности еще не все трудящиеся Земли станут пролетариями, а развитие капиталистических отношений и соответствующих им производительных сил еще не натолкнется на непреодолимые барьеры. А значит, еще не будет необходимости устранять порожденное частной собственностью отчуждение посредством революции.

Социальной причиной, по которой классом-могильщиком буржуазии должен стать пролетариат, была, по Марксу, эксплуатация рабочих посредством изъятия капиталистом прибавочной стоимости. Именно пролетариат поэтому был должен и имел право *экспроприировать экспроприаторов*. Это —

очень важное положение марксистской теории революции, особенно для тех стран, в которых промышленный пролетариат составлял небольшую часть населения (как в России, где в начале 1917 г. рабочих фабрично-заводской промышленности с семьями было 7,2 млн. человек, из них взрослых мужчин 1,8 млн.).

Но это теоретическое обоснование неотвратимости пролетарской революции на Западе несет в себе внутреннее противоречие. Дело в том, что, согласно политэкономическим воззрениям самого Маркса, капиталисты были *экспроприаторами* вовсе не по отношению к пролетариям — у пролетариев они покупали их рабочую силу по ее стоимости, через эквивалентный обмен на свободном рынке труда. Жертвами капиталистической *экспроприации* были именно крестьяне и ремесленники, жившие и работавшие в *некапиталистических* хозяйственных укладах, где они вели натуральное хозяйство или мелкотоварное производство. Маркс пишет об этой экспроприации капиталистами: «Превращение карликовой собственности многих в гигантскую собственность немногих, экспроприация у широких народных масс земли, жизненных средств, орудий труда...» [100, с. 771].

Если так, то как раз *не на Западе* и *не от пролетариата* следовало ожидать революции «экспроприированных масс». Ведь особенно большие масштабы «экспроприация у широких народных масс земли» приобрела в зависимых от Запада странах — колониях и странах периферийного капитализма. В.И. Ленин приводит данные западных экономистов, показывающие, что уже в XIX веке земельная собственность в Африке, Полинезии и Австралии была присвоена западными колониальными державами практически полностью, а в Азии — на 57% [101]. По данным Ф. Броделя, в XVIII веке треть всех инвестиций в Англии делались за счет доходов, полученных из Индии.

Да и сам Маркс говорит о тех масштабах, которых достигла экспроприация колоний. Вот пример: «Как известно, английская Ост-Индская компания кроме политической власти в Ост-Индии добила исключительной монополии на торговлю чаем, как и вообще на торговлю с Китаем и на перевозку товаров из Европы и в Европу... Монополия на соль, опиум, бетель и другие товары стала неисчерпаемым источником богатства... Крупные состояния вырастали, как грибы после дождя, и первоначальное накопление осуществлялось без предварительной затраты хотя бы одного шиллинга... В 1769-1770 гг. англичане искусственно организовали голод, закупив весь рис и отказываясь продавать его иначе, как по баснословно высоким ценам. (В 1866 г. в одной только провинции Орисса более миллиона индийцев умерли голодной смертью. Тем не менее все усилия были направлены к тому, чтобы обогатить госу-

дарственную кассу Индии путем продажи голодающим жизненных средств по повышенным ценам)... Сокровища, добытые за пределами Европы посредством прямого грабежа, порабощения туземцев, убийств, притекали в метрополию и тут превращались в капитал» [100, с. 762-763].

Маркс пишет и о Голландии: «Голландия, которая первой полностью развила колониальную систему, уже в 1648 г. достигла высшей точки своего торгового могущества». Он ссылается на немецкого историка Гюлиха, который отмечает масштабы вывоза Голландией средств из колоний: «Капиталы этой республики были, быть может, значительнее, чем вместе взятые капиталы всей остальной Европы» [100, с. 763].

Однако сопротивление капитализму народных масс колониальных и зависимых стран Маркс квалифицирует как *реакционное*, ибо оно препятствует «прогрессу промышленности, невольным носителем которого является буржуазия».

Надо подчеркнуть, что обвинение капитализма в эксплуатации рабочих является *нравственным* и, в принципе, вообще не должно присутствовать в политэкономии, которая претендует быть наукой (то есть беспристрастным знанием, свободным от моральных ценностей). Но главное заключается в том, что если бы капитализм смог «исправиться» и преодолеть эти два дефекта, на которые указал Маркс, то и оснований для революции не было бы — приверженцы марксизма с полным правом одобрили бы продление капитализма еще на исторический срок, снова дали бы ему «кредит доверия». В течение XX века именно это и смог совершить западный капитализм. Прежде всего, было отведено обвинение в эксплуатации — произошло становление так называемого «социального государства». Показатели экономической эффективности как критерия развития производительных сил также оказались к концу XX века у капитализма очень высокими. Предсказанная теорией Маркса пролетарская революция не состоялась. И Энгельс стал призывать трудящихся способствовать развитию капитализма.

В отличие от марксистской теории классовой революции в России была создана теория революции, *предотвращающей* разделение на классы. Для крестьянских стран это была революция *цивилизационная* — она была средством спасения от втягивания страны в периферию западного капитализма. Это — принципиально иная теория, можно даже сказать, что она является частью другой *парадигмы*, другого представления о мироустройстве, нежели у Маркса. Между этими теориями не могло не возникнуть глубокого *когнитивного* конфликта, то есть конфликта двух разных познавательных систем. А такие конфликты всегда вызывают размежевание и даже острый конфликт сообществ,

следующих разным парадигмам. Тот факт, что в России, следуя ленинской теории революции, приходилось маскироваться под марксистов, привел к тяжелым деформациям и в ходе революционного процесса, и в ходе социалистического строительства.

Красноречив тот факт, что там в России, где победили силы, стремящиеся стать «частью Запада», они выступали против Советской революции, выступая даже и под красным знаменем социализма. Примером стала Грузия. Здесь возникло типично социалистическое правительство под руководством марксистской партии, которое было непримиримым врагом Октябрьской революции и вело войну против большевиков. Президент Грузии Жордания (член ЦК РСДРП) объяснил это в своей речи 16 января 1920 г.: «Наша дорога ведет к Европе, дорога России — к Азии. Я знаю, наши враги скажут, что мы на стороне империализма. Поэтому я должен сказать со всей решительностью: я предпочту империализм Запада фанатикам Востока!» [102, с. 533].

Но и на Западе происходят революции совершенно не по Марксу. В некоторые редкие исторические моменты и здесь возникают ситуации, в которых перед народом стоит не классовая, а общенациональная задача — предотвратить опасность *выталкивания* страны на периферию ее цивилизационного пространства. Шпенглер пишет о том, как назревала в 20-е годы в Германии социалистическая «консервативная революция» (которая была сорвана другой, национал-социалистической революцией фашистов): «Немецкие консерваторы приходят к мысли о неизбежности социализма, поскольку либеральный капитализм означал для них капитуляцию перед Антантой, тем мировым порядком, в котором Германии было уготовано место колонии» [62, с. 205].

В теории революции Маркса объектом революционного изменения (разрушения) становился *базис* общества или, в терминах марксизма, производственные отношения. Смысл «консервативной революции» в трактовке Шпенглера — переход к прусскому социализму как жизнеустройству, защищающему Германию от угрозы превращения ее в периферийный придаток Антанты. Для достижения этих целей и построения нового жизнеустройства на измененном базисе предполагались соответствующие революционные изменения и в надстройке — государстве, идеологии и пр.

В 30-е годы XX века, после изучения опыта революций прошлого, а также русской революции и национал-социалистической революции в Германии, родилась принципиально новая теория, согласно которой первым объектом революционного разрушения становилась *надстройка* общества, причем ее наиболее «мягкая» и податливая часть — идеология и установки общественного сознания.

Разработка ее связана с именем Антонио Грамши, основателя и теоретика Итальянской компартии.

Учение Грамши о гегемонии стало важной главой в современной политологии. Во многих случаях противостоящие политические силы сознательно планировали свою кампанию как борьбу за гегемонию в общественном сознании по конкретному вопросу. Открытые действия по добыванию власти, утратившей культурную гегемонию, ведут, согласно концепции Грамши (в отличие от Маркса), не классовые организации, а *исторические блоки* — временные союзы внутренних и внешних сил, объединенных конкретной краткосрочной целью свержения власти. Эти блоки собираются не по классовым принципам, а ситуативно, и имеют динамический характер.

В логике учения Грамши велся подрыв гегемонии социалистических сил в СССР и странах Восточной Европы в 70-80-е годы. Этому служил и самиздат, и передачи специально созданных на Западе радиостанций, и массовое производство анекдотов, и работа популярных юмористов или студенческое движение КВН в СССР. Массовая «молекулярная» агрессия в сознание велась непрерывно и подтачивала культурное ядро. Вершиной этой «работы по Грамши» была, конечно, перестройка в СССР («грамшианская революция»). Она представляла собой интенсивную программу по разрушению идей-символов, которыми легитимировалось *идеократическое* советское государство.

Важное отличие теории революции Грамши от марксистской теории было и то, что Грамши преодолел свойственный историческому материализму *прогрессизм*. Маркс отвергал саму возможность революций *регресса*. Такого рода исторические процессы в его концепциях общественного развития выглядели как *реакция* или контрреволюция. Как видно из учения о гегемонии, любое государство, в том числе прогрессивное, может не справиться с задачей сохранения своей культурной гегемонии, если исторический блок его противников обладает новыми, более эффективными средствами агрессии в культурное ядро общества.

У Грамши перед глазами был опыт фашизма, который применил средства манипуляции сознанием, относящиеся уже к эпохе постмодерна и подорвал гегемонию буржуазной демократии — совершил типичную революцию регресса. Но теория истмата оказалась не готова к такому повороту событий. Недаром немецкий философ Л. Люкс после опыта фашизма писал: «Благодаря работам Маркса, Энгельса, Ленина было гораздо лучше известно об экономических условиях прогрессивного развития, чем о регрессивных силах» [103].

Более того, элита советских коммунистов, получившая в 30-е годы образование, основанное на прогрессистских постулатах Просвещения в версии исторического материализма, долго не могла поверить, что в Европе может произойти такой сдвиг в сфере сознания. Это не позволило осознать угрозу фашизма в полном объеме.

Оптимизм, которым было проникнуто советское мировоззрение, затруднил понимание причин и глубины того кризиса Запада, из которого вырвалась фашистская революция. Л. Люкс пипет по этому поводу: «Коммунисты не поняли европейского пессимизма, они считали его явлением, присущим одной лишь буржуазии... Теоретики Коминтерна закрывали глаза на то, что европейский пролетариат был охвачен пессимизмом почти в такой же мере, как и все другие слои общества. Ошибочная оценка европейского пессимизма большевистской идеологией коренилась как в марксистской, так и в национально-русской традиции» [103].

Подобный слом произошел в СССР в конце 80-х годов. Поведение огромных масс населения нашей страны стало на время обусловлено не разумным расчетом, не «объективными интересами», а именно всплеском коллективного бессознательного. Перестройка и начальная фаза рыночной реформы в СССР — чистый случай *революции регресса*, не предусмотренной теориями революции Маркса и Ленина.

Таким образом, революция может иметь причиной глубокий конфликт в отношении *всех* фундаментальных принципов жизнеустройства, всех структур цивилизации, а вовсе не только в отношении способа распределения произведенного продукта («прибавочной стоимости»). Например, многие немецкие мыслители первой половины XX в. считали, что та революция в Германии, которая возникла в результате Первой мировой войны, имела в своем основании отношение к *государству*. О. Шпенглер приводит слова консерватора И. Пленге о том, что это была «революция собирания и организации всех государственных сил XX века против революции разрушительного освобождения в XVIII веке» и о том, что это революция социалистическая, которая «кладет конец эпохе индивидуализма» [62, с. 193]. Понятно, что такая революция совершенно противоречит теории Маркса, ибо для марксизма государство — лишь *паразитический нарост* на обществе.

«Оранжевые» революции нашего времени — это революции, не просто приводящие к смене властной верхушки государства и его геополитической ориентации, а и принципиально меняющие основание легитимности всей государственности страны. Более того, меняется даже местонахождение *источника легитимности*, он перемещается с территории данного государства в *метрополию*, в ядро

мировой системы капитализма. Такое глубокое изменение государственности имеет цивилизационное измерение.

Смена власти и в Грузии, и на Украине сопровождалась глубокими структурными изменениями не только в государстве и обществе этих стран, но и в структуре *мироустройства*. Две *постсоветские* территории резко изменили свой цивилизационный тип и траекторию развития — они вырваны из той страны, которая еще оставалась на месте СССР, хотя и с расчлененной государственностью. Они перестали быть постсоветскими. Будущее покажет, будет ли это новое состояние устойчивым, но в данный момент приходится признать, что свершилась именно *революция*.

Для понимания и предвидения хода революций надо вглядываться не только в противоречия, созревшие в базисе общества, но и в процессы, происходящие или целенаправленно возбуждаемые в надстройке общества — в культуре, идеологии и сфере массового сознания.

Глава 13. Критерии оценки революций в методологии исторического материализма

В российской социал-демократии, а затем и в советском обществоведении было принято как догма, что в иерархии критериев, с которыми Маркс подходил к общественным явлениям, на первом месте стояли критерии *формационного*, *классового* подхода. Ленин писал весной 1914 г.: «По сравнению с «рабочим вопросом» подчиненное значение национального вопроса не подлежит сомнению у Маркса» [104].

С этим никак нельзя согласиться, если речь идет не об абстрактной теоретической модели Маркса, а об отношении к реальным общественным противоречиям. При столкновении *прогрессивной* нации с *реакционным* народом «рабочий вопрос» (то есть интересы трудящихся) не просто занимает подчиненное место по сравнению с национальным, но как правило вообще не принимается во внимание.

При вторжении английского капитализма в Индию гибель миллионов индийских ткачей ничего не значила по сравнению с прогрессивной ролью колонизаторов в развитии производительных сил Англии. Напротив, гражданская война буржуазии северных штатов США против буржуазии плантаторов Юга под лозунгом ликвидации рабства воспринималась Марксом почти как пролетарская революция. Маркс и Энгельс писали в приветствии президенту США Линкольну в ноябре 1864 г.: «Рабочие Европы твердо верят, что, подобно тому как американская война за независимость положила начало эре господства буржуазии, так американская война против рабства положит начало эре господства рабочего класса. Предвестие грядущей эпохи они усматривают в том, что на Авраама Линкольна, честного сына рабочего класса, пал жребий провести свою страну сквозь беспрецедентные бои за освобождение поработенной расы и преобразование общественного строя» [105].

Для такой восторженной оценки не было совершенно никаких оснований кроме уважения к США как стране наиболее развитого и «чистого» капитализма.

Выше говорилось о том, какое резкое неприятие Маркса и Энгельса вызвали представления Бакунина и народников о назревании в России антикапиталистической революции. Основоположники марксизма считали эту революцию несвоевременной и даже реакционной. Понятно, что для хода реального

исторического процесса в России в период назревающей революции вопрос о тех основаниях, исходя из которых Маркс и Энгельс пришли к такому выводу, был чрезвычайно был актуальным. Этот вопрос остается актуальным и сегодня, поскольку политически активная часть постсоветского общества остается под большим влиянием марксистского обществоведения. В этом обществоведении ответ на указанный вопрос сводился, в общем, к следующему.

Ключевым положением исторического материализма и теории революции Маркса является объективный характер главного противоречия общественного развития — противоречия между развитием производительных сил и производственных отношений. Когда разрешение этого противоречия становится невозможно в рамках данной общественно-экономической формации, происходит революция, ломающая прежние производственные отношения, и меняется формация.

Исходя из этого, Маркс и Энгельс и предупреждали о том, что попытка произвести преждевременную социальную революцию до того, как развитие производительных сил вступило в неразрешимое противоречие с производственными отношениями, является *реакционной*. Такая революция лишь задержала бы развитие производительных сил или даже привела к их регрессу. Положение о том, что сопротивление капитализму, пока он не исчерпал своей потенции в развитии производительных сил, является реакционным, было заложено в марксизм, как непререкаемый постулат.

Этому положению уделено значительное место уже в «Экономических рукописях 1844 г.» Маркса. Об этом специально говорится в «Манифесте коммунистической партии»: условия, которые «борются с буржуазией для того, чтобы спасти свое существование от гибели,... реакционны: они стремятся повернуть назад колесо истории».

При этой оценке совершенно не принимается в расчет, насколько массовыми и нестерпимыми являются страдания «ремесленников и крестьян», страдания подавляющего большинства именно *рабочих* в исходном смысле этого слова.

Маркс пишет в «Капитале» о мелкотоварном производстве и его уничтожении капитализмом: «Экспроприация у широких народных масс земли, жизненных средств, орудий труда, — эта ужасная и тяжелая экспроприация народной массы образует пролог истории капитала... Экспроприация непосредственных производителей совершается с самым беспощадным вандализмом и под давлением самых подлых, самых грязных, самых мелочных и самых бешеных страстей. Частная собственность, добытая трудом собственника, основанная, так сказать, на страстании отдельного независимого работ-

ника с его орудиями и средствами труда, вытесняется капиталистической частной собственностью, которая покоится на эксплуатации чужой, но формально свободной рабочей силы» [100, с. 771-772].

Итак, на подавляющее большинство народа накатывает враг, угрожающий «ужасной экспроприацией народной массы», причем «с самым беспощадным вандализмом и под давлением самых подлых и самых бешеных страстей» — но сопротивляться этому народ не должен, это сопротивление Маркс квалифицирует как *реакционное*. Гораздо важнее, по его мнению, «прогресс промышленности, невольным носителем которого является буржуазия». Сопротивление этому «колесу истории» реакционно.

Что это за «колесо истории»? Почему народы, которых оно грозит раздавить, не имеют права попытаться оттолкнуть его от своего дома — пусть бы катилось по другой дорожке? Причем с обвинением в реакционности таких попыток Маркс обращается и к народам, которые вовсе не находятся в колее этого «колеса» — например, к русскому.

«Рабочий вопрос» занимает подчиненное положение и при оценке Марксом тех страданий, которые выпадают на долю разных народов под железной пятой капиталистического прогресса. Даже небольшие лишения ремесленников Запада вызывают несравненно большее сожаление, чем массовая гибель «отсталых». Маркс пишет: «Всемирная история не знает более ужасающего зрелища, чем постепенная, затянувшаяся на десятилетия и завершившаяся, наконец, в 1838 г. гибель английских ручных хлопчатобумажных ткачей. Многие из них умерли голодной смертью, многие долго влачили существование со своими семьями на 21/2 пенса в день. Напротив, английские хлопчатобумажные машины произвели острое действие на Ост-Индию, генерал-губернатор которой констатировал в 1834-1835 годах: «Бедствию этому едва ли найдется аналогия в истории торговли. Равнины Индии белеют костями хлопчаткачей...» [100, с. 441-442].

Гибель ткачей в Англии «затянулась на десятилетия», и за эти десятилетия «многие умерли голодной смертью». Но им оказывалась определенная социальная помощь. Как сказано в сноске, «до проведения закона о бедных 1833 г. конкуренция между ручным ткачеством и машинным ткачеством затягивалась в Англии из-за того, что вспомоществованиями от приходов пополняли заработную плату, упавшую далеко ниже минимума». Социальной катастрофы в Англии явно не произошло. Однако «всемирная история не знает более ужасающего зрелища» — а кости миллионов ткачей Индии, умерших от голода всего за один год, столь ужасающего зрелища, по мнению Маркса, не представляют. Разве для русских

народников это не было сигналом, что уж нас-то «колесо» совсем не пощадит, если мы не отклоним его траекторию подальше от России?

Правом на вандализм, экспроприацию и даже уничтожение сопротивляющихся народов марксизм наделяет Запад — на основании того, что в расистской идеологии евроцентризма Запад приписал себе роль носителя прогресса.

Одновременно евроцентризм принижает роль всех незападных культур и народов в развитии человечества в целом, в том числе и его производительных сил. Приручение лошади в Азии или выведение культурной кукурузы и картофеля индейцами Южной Америки сыграли в истории цивилизации более важную роль, чем создание атомной бомбы. Приписывать какую-то особую роль буржуазному обществу, оправдывая этой ролью разрушение других культур и хозяйственных укладов — это вызванное кратким историческим моментом сужение сознания. К. Леви-Стросс пишет в «Структурной антропологии»: «Вся научная и промышленная революция Запада уместается в период, равный половине тысячной доли жизни, прожитой человечеством. Это надо помнить, прежде чем утверждать, что эта революция полностью перевернула жизнь».

К несчастью для советского строя и советского народа, присущий марксизму евроцентризм настолько глубоко проник в наше массовое сознание, что большинство не замечало нелепости того гипертрофированного восхищения, которое в 70-80-е годы XX века вызывали у нас западные промышленные товары. Люди поклонялись электробритве и не хотели знать, что хозяйственное освоение центральной и северной Европы началось лишь после того, как германцы освоили изобретенный скифами хомут. Только тогда они смогли заменить волов лошадьми на пахоте и в транспорте, чтобы обрабатывать удаленные от жилищ поля и поляны. И только с появлением хомута на север продвинулись монастыри, необходимые для развития центры культуры.

Но вернемся от реальности отношений Запада с периферией («борьбы народов») к абстракции исторического материализма. Эта абстрактная конструкция представляется несостоятельной исходя из следующих соображений.

Понятно, что если речь идет об объективном противоречии, нарастание которого проявляется во множестве общественных явлений, тем более если процесс нарастания этого противоречия является нелинейным и приводит к переломным моментам, то возникает вопрос, каковы *индикаторы* и *критерии*, которыми оперирует методология марксизма. Как она определяет наступление того критического

момента, начиная с которого *можно* проводить социальную революцию? Когда надо считать, что производительные силы развились настолько, что приходится менять производственные отношения посредством революционного действия, рационально направляемого марксистской теорией?

В отношении России, как мы знаем, Маркс и Энгельс при жизни, а его ортодоксальные последователи и после их смерти, всегда говорили: «Рано!» То есть, по критерию достаточного для революции уровня развития производительных сил давалась *негативная* оценка моменту. Логичным был вопрос: на основании каких измерений? Каким инструментом пользовались Маркс и Энгельс?

Вопрос этот вполне правомочен, поскольку если бы марксизм не выработал индикаторов и критериев для обнаружения пороговой точки, то называть его *методом*, а тем более *теорией* или даже сводом *объективных законов*, не было бы никаких оснований. Просто сказать, что какое-то дело надо делать вовремя, а не преждевременно, является банальным утверждением, не обладающим научной ценностью.

Допустим, что ценность негативного утверждения Маркса и Энгельса при определении степени созревания революции в России («Еще рано!») при их жизни проверить не представлялось возможным (хотя и это должно было насторожить, поскольку марксизм претендовал на открытие *всеобщих* законов общественного развития, исходя из которых Маркс и Энгельс давали вполне конкретные оценки). Но ведь были оценки, сделанные самими классиками марксизма для тех обществ, которые они хорошо знали и на материале которых они создавали свою теорию. Вспомним эти оценки.

В «Коммунистическом Манифесте» Маркс и Энгельс таким образом характеризовали состояние производительных сил в странах Западной Европы на тот момент: «Производительные силы, находящиеся в его [общества] распоряжении, не служат более развитию буржуазных отношений собственности; напротив, они стали непомерно велики для этих отношений, буржуазные отношения задерживают их развитие; и когда производительные силы начинают преодолевать эти преграды, они приводят в расстройство все буржуазное общество, ставят под угрозу существование буржуазной собственности. Буржуазные отношения стали слишком узкими, чтобы вместить созданное ими богатство» [41, с. 430].

Сказано вполне ясно. Это — *позитивное* утверждение, согласно которому противоречие между производительными силами и производственными отношениями в наиболее развитых странах Западной Европы *дошло до своей критической точки*. Буржуазные отношения задерживают развитие производительных сил, производительные силы не служат более развитию буржуазных отношений

собственности. Анализ, приведший к этому выводу, проделан самими творцами метода, лучше них никто этим методом не владел.

В «Капитале» Маркс пишет, какие события должны произойти в этой критической точке: «Монополия капитала становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается... Капиталистическое производство порождает с необходимостью естественного процесса свое собственное отрицание. Это — отрицание отрицания... Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют» [100, с. 772-773].

Итак, противоречие вполне созрело, но социалистической революции, которая должна была произойти «с необходимостью естественного процесса», не произошло. Час капиталистической частной собственности *не пробил*, капиталистическая оболочка *не взорвалась*. Более того, буржуазное общество не пришло в полное расстройство каким-то иным, нереволуционным образом. Результат марксистского анализа оказался *ошибочным*. В таком случае должна была последовать проверка всех измерений и выкладок для поиска причин ошибки. Результатов такой проверки ответственные исполнители работы (Маркс и Энгельс) заказчикам (обществу, рабочему классу, партии и т.д.) не представили. Есть ли какие-то косвенные свидетельства их рефлексии?

Таких свидетельств не было очень долго. Факты не могли поколебать веру Маркса в «естественные законы». Он пишет Энгельсу (8 октября 1858 г.): «Действительная задача буржуазного общества состоит в создании мирового рынка, по крайней мере в его общих чертах, и производства, покоящегося на базисе этого рынка. Поскольку земля кругла, то, по-видимому, с колонизацией Калифорнии и Австралии и открытием дверей Китая и Японии процесс этот завершен. Трудный вопрос заключается для нас в следующем: на континенте революция близка и примет сразу же социалистический характер. Но не будет ли она неизбежно подавлена в этом маленьком уголке, поскольку на неизмеримо большем пространстве буржуазное общество продельывает еще восходящее движение?» [106, с. 295].

Как понять эту веру в то, что в 1858 г. Запад был близок к социалистической революции, так что главная опасность заключалась лишь в контрреволюционном нашествии индусов и китайцев? Какие для этого были объективные показатели? Налицо просто непригодность методических инструментов марксизма. Осознание этого постепенно приходило и к Марксу с Энгельсом.

Вот косвенное признание Энгельсом ошибочности представленного в «Манифесте коммунистической партии» вывода о том, что к 1848 г. производительные силы на Западе стали непомерно велики для буржуазных отношений. В 1893 г. он пишет в предисловии к итальянскому изданию «Манифеста», излагая свое представление о революции 1848 г.: «Повсюду эта революция была делом рабочего класса... Но одни только парижские рабочие, свергая правительство, имели совершенно определенное намерение свергнуть и буржуазный строй. Однако, хотя они и сознавали неизбежный антагонизм, существующий между их собственным классом и буржуазией, ни экономическое развитие страны, ни духовное развитие массы французских рабочих не достигли еще того уровня, при котором было бы возможно социальное переустройство» [42, с. 381].

Это признание вызывает ряд вопросов. Во-первых, каково назначение текста, в котором сказано, что в 1848 г. «экономическое развитие страны *не достигло* еще того уровня, при котором было бы возможно социальное переустройство»? Этот текст — предисловие к тому самому «Манифесту», в котором черным по белому написано, что экономическое развитие в тот момент как раз *достигло* этого уровня. Как можно было оставить такое явное несоответствие без всякого объяснения? Надо же было сказать, в чем корень ошибки и устранен ли он из теории, которой предлагают пользоваться мировому пролетариату в 1893 г.

Второй вопрос таков. Если «экономическое развитие страны в 1848 г. *не достигло* еще того уровня, при котором, согласно «Манифесту», можно проводить социальное переустройство, то почему же о парижских рабочих, которые «имели совершенно определенное намерение свергнуть буржуазный строй», Энгельс говорит с таким уважением? Ведь это их намерение следовало считать *реакционным* ! Мало того, оно было глупым (применительно к России в подобном случае Маркс сказал о Бакунине «Осёл!», а Энгельс что-то похожее сказал о Ткачеве). Это второе противоречие между предисловием к «Манифесту» и текстом «Манифеста» также осталось без всякого объяснения. Если взгляды Энгельса изменились и «Манифест» устарел, как же можно было его издавать без предупреждений! Можно ли представить себе такое в науке!

Третий вопрос касается еще одного очевидного противоречия. В своем предисловии 1893 г. к «Манифесту» Энгельс пишет, что в 1848 г. «духовное развитие массы французских рабочих не достигло еще того уровня», при котором могла произойти социальная революция. Не достигло *еще* . Но ведь после 1848 г. во Франции происходило быстрое экономическое развитие, а также «духовное развитие массы

французских рабочих». Почему же они, «сознавая неизбежный антагонизм» с буржуазией, не воспользовались этим развитием и не совершили победоносную революцию? Ведь хотя в 1871 г. Маркс и писал о Парижской коммуне, что это «начало социальной революции XIX века» и что «она обойдет *весь мир*», ни о каком разрешении противоречия между производительными силами и производственными отношениями там и речи не шло.

О социально-экономической программе Коммуны Маркс писал уклончиво: «Рабочий класс не ждал чудес от Коммуны... Рабочему классу предстоит не осуществлять какие-либо идеалы, а лишь дать простор элементам нового общества, которые уже развились в недрах старого разрушающегося буржуазного общества» [107, с. 347]. Другими словами, ни о какой социальной революции речь здесь не идет. Социальные меры, которые предприняла Коммуна, никак с разрешением «главного противоречия» не связаны. Маркс пишет о них: «Великим социальным мероприятием Коммуны было ее собственное существование, ее работа. Отдельные меры, предпринимавшиеся ею, могли обозначить только направление, в котором развивается управление народа посредством самого народа. К числу их принадлежали: отмена ночных работ булочников...» [107, с. 350]. Других «элементов нового общества» не нашлось.

Более того, и после Парижской коммуны труды Маркса издавались во Франции массовыми тиражами, в стране действовали сильные марксистские партии, марксисты руководили вооруженными силами Сопротивления во второй мировой войне, марксист-социалист несколько сроков был президентом — почему же Призрак коммунизма все дальше и дальше уходил из Франции? Надо признать как факт, что методологический инструментарий, с помощью которого Маркс и Энгельс вели свой анализ и давали свои прогнозы, является *негодным*. Не в мелочах, а в главном, в отношении фундаментальных процессов — как социальных, так и национальных.

Таким образом, вопреки утверждениям Энгельса в предисловии к «Манифесту» 1893 г., получается, что или антагонизма между пролетариатом и буржуазией не существовало, или парижские рабочие его не признавали (а значит, опять же, его и не существовало, ибо социальный антагонизм есть явление *общественного сознания*). Как может общество в течение 45 лет (с 1848 по 1893 г.) жить и быстро развиваться в состоянии антагонизма между двумя главными классами?[26] К тому же у Энгельса не было никаких оснований отождествлять специфическую социальную группу «парижских рабочих» (скорее даже, небольшую часть этой группы) с пролетариатом Франции. Ниоткуда не следует, что

«парижские рабочие» восстали потому, что производственные отношения сковывали производительные силы.

Надо сказать, что при этом Энгельс все равно считает, что революция 1848 г. была «почти» социалистической — только теперь проявление ставшего критическим противоречия переместилось у него из ядра капиталистической системы в менее развитые страны Запада. Он пишет в том же предисловии: «Ни в какой стране господство буржуазии невозможно без национальной независимости. Поэтому революция 1848 г. должна была привести к единству и независимости тех наций, которые до того времени их не имели: Италии, Германии, Венгрии. Очередь теперь за Польшей. Итак, если революция 1848 г. и не была социалистической, то она расчистила путь, подготовила почву для этой последней» [42, с. 382].

Выходит, к 1893 г. уточненный марксистский анализ показал, что в 1848 г. противоречие созрело, но чуть-чуть не дотянуло до точки порога. Зато произошла подготовительная революция, которая «расчистила путь, подготовила почву» для революции социалистической. Где же эта социалистическая революция в Европе? Противоречие созрело, для социалистической революции путь расчистили и почву подготовили — почему же она не состоялась? Выходит, противоречие разрешилось без революции и выводы «Капитала» тоже отменяются? Ошибка вышла?

В 1893 г. Энгельс, готовя предисловие к «Манифесту», должен был хоть словом обмолвиться о неполадках в методологическом инструментарии марксизма. В любой науке исследователь, при такой серии неудач в предсказаниях поведения системы, обязан предупредить, что его гипотеза «пока что подтверждений не получила». О теории и методе в таком случае говорить рано. Что значит «объективное противоречие», если для наблюдения за ним нет измеримых индикаторов? Что значит «закон, действующий и осуществляющийся с железной необходимостью» (так сказано в «Капитале»), который не выполняется на протяжении всего исторического периода, в продолжение которого он и должен был действовать?

Наконец, надо учесть и еще одно красноречивое высказывание Энгельса (1890 г.), которое можно считать косвенным признанием невозможности оценить степень зрелости главного противоречия капитализма. Из этого признания Энгельс делает следующий, поистине фундаментальный вывод — он советует всемерно *способствовать развитию капитализма*, что и будет наиболее верным средством сделать жизнь трудящихся более счастливой.

Он пишет в рабочую газету в Вене: «В настоящее время капитал и наемный труд неразрывно связаны друг с другом. Чем сильнее капитал, тем сильнее класс наемных рабочих, тем ближе, следовательно, конец господства капиталистов. Нашим немцам, а к ним я причисляю и венцев, я желаю поэтому поистине бурного развития капиталистического хозяйства и вовсе не желаю, чтобы оно коснело в состоянии застоя» [108].

Вот тебе и антагонизм буржуазии и пролетариата! Вот и теория революции — нужно всемерно укреплять капитализм, потому что это приближает конец господства капиталистов. Эта установка Энгельса была взята на вооружение теми нынешними марксистами в нынешней России, которые считали русскую революцию «неправильной», а советский строй «мутантным социализмом». Бузгалин и Колганов, следуя за Энгельсом, пишут: «Формирование *целостного* социалистического общества в начале XX века было *невозможно не только в отдельно взятой России, но и в случае победы пролетарской революции в большинстве развитых стран* » [109, с. 75].

Несостоятельность методологии, предложенной Марксом и Энгельсом для анализа общественных противоречий современного общества, подтверждается не только фактом ошибочности их прогнозов в сфере как социальных, так и национальных отношений. Много собственных утверждений Маркса и Энгельса, сделанных начиная с 70-х годов XIX века, указывают на то, что они и сами усомнились в познавательных возможностях своих концепций.

Отсюда можно сделать важный для нашей темы вывод: в рамках исторического материализма, то есть представлений о классовой борьбе и противоречии между производительными силами и производственными отношениями, марксистская методология не давала никаких оснований считать назревающую в России революцию преждевременной и тем более реакционной. Не видеть этого Маркс и Энгельс не могли.

Следовательно, риторика формационного подхода служила лишь гипнотизирующим прикрасом истинных оснований, побуждавших Маркса и Энгельса использовать свой авторитет, чтобы отвергать саму возможность социальной революции в России. Каковы же были, на мой взгляд, эти истинные основания?

Совокупность прямых и косвенных утверждений Маркса и Энгельса, имеющих отношение к данному вопросу, позволяет считать, что эти основания лежат в плоскости не *классовых* и *формационных*, а *этнических* и *цивилизационных* отношений Запада и России. Маркс и Энгельс стремились предот-

вратить не «преждевременную» революцию, а именно успешную самостоятельную *революцию русских*, которая неизбежно поставила бы под угрозу насущные интересы Запада. Победоносная революция русских трудящихся была бы *реакционной* именно с точки зрения интересов Запада.

Положив эту марксистскую концепцию в основу советского обществоведения, КПСС поставила на русскую революцию и советское государство клеймо *первородного греха* и сама создала одну из важных причин краха советского строя. Следовать по этому пути и продолжать пользоваться методологическим аппаратом марксизма для поиска путей выхода из нынешнего кризиса постсоветского общества — значит наверняка оказаться в познавательном тупике.

Глава 14. Запрет на русскую народную революцию

Уже в «Немецкой идеологии», которая была сжатым резюме всей доктрины марксизма, Маркс и Энгельс отвергали саму возможность социалистической революции в «отставших» незападных странах, возможность такой революции, совершенной угнетенными народами. Они писали: «Коммунизм эмпирически возможен только как действие господствующих народов, произведенное «сразу», одновременно, что предполагает универсальное развитие производительной силы и связанного с ним мирового общения... Пролетариат может существовать, следовательно, только *во всемирно-историческом смысле*, подобно тому как коммунизм — его деяние — вообще возможен лишь как «всемирно историческое» существование» [110, с. 33-34].

Отсюда прямо вытекает вывод о том, что согласно учению марксизма коммунистическая революция в России была невозможна, поскольку:

- русские не входили в число «господствующих народов»,
- Россия не включилась в «универсальное развитие производительной силы» (то есть в единую систему западного капитализма),
- русский пролетариат еще не существовал «*во всемирно-историческом смысле*», а продолжал быть частью общинного крестьянского космоса.
- господствующие народы ни в какой момент не произвели пролетарской революции «сразу», одновременно.

Ни одно из условий, сформулированных Марксом и Энгельсом как необходимые, не выполнялось к моменту созревания русской революции.

Развитие революционного процесса в России находилось под пристальным вниманием и даже контролем Маркса и Энгельса. Очень интенсивными были их личные контакты с русскими революционерами того времени, очень жесткими были оценки даже их личностей.

Как говорилось выше, исходным пунктом для резкого неприятия самой идеи социалистической революции в крестьянской России было фундаментальное положение исторического материализма о правильной смене общественно-экономических формаций.

В своем главном труде «Капитал» Маркс постулировал необходимость незападных стран следовать в фарватере общественного развития Запада. Он писал в предисловии к первому изданию «Капитала»: «Предметом моего исследования в настоящей работе является капиталистический способ производства и соответствующие ему отношения производства и обмена. Классической страной капитализма является до сих пор Англия. В этом причина, почему она служит главной иллюстрацией для моих теоретических выводов... Существенна здесь, сама по себе, не более или менее высокая степень развития тех общественных антагонизмов, которые вытекают из единственных законов капиталистического производства. Существенны сами эти законы, сами эти тенденции, действующие и осуществляющиеся с железной необходимостью. *Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего* » (выделено мною — С.К-М) [100, с. 6, 9].

Более того, развивая свою теорию пролетарской революции, Маркс в разных контекстах и формах подчеркивает принятый им постулат *глобализации капитализма*, согласно которому капитализм должен реализовать свой потенциал во всемирном масштабе — так, чтобы весь охваченный рыночными отношениями мир стал бы подобием одной нации. Он пишет в «Капитале»: «Для того чтобы предмет нашего исследования был в его чистом виде, без мешающих побочных обстоятельств, мы должны весь торгующий мир рассматривать как одну нацию и предположить, что капиталистическое производство закрепилось повсеместно и овладело всеми отраслями производства» [100, с. 594].

Но это допущение невыполнимо, что делает неверной и всю модель, на которой стоит теория революции Маркса. Виднейший современный марксист, изучающий мировую капиталистическую систему, И. Валлерстайн, писал специально для российского журнала: «Капитализм только и возможен как надгосударственная система, в которой существует более плотное «ядро» и обращающиеся вокруг него периферии и полупериферии» [111]. Таким образом, тот капитализм, который представлял себе Маркс, в принципе *невозможен*. [27]

В.В. Крылов заключает: «В отличие от метрополий, общества которых воплотили в самой своей структуре цивилизующие функции капитализма, общества зависимой от него периферии явились структурной материализацией его нереволуционизирующих общественный процесс консервативных тенденций» [7, с. 139].

В.В. Крылов пишет: «В перспективе капиталистический путь развития должен привести развивающиеся страны не к такому состоянию, когда капиталистические порядки, вытеснив прочие уклады,

покроют собою все общество в целом, как это случилось в прошлом в нынешних эпицентрах капитала, но к такому, когда могучий по доле в национальной экономике, но незначительный по охвату населения капиталистический уклад окажется окруженным морем пауперизма, незанятости, бедности... Одно дело, когда частная капиталистическая собственность приходит на смену тоже частной, но мелкокрестьянской собственности, как это было в европейских странах; иное дело, когда частная капиталистическая собственность идет на смену общинным порядкам, как это было в пореформенной России и как это еще более ярко выражено ныне в странах Африки... Даже там, где капитализм разрушал эти порядки, в «освободившемся» социально-экономическом пространстве развивались не столько собственно капиталистические порядки, сколько такие докапиталистические укладные формы, с которыми в доколониальный период периферийные страны знакомы не были... И это суть регрессивные формы самого капитала, такие докапиталистические уклады, которые исторически не предшествуют капитализму, но следуют после него, им же самим порождаются. Эти «псевдотрадиционные» или «неотрадиционные» укладные формы необходимо отличать от предшествующих капитализму действительно доколониальных местных укладов» [7, с. 144, 171].

Надо отметить, что уже из приводимых самим Марксом в «Капитале» данных о масштабе изъятия Западом ресурсов из колоний видно, что глобальное распространение капитализма невозможно — средства для первоначального капиталистического накопления изъяты с большей части территории Земли и сконцентрированы на Западе (как сказал позже К. Леви-Стросс, «Запад построил себя из материала колоний»). Таким образом, уже во времена Маркса можно было видеть, что модель, положенная им в основание теории революции, *неверна*. Индустриализация и развитие стран, не входящих в ядро мировой капиталистической системы («Запад»), неизбежно должны были протекать по-иному, чем на Западе.

Сегодня это очевидно — никак не может Англия показывать всем странам «картину их будущего». Вот красноречивое сообщение 16 апреля 2006 г.: «Дату наступления «дня задолженности», при гипотетической опоре только на свои силы, рассчитали эксперты лондонского аналитического New Economics Foundation. Если бы уровень потребления остальных стран мира совпадал с британским, то Земля смогла бы прокормить и обогреть человечество только до 1961 года. По выкладкам New Economics Foundation, именно 16 апреля 60-миллионное население Соединенного Королевства начало потреблять больше, чем позволяет ресурсная база страны.

Учитывая регенерацию экосистемы, производство промышленных товаров, сельскохозяйственной продукции и т. п., эта условная дата определяется каждый год. В 1961 году Великобритания оказалась в должниках у всего мира 9 июля, в 1981 году — 14 мая, а в 2006 году — 16 апреля. Это значит, что темп регенерации ресурсной базы королевства все больше отстает от роста уровня его внутреннего потребления. В 2004 году страна перестала быть энергетически независимой и превратилась в нетто-импортера газа после падения добычи на месторождениях в Северном море.

В целом если бы уровень потребления остальных стран мира совпадал с британским, то Земля смогла бы прокормить и обогреть человечество только до 1961 года. Сейчас для этого понадобилась бы ресурсная база более трех планет.

Согласно докладу в этом году первыми в долг стали жить Голландия и Япония (2-3 марта) и Италия (13 апреля). В мае настанет черед Испании, Швейцарии, Португалии и Германии, а в июне — США. Последними станут жить не по средствам Австрия в октябре и Словакия в ноябре» [113].

Подойдем с другой стороны. Англия не могла показывать «отстающим» странам картину их будущего еще и потому, что капитализм метрополий *не допускал* развития капитализма на своей периферии. Он его душил как возможного конкурента за источники сырья и рынки сбыта. Поэтому страна, оказавшаяся на периферии, и не может развить свои производительные силы в рамках капитализма так, чтобы ей марксизмом была разрешена социалистическая революция. Напротив, западный капитализм приводит к архаизации хозяйственных укладов периферийных стран. И это Маркс прекрасно знал. Он пишет в «Капитале»: «Европейские государства... насильственно искореняли всякую промышленность в зависимых от них соседних странах, как, например, была искоренена англичанами шерстяная мануфактура в Ирландии» [100, с. 767].

В другом месте он пишет о Турции: «Такетт знает, что из собственно мануфактур и в результате уничтожения сельских или домашних мануфактур возникла с введением машин крупная шерстяная промышленность. «Вы отделяете прялку от плуга, веретено от ярма и получаете фабрики и дома для бедных, кредит и кризисы, две враждебные нации, сельскую и торговую». Но вот является Кэри и обвиняет Англию, конечно, не без основания, в том, что она стремится превратить все остальные страны в исключительно земледельческие, а сама хочет стать их фабрикантом. Он утверждает, что таким путем была разорена Турция, ибо там «собственникам земли и земледельцам никогда не разрешалось» (Англией) «укрепить свое положение путем естественного союза плуга с ткацким станком,

бороны с молотом»» [100, с. 759].

В конце XIX века, на этапе империализма, невозможность повторить путь Запада была очевидна. Реальной альтернативой было превратиться в зону периферийного капитализма — или совершить какую-то свою, национальную революцию, закрыть свое народное хозяйство от вторжения западного капитала. Относительно этой дилеммы и возникли ожесточенные споры между русскими марксистами.

И.В. Сталин заявил в 1924 г.: «Мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша страна не превратилась в придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не была включена в общую систему капиталистического развития как ее подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как подсобное предприятие мировой капиталистической системы, а как самостоятельная экономическая единица, опирающаяся, главным образом, на внутренний рынок, опирающаяся на смычку нашей индустрии с крестьянским хозяйством нашей страны» (цит. в [114, с. 235]).

Но речь идет не только о необходимости пройти, перед социалистической революцией, этап капитализма. Любой сбой в «нормальной» последовательности формаций ставит под сомнение возможность страны дозреть до социализма. Энгельс пишет в «Анти-Дюринге»: «*Рабство* было открыто. Оно скоро сделалось господствующей формой производства у всех народов, которые в своем развитии пошли дальше древней общины... Мы вправе сказать: без античного рабства не было бы и современного социализма» [28, с. 185, 186].

Это — жесткое тотализирующее утверждение. Античное рабство как формация вовсе не охватило весь мир. Большинство народов «в своем развитии пошли дальше древней общины», но вовсе не по пути античного рабства. Из этого утверждения Энгельса прямо вытекает, что Россия, не пройдя через рабство, не может сама освоить «современного социализма». Она в лучшем случае должна будет перенять его у Запада после совершенной там пролетарской революции.

При этом Маркс исключает возможность для незападных культур *обучения* капитализму, осмысления его опыта и опережающего преодоления капиталистических форм жизнеустройства. Нет, социалистическая революция становится оправданной лишь после того, как капитализм довел до конца разрушение прежних укладов (прежде всего, крестьянской общины) и довел человека до его полного *отчуждения*. Необходим этап полного господства частной собственности.

Маркс пишет в «Экономико-философских рукописях 1844 г.»: «Нетрудно усмотреть необходимость того, что все революционное движение находит себе как эмпирическую, так и теоретическую основу в движении *частной собственности*, в экономике» [115, с. 117]. До какой же степени должно прийти это «движение частной собственности»? До своего полного исчерпания. Попытку даже пролетариата бороться против этого движения, пока оно не исчерпало свой импульс, Маркс и Энгельс считают *реакционной* — даже в форме *интеллектуальной* (литературной) борьбы.

Они пишут в «Манифесте Коммунистической партии»: «Первые попытки пролетариата непосредственно осуществить свои собственные классовые интересы во время всеобщего возбуждения, в период ниспровержения феодального общества, неизбежно терпели крушение вследствие неразвитости самого пролетариата, а также вследствие отсутствия материальных условий его освобождения, так как эти условия являются лишь продуктом буржуазной эпохи. Революционная литература, сопровождавшая эти первые движения пролетариата, по своему содержанию неизбежно является реакционной. Она проповедует всеобщий аскетизм и грубую уравнивательность» [41, с. 455].

Эта уравнивательность, особенно свойственная «крестьянскому коммунизму», рассматривается Марксом едва ли не как главное препятствие на пути исторического прогресса (позже М. Вебер назовет это качество общинного мировоззрения главным противником современного капитализма). «Грубому» общинному коммунизму, в котором русские народники видели культурное основание назревающей революции, Маркс уделял большое внимание с самых ранних этапов разработки его доктрины.

Приведу большую выдержку из «рукописей 1844 г.», потому что в ней проницательно и в карикатурном виде изложены важные черты русского коммунизма, о котором Маркс в то время ничего еще не знал. Он представлял коммунизм, который возникает «без наличия развитого движения частной собственности», когда противоположность между трудом и капиталом «еще не выступает как обусловленная самой частной собственностью», как это и было в России в конце XIX — начале XX века.

Вот слова Маркса: «Коммунизм в его первой форме... имеет двоякий вид: во-первых, господство *вещественной* собственности над ним так велико, что он стремится уничтожить *все* то, чем, *на началах частной собственности*, не могут обладать все; он хочет *насильственно* абстрагироваться от таланта и т. д. Непосредственное физическое *обладание* представляется ему единственной целью жизни и существования; категория *рабочего* не отменяется, а распространяется на всех людей; отношение частной собственности остается отношением всего общества к миру вещей...

Этот коммунизм, отрицающий повсюду *личность* человека, есть лишь последовательное выражение частной собственности, являющейся этим отрицанием. Всеобщая и конституирующаяся как власть *зависть* представляет собой ту скрытую форму, которую принимает *стяжательство* и в которой оно себя лишь иным способом удовлетворяет. Всякая частная собственность как таковая ощущает — *по крайней мере* по отношению к *более богатой* частной собственности — зависть и жажду нивелирования, так что эти последние составляют даже сущность конкуренции. Грубый коммунизм есть лишь завершение этой зависти и этого нивелирования, исходящее из *представления* о некоем минимуме... Что такое упразднение частной собственности отнюдь не является подлинным освоением ее, видно как раз из абстрактного отрицания всего мира культуры и цивилизации, из возврата к *неестественной простоте бедного*, грубого и не имеющего потребностей человека, который не только не возвысился над уровнем частной собственности, но даже и не дорос еще до нее.

Для такого рода коммунизма общность есть лишь общность *труда* и равенство *заработной платы*, выплачиваемой общинным капиталом, *общинной* как всеобщим капиталистом. Обе стороны взаимоотношения подняты на ступень *представляемой* всеобщности: *труд* — как предназначение каждого, а *капитал* — как признанная всеобщность и сила всего общества...

Таким образом, **первое положительное упразднение частной собственности, грубый коммунизм, есть только форма проявления гнусности частной собственности**, желающей утвердить себя в качестве *положительной общности* » [115, с. 114-115] (выделено мною — С.К-М).

Эта изощренная марксистская конструкция является квинтэссенцией антисоветского кредо меньшевиков в 1917-1921 гг. и интеллектуальной команды Горбачева и Ельцина в конце 80-х и начале 90-х годов XX века. Согласно идеологии перестройки, советский коммунизм был выражением зависти и жажды нивелирования, он отрицал личность человека и весь мир культуры и цивилизации, он возвращал нас к неестественной простоте бедного, грубого и не имеющего потребностей человека, который не дорос еще до частной собственности. В общем, советская община (всеобщий капиталист) была лишь формой проявления гнусности частной собственности — гораздо худшей, чем на Западе. Антисоветским идеологам Горбачева и Ельцина не пришлось ничего изобретать, все главные тезисы они взяли у Маркса *почти буквально*.

Более того, даже сегодня ортодоксальные марксисты опираются на концепцию «грубого уравнительного коммунизма» в своем отрицании советского строя. Вот, А.В. Бузгалин и А.И. Колганов призывают

граждан России не жалеть об утрате советского строя. Замечательна логика их рассуждений: «Мы живем в стране, которая не просто сократилась на треть, но стала полуколонией, потеряла самостоятельность и уважение в мире. А ведь при Сталине СССР не только выиграл Мировую войну, но и стал второй сверхдержавой, которую боялись во всем мире! И главное, чем притягателен сталинизм: памятью-мечтой об эпохе, когда народ был защищен государством, имел гарантии (жилища и работы, зарплаты и пенсии, образования и медицинского обслуживания)... Тем самым, *сталинизм объективно становится не вызовом будущего, а ностальгией по прошлому* и в этом смысле возрождающимся в XXI веке подобием «реакционного социализма», описанного еще в «Манифесте коммунистической партии» (я настойчиво советую моим молодым коллегам перечитать соответствующий раздел и сравнить державно-государственные, патриархально-феодалные интенции *того* «социализма» и сталинизма» [109, с. 39, 42].

Замечательна логика этих рассуждений. Победить фашизм в Отечественной войне, жить в независимой стране под защитой сильного государства, иметь надежные социальные гарантии — все это «реакционный социализм», ибо так сказано уже в «Манифесте коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Такой строй не должен быть притягательным для «молодых коллег».

Представление, согласно которому советская ветвь русской революции была неправильной, развивающее идеи Плеханова и меньшевиков, поначалу не было проникнуто антисоветизмом, до прямых выводов об уродливости советского строя не доходило. Но основа для такого вывода закладывалась уже в 60-е годы. Вот, Э.В. Ильенков, выдающийся советский философ-марксист. Он пишет: «Система идей, именуемая «марксизмом», — это естественно созревший результат развития традиций «западной культуры», или, если быть совсем точным, — западноевропейской цивилизации... [Россия] была интегральной частью «западного мира», и революция 1917 года была вынуждена решать типично «западную» проблему» [116, с. 156-158]. По мнению Ильенкова, «отрицательные явления», т.е. искажения правильного хода революции, были вызваны в России остатками «добржуазных, докапиталистических форм регламентации жизни,... [что] как раз препятствовало здесь утверждению подлинных идей Маркса».

Ильенков высказывает парадоксальную мысль, но как нечто простое и очевидное. С одной стороны, подлинные идеи Маркса вроде бы утвердились только в России (как интегральной части «западного мира», об Азии речь не идет). С другой стороны, в России утверждению этих идей препятствовали

«остатки» добуржуазных форм, и потому идеи Маркса и правильный ход революции были искажены. Выходит, не искажены они были именно там, где вообще не утвердились! Ну и диалектика. Во-вторых, само утверждение, что Россия есть *часть Запада* и потому «революция 1917 г. была вынуждена решать типично «западную» проблему», противоречит тому, что мы знаем о России, Западе и русской революции. Кому как не марксисту это знать — буквально от самих Маркса и Энгельса.

С середины 80-х годов в политизированном советском обществоведении возник целый жанр, который можно назвать «антисоветским марксизмом». До этого именно на основе «антисоветского марксизма» действовал еврокоммунизм. Перестройка началась с того, что вся горбачевская рать стала твердить о «неправильности» советского строя — «казарменного псевдосоциализма, опирающегося на тупиковую мобилизационную экономику».

В изданной в 1998 г. по материалам прошедшей в МГУ конференции книге «Постижение Маркса» в статье «Драма великого учения» (в общем, статье антисоветской) В.А. Бирюков верно констатирует: «Очередным парадоксом в судьбе марксизма стало широкое использование многих его положений для идеологического обоснования отказа от того социализма, который был создан в десятках стран, для перехода от социализма к капитализму в конце XX века. Закон соответствия производственных отношений уровню и характеру развития производительных сил, экономический детерминизм, закономерный характер развития общества в форме прохождения определенных социально-экономических формаций, марксистская трактовка материальных интересов как движущей силы социальных процессов и многое другое из арсенала марксизма было использовано для идеологической подготовки смены одного строя другим» [117].

Антисоветским идеологам, выступающим под знаменем марксизма «в защиту интересов трудящихся», не составило труда выбрать у Маркса достаточно изречений, чтобы сформировать целую концепцию, доказывающую, что якобы советский строй — ухудшенный вариант капитализма и что «революция должна быть продолжена». Особый упор делался как раз на предупреждения Маркса о том, что в ходе антибуржуазной революции есть опасность трансформировать капитализм в «казарменный коммунизм», в котором место капитала займет государство, а класс бюрократов займет место владельцев частной собственности.

Исходя из этих предупреждений, видные социологи в авторитетном академическом журнале «СОЦИС» пишут, что советская модель «не выходит за пределы буржуазной формации, являясь ее, так

сказать, вырожденным случаем». Более того, отчуждение при советском строе они представляют более одиозным, нежели при капиталистическом способе производства: «Государственная собственность, которую пытались отождествить с общественной, является, таким образом, худшей разновидностью частной собственности, ибо не исключает, а лишь видоизменяет форму эксплуатации наемного труда. Более того, в отличие от частной, госсобственность распространяется и на человека, превращая его в средство».

Выступая против уравниательства и против «преждевременной» борьбы рабочих против капиталистов за свои интересы, Маркс представляет реакционным даже простодушное требование рабочих повысить им зарплату становится, если им удастся этого повышения добиться (например, с помощью забастовки). Он пишет: «Насильственное *повышение заработной платы* (не говоря уже о всех прочих трудностях, не говоря уже о том, что такое повышение как аномалию можно было бы сохранять тоже только насильственно) было бы... не более чем *лучшей оплатой раба* и не завоевало бы ни рабочему, ни труду их человеческого назначения и достоинства» [115, с. 97]. Как ни пытаюсь, не могу понять, почему повышение зарплаты «не завоевало бы рабочему его человеческого назначения».

После декабря 1991 г. марксисты на Западе и в СССР перешли от критики «казарменного коммунизма» к прямой пропаганде не только эксплуатации трудящихся, но и безработицы и даже бедности. Надо же помогать «колесу истории»! На этапе перестройки, готовя общество к приватизации, наши рыночники опирались на Маркса, на его веру в то, что отношения купли-продажи и есть «свобода». Л.С. Мамут (отец известного олигарха) цитирует Маркса: «В обмене, покоящемся на меновых стоимостях, свобода и равенство не только уважаются, но обмен меновыми стоимостями представляет собой производительный, реальный базис всякого *равенства* и всякой *свободы*. Как чистые идеи, равенство и свобода представляют собой всего лишь идеализированные выражения обмена меновыми стоимостями: будучи развиты в юридических, политических, социальных отношениях, они представляют собой все тот же базис, но в некоторой другой степени» [118, с. 191].

При этом всем было прекрасно известно, что в действительности «обмен, покоящийся на меновых стоимостях», вовсе не является «реальным базисом всякого равенства и всякой свободы», что сам же Маркс и доказывал на примере купли-продажи рабочей силы. Но вывод из неравенства рабочего и капиталиста при таком обмене Маркс делал такой: «Если один беднеет, а другой обогащается, то это их добрая воля, и это отнюдь не вытекает из самих экономических отношений, из самой экономической

связи, в которой они находятся между собой» [118, с. 194]. Так что Чубайс, с томом Маркса в руке, мог бы прямо крикнуть нам: «Я принес вам равенство и свободу!»

Эти виртуозные марксисты вышли на политическую арену в России в конце XX века, в войне против советского строя, который уже просуществовал несколько исторических периодов, доказал свою жизнеспособность и далеко ушел в социальном, технологическом и культурном плане от крестьянского уравнительного коммунизма. А во второй половине XIX века приведенное выше рассуждение о грубом общинном коммунизме было теоретическим основанием для отрицания русской революции самим Марксом. Из этой концепции прямо вытекала необходимость разрушения общины и *раскрестьянивания* России, превращения крестьян в фермеров и сельский пролетариат.

Маркс писал в «Капитале»: «Итак, к чему сводится первоначальное накопление капитала, т.е. его исторический генезис? Поскольку оно не представляет собой непосредственного превращения рабов и крепостных в наемных рабочих и, следовательно, простой смены формы, оно означает лишь экспроприацию непосредственных производителей, т. е. уничтожение частной собственности, покоящейся на собственном труде» [100, с. 770].

Но в России крестьяне не имели «частной собственности, покоящейся на собственном труде» (за исключением деревянной сохи и небольшого количества скота) — земля находилась в *общинной и феодальной собственности*. Более того, и *феодалная собственность* не была частной. Исторически в ходе собирания земель, в процессе превращения «удельной Руси в Московскую», шло упразднение зачатков частной собственности — процесс, обратный тому, что наблюдалось на Западе. Владение землей стало *государственной платой* за обязательную службу. Историк Р. Пайпс пишет: «Введение обязательной службы для всех землевладельцев означало... упразднение частной собственности на землю. Это произошло как раз в то время, когда Западная Европа двигалась в противоположном направлении. После опричнины частная собственность на землю больше не играла в Московской Руси сколько-нибудь значительной роли» (цит. по [119]).[28]

По Марксу, капитализм производит первоначальное накопление через экспроприацию мелкой частной собственности. Ее наличие — необходимое условие для развития капитализма. Но для *создания* мелкой частной собственности в России надо было сначала разрушить общинную собственность. На этой стадии и произошло социальное и культурное столкновение в России, кульминацией которого и стала Октябрьская революция, а затем Гражданская война. В Западной Европе в ходе аналогичного

столкновения община потерпела поражение, а в России победила — реформа Столыпина, почти буквально предусмотренная Марксом, не прошла. По России «колесо истории» прокатилось иначе, чем по Западной Европе.

Стоит заметить, что Маркс с напряженным вниманием изучал эволюцию русской крестьянской общины после реформы 1861 г. В сентябре-октябре 1882 г. он даже читал, делая заметки на полях, книгу А.Н. Энгельгардта «Письма из деревни (1872-1882)». В этой книге дано основательное эмпирическое описание русской общины, которое принципиально противоречило доктрине Маркса. До этого Маркс изучил и даже сделал конспект книги М.М. Ковалевского «Общинное землевладение. Причины, ход и последствия его разложения», выпущенной в Москве в 1879 г.[29]

В этой книге дана история общинного землевладения, начиная от первобытного строя, у разных племен и народов (в Америке, Индии, Северной Африке и др.). Составленный Марксом подробный конспект этой книги с замечаниями и добавлениями относится к числу его важных трудов. Здесь для нас интересна сделанная Марксом выписка из книги, посвященная политике колониального режима Франции в отношении общинной собственности на землю в Алжире (приводя ее, я восстанавливаю некоторые слова, замененные Марксом, на те, которые употреблял сам Ковалевский). Эта выписка показывает, что утверждения Бакунина и народников о том, что общинная собственность на землю предопределяет *коммунистические* установки крестьян, казались очевидными даже для колониальной администрации в Алжире. А у Маркса и Энгельса эти утверждения вызывали лишь едкую иронию или восклицания типа «осёл!».

Ковалевский пишет, ссылаясь на французские документы: «Установление частной земельной собственности — необходимое условие всякого прогресса в экономической и социальной сфере. Дальнейшее сохранение общинной собственности «как формы, поддерживающей в умах коммунистические тенденции» (Дебаты Национального собрания, 1873) опасно как для колонии, так и для метрополии; раздел родового владения поощряется, даже предписывается, во-первых, как средство к ослаблению всегда готовых к восстанию поработанных племен, во-вторых, как единственный путь к дальнейшему переходу земельной собственности из рук туземцев в руки колонистов. Эта политика неизменно проводится французами при всех свергающих друг друга режимах, начиная с 1830 г. до настоящего времени. Средства иногда меняются, цель всегда одна и та же: уничтожение туземной общинной собственности и превращение ее в предмет свободной купли-продажи и тем самым облегчение конеч-

ного перехода ее в руки французских колонистов. На заседании 30 июня 1873 г. при обсуждении нового законопроекта депутат Эмбер сказал: «Представленный на ваше обсуждение проект является лишь завершением здания, фундамент которого заложен целым рядом распоряжений, декретов и законов, которые все сообща и каждый в отдельности преследуют одну и ту же цель — установление у арабов частной земельной собственности»...

Большинство французских скупщиков земли вовсе не намерено было заниматься земледелием; они спекулировали лишь на перепродаже земли; покупка по смехотворным ценам, перепродажа по относительно высокой цене — казались выгодным помещением их капиталов» [120].

Так что интерес скупщиков земли, спекулянтов и колонизаторов, изымающих «земельную собственность из рук туземцев», идет рука об руку с прославлением частной собственности и ненавистью к «грубому крестьянскому коммунизму». Здесь и пролегла пропасть между марксизмом и народниками.

Энгельс в связи с брошюрами Ткачева предупреждал в 1875 г.: «Русские должны будут покориться той неизбежной международной судьбе, что отныне их движение будет происходить на глазах и под контролем остальной Европы» [88, с. 526]. К чему же свелся этот европейский контроль? Прежде всего, к атаке на российское народничество и к побуждению русских марксистов вести такие атаки и внутри России.

Энгельс пишет Вере Засулич (3 апреля 1890 г.): «Совершенно согласен с Вами, что необходимо везде и всюду бороться против народничества — немецкого, французского, английского или русского. Но это не меняет моего мнения, что было бы лучше, если бы те вещи, которые пришлось сказать мне, были сказаны кем-либо из русских» [?*].

Приняв эти установки, российские марксисты много сделали для разгрома народников, а затем большевики, возглавив советскую революцию, вынуждены были на ходу и по крупицам, с большими потерями собирать наследие народников, чтобы ввести революцию в конструктивное русло.

На первом этапе своей политической деятельности в разгрома народников принял участие и Ленин. В работе «От какого наследства мы отказываемся» (1897) он так определил суть народничества, две его главные черты: «признание капитализма в России упадком, регрессом» и «вера в самобытность России, идеализация крестьянина, общины и т.п.». Главным противоречием, породившим русскую революцию, марксисты считали в то время сопротивление прогрессивному капитализму со стороны традиционных укладов (под ними понимались община, крепостничество — в общем, «азиатчина»). Исходом

революции должно было стать «чисто капиталистическое» хозяйство.

В момент написания книги «Развитие капитализма в России» (1899) и даже в первый период после революции 1905-1907 гг. Ленин следовал тезису о неизбежности прохождения России через этап господства капиталистической формации. Отсюда вытекало, что и назревающая русская революция, смысл которой виделся в расчистке площадки для прогрессивной формации, должна была быть революцией *буржуазной*.

В статье «Аграрный вопрос и силы революции» (1907) Ленин еще писал: «Все с.-д. убеждены в том, что наша революция по содержанию происходящего общественно-экономического переворота буржуазная. Это значит, что переворот происходит на почве капиталистических отношений производства, и что результатом переворота неизбежно станет дальнейшее развитие именно этих отношений производства» [121].

В предисловии ко второму изданию «Развития капитализма в России» (1908 г.) Ленин дает две альтернативы буржуазной революции: «На данной экономической основе русской революции объективно возможны две основные линии ее развития и исхода:

Либо старое помещичье хозяйство... сохраняется, превращаясь медленно в чисто капиталистическое, «юнкерское» хозяйство... Весь аграрный строй государства становится капиталистическим, надолго сохраняя черты крепостнические... Либо старое помещичье хозяйство ломает революция... Весь аграрный строй становится капиталистическим, ибо разложение крестьянства идет тем быстрее, чем полнее уничтожены следы крепостничества».

Таким образом, Ленин исходит из того постулата, который мы находим уже в предисловии к «Капиталу» Маркса — капиталистический способ производства может охватить все пространство («весь аграрный строй государства становится капиталистическим»). То есть, вся сельская Россия в принципе может стать капиталистической, и к этому направлена русская революция. И народники, и А.Н. Энгельгардт в своих «Письмах из деревни» старались показать, что это невозможно именно *в принципе*, а не из-за умственной косности крестьянства. Для людей, воспитанных под сильным влиянием евроцентризма, объяснения народников были неубедительны.

Предвидения о буржуазном характере русской революции не сбылись. Революция 1905-1907 гг. свершилась, а капиталистического хозяйства как господствующего уклада не сложилось ни в одном из ее течений. Попытка капиталистической модернизации, предпринятая Столыпиным, была разру-

шительной и вела к пауперизации большей части крестьянства. Это была историческая ловушка, осознание которой оказывало на крестьян революционизирующее действие. Именно урок революции 1905-1907 гг. заставил Ленина пересмотреть представление о смысле русской революции.

После 1908 г. Ленин уже по-иному представляет сущность спора марксистов с народниками. Он пишет в письме И.И. Скворцову-Степанову: «Воюя с народничеством как с неверной доктриной *социализма*, меньшевики доктринерски просмотрели, прозевали исторически реальное и прогрессивное историческое содержание народничества... Отсюда их чудовищная, идиотская, ренегатская идея, что крестьянское движение реакционно, что кадет прогрессивнее трудовика, что «диктатура пролетариата и крестьянства» (классическая постановка) противоречит «всему ходу хозяйственного развития». «Противоречит всему ходу хозяйственного развития» — это ли не реакционность?!» [122, с. 229].

Из этого ясно видно, что трактовка, которую давал проблеме сам Ленин за десять лет до этого, ушла в прошлое, он о ней даже не вспоминает. «Чудовищная, идиотская, ренегатская идея» меньшевиков, не понявших прогрессивного содержания народничества — это полное отрицание марксистской догмы.

Что отражает Толстой как «зеркало русской революции»? Теперь, согласно новому взгляду Ленина, он отражает «протест против надвигающегося капитализма, разорения и обезземеления масс, который должен был быть порожден патриархальной русской деревней». Не буржуазная революция, а *протест против надвигающегося капитализма* ! Это — совершенно новая трактовка революции. Ленин осторожно выдвигает кардинально новую для марксизма идею о революциях, движущей силой которых является не устранение препятствий для господства «прогрессивных» производственных отношений (капитализма), а именно *предотвращение* этого господства — стремление не пойти по капиталистическому пути развития. Можно даже сказать, что крестьянская революция более *антибуржуазна*, нежели пролетарская, ибо крестьянство и капитализм несовместимы, а капитал и труд пролетария — лишь партнеры на рынке, спорящие о цене.

В 1910 г. Ленин пишет в связи со смертью Л.Н. Толстого: «Его непреклонное отрицание частной поземельной собственности передает психологию крестьянской массы... Его непрестанное обличение капитализма передает весь ужас патриархального крестьянства, на которое стал надвигаться новый, невидимый, непонятный враг,... несущий с собою невиданное разорение, нищету, голодную смерть, одичание, проституцию, сифилис...» [123]. Здесь уже и речи нет о прогрессивном влиянии капитализ-

ма, устраняющем «азиатчину» из русской деревни. Наоборот, капитализм несет в нее одичание и невиданное разорение.

Представим теперь в качестве мысленного эксперимента, что в России после 1908 г. не возникло организованного движения диссидентов марксизма, *большевиков*. Тогда, скорее всего, катастрофа революции стала бы для России смертельной. Ведь в этом случае против всего «культурного», «прогрессивного» слоя, организованного кадетами, социал-демократами, эсерами и Западом, воевали бы «зеленые». Взаимоуничтожение русских, распад страны и разрушение потенциала развития были бы несравненно более глубокими.

Это остро почувствовали поэты и писатели, особенно те, кто знал деревню (Пришвин, Есенин, Клюев). Л. Андреев писал: «Двадцать пятого октября 1917 г. русский стихийный и жестокий Бунт приобрел голову и подобие организации. Эта голова — Ульянов-Ленин. Это подобие организации — большевистская Советская власть» [124]. А.М. Горький написал более подробно: «Гражданская война, вероятно, продолжалась бы и до сего дня, если бы Владимир Ленин и его товарищи, рискуя совершенно распылить и уничтожить незначительную численно партию большевиков — рабочих в массе анархизированного войной крестьянства, не двинули эту партию на передовые посты, возглавив ею крестьянство. Этим Ленин спас Россию от окончательного разрушения и порабощения капиталистами Европы, — история не может не признать за ним эту заслугу» [125].

Таким образом, большевики, выдвинув идею союза рабочего класса и крестьянства, который осуществит антибуржуазную революцию вместо того, чтобы помочь буржуазии расчистить путь для развития капитализма в России, нарушили важнейший постулат марксизма, «перепрыгнули» через важнейший в его учении этап. В связи с этим А. Грамши писал в июле 1918 г. в статье «Утопия» об утверждении, согласно которому для России был необходим этап буржуазной революции, который должна была завершить буржуазия: «Где была в России буржуазия, способная осуществить эту задачу? И если господство буржуазии есть закон природы, то почему этот закон не сработал?.. Истина в том, что эта формула ни в коей мере не выражает никакого закона природы. Между предпосылкой (экономическая система) и следствием (политический строй) не существует простых и прямых отношений... То, что прямо определяет политическое действие, есть не экономическая система, а восприятие этой системы и так называемых законов ее развития. Эти законы не имеют ничего общего с законами природы, хотя и законы природы также в действительности не являются объективными, а представ-

ляют собой мыслительные конструкции, полезные для практики схемы, удобные для исследования и преподавания» [126].

По этому вопросу раскол в среде российских марксистов был очень глубоким. Он продолжился после исчерпания в Гражданской войне конфликта большевиков с меньшевиками в форме конфликта «национал-большевиков» (собранных вокруг Сталина) с «большевиками-космополитами» (которых представлял Троцкий). Об этой стороне расхождений и установках большевиков пишет М. Агурский: «На VI съезде партии, в августе 1917 года, первым высказал их Сталин. При обсуждении резолюции съезда Преображенский предложил поправку, согласно которой одним из условий взятия государственной власти большевиками было наличие пролетарской революции на Западе. Выступая против этой поправки, Сталин заявил, что «не исключена возможность, что именно Россия явится страной, пролагающей путь к социализму... Надо откинуть, — сказал Сталин, — отжившее представление о том, что только Европа может указать нам путь».

Это было открытым нарушением важной догмы марксизма. В дальнейшем отрицание «законности» советской революции было оформлено теорией «перманентной революции» Троцкого. Согласно этой теории, Россия не должна была переходить к строительству нового жизнеустройства, ей следовало продолжать революционные преобразования общества, пока оно не дойдет до предусмотренных марксизмом кондиций.

Агурский пишет об этом восприятии троцкизма: «Уже выдвигая свой лозунг [«социализм в одной стране»] в декабре 1924 г., Сталин сразу же намекает на презрение Троцкого к русскому народу. «Неверие в силы и способности российского пролетариата — такова подпочва теории перманентной революции». Тот же мотив мы находим у близкого к Сталину Кирова: «Оппозиция обвиняет нас в том, что мы с вами настоящая *кацапня*, дальше того, что есть в нашей стране, мы ничего не видим, что мировая революция и все прочее, этому-де мы с вами не верим, мы узкие националисты, ограниченные люди. А вот Троцкий и Зиновьев — это настоящие интернационалисты» [9].

Отрицательное отношение Маркса к самой идее русской антикапиталистической революции нельзя объяснить только теоретическими соображениями. За ними скрывается запрет на такую революцию русским как народу. Именно интересы господствующих народов не могли позволить, чтобы реакционные народы (особенно русские) вырвались из-под их контроля и производили революции, угрожающие «промышленно более развитым странам».

Выше мы видели, как Маркс заботился об «уничтожении московитского влияния в Европе» — как же можно было допустить, чтобы московиты превратились в лидеров революционного пролетариата Европы! Как можно это допустить, если «русским обеспечены ненависть всей Европы и кровавая революционная война всего Запада против них!» Ведь славяне, по выражению Энгельса, «видят свое спасение только в регрессе всего европейского движения, которое они хотели бы направить не с запада на восток, а с востока на запад, и что орудием освобождения и объединяющей связью является для них русский кнут». Русская революция и могла бы стать таким орудием освобождения, «движением не с запада на восток, а с востока на запад» — заменив собой российскую монархию, которая таким орудием стать не смогла.

Надо подчеркнуть, что такое видение отношений Запада с Россией вовсе не было особенностью марксистского взгляда на историю. Оно было частью *метаидеологии* Запада и проявлялось почти одинаково и с удивительной преемственностью в разных конкретных идеологиях и в разных исторических условиях. Вальтер Шубарт в известной книге «Европа и душа Востока» (1938) писал, например: «Смысл немецкого фашизма заключается во враждебном противопоставлении Запада и Востока... Когда Гитлер в своих речах, особенно ясно в своей речи в Рейхстаге 20 февраля 1938 года, заявляет, что Германия стремится к сближению со всеми государствами, за исключением Советского Союза, он ясно показывает, как глубоко ощущается на немецкой почве противопоставление Востоку — как судьбоносная проблема Европы» [21].

Совершенно конкретно обозначил цель войны против СССР министр фашистского правительства Германии А. Розенберг. В речи, произнесенной в Берлине 21 июня 1941 г., он сказал, что цель эта — «оградить и одновременно продвинуть далеко на восток сущность Европы» («первоначальную сущность европейских исторических сил») [22].

Западные идеологи, конечно, понимали, что *самостоятельная*, неподконтрольная европейским центрам революция в России будет означать *пересборку* русского народа, которая придаст ему новый духовный и организующий импульс. Если эту пересборку не пресечь, то Россия еще на целый исторический период станет неуязвима для глобализации под эгидой Запада. Эту мысль четко выразил Геббельс в марте 1942 г.: «В русских кроется целый ряд возможностей. Если их действительно реорганизовать как народ, они, несомненно, представили бы огромнейшую опасность для Европы. Стало быть, этому нужно воспрепятствовать, и это и является одной из целей, которых мы должны достичь

в ходе предстоящего наступления. Дай бог, чтобы оно нам удалось» [52].

В свете этих общих устойчивых установок и надо воспринимать странную, на первый взгляд, горячность и настойчивость, с которыми основоположники марксизма отговаривали русских революционеров от самой мысли о возможности в России самобытной антикапиталистической революции. Этот конфликт был тем более странным, что именно русские революционеры составляли, начиная с 70-х годов, едва ли не самый близкий Марксу и Энгельсу кружок соратников (что видно, например, по доле русских имен в числе их корреспондентов). Русский язык был первым из иностранных языков, на котором вышел «Капитал» Маркса. Естественно, что русские стали обращаться к Марксу и Энгельсу за разъяснениями — и в открытых, и в личных письмах.

Важно учесть еще и тот факт, что к концу XIX века марксизм стал блокировать разработку русской революционной доктрины тем, что постепенно изменил сам вектор своих устремлений, готовя почву для поворота социал-демократии от коммунистической революции к реформизму. В 1890 г. уже и сам Энгельс считал, что дальнейшее развитие капитализма — в интересах господствующих народов («нашим немцам я желаю поэтому поистине бурного развития капиталистического хозяйства» — замечательная формулировка в устах знаменосца мировой пролетарской революции). В свете этой установки социалистическая революция в России, о которой говорили Бакунин и народники, в свете марксизма представлялась вдвойне реакционной. Она уже не только подрывала прогресс производительных сил в самой России, но и угрожала интересам «наших немцев», отвлекая их от «бурного развития капиталистического хозяйства».

Надо заметить, что крайне резкие выступления Маркса и Энгельса против русских революционеров не могли не вызвать удивления в среде западных социалистов, а затем и в среде российских марксистов. Антирусские штампы в статьях, опубликованных по горячим следам событий революции 1848 г., можно было как-то объяснить горечью от поражения этой революции при участии вооруженных сил царской России (такие оправдания приводил Ленин, и они появляются даже в нынешней левой печати в РФ).[30] Но как объяснить перенесение этого антирусского пафоса с «душителей революции» на революционеров, которые начали смертельную борьбу против этих самых «душителей»? Тут наглядно обнаруживалось полное отсутствие классового подхода и революционной солидарности.

Глава 15. Маркс — защитник русской общины?

Официальная советская история избегала вдаваться в суть конфликта между марксистами и народниками, а западные и нынешние российские марксисты приложили и прикладывают усилия, чтобы смягчить картину. Сводятся эти усилия к следующим рассуждениям.

Во-первых, внимание читателей привлекают к тому факту, что Маркс в какие-то моменты действительно признавал, что возможности исторического развития разных народов не ограничены «столбовой дорогой цивилизации», по которой прошел Запад. Другими словами, Маркс не предписывал всем народам «правильную» смену общественно-экономических формаций — от первобытно-общинного строя через рабовладельческий строй и феодализм к капитализму, а затем уж к бесклассовому обществу.

Тема взаимодействия и смены экономических формаций была рассмотрена Марксом в приложении к докапиталистическим формациям в отдельном рабочем материале, который лежал в стороне от исследования западного капитализма. Этот большой материал, который Маркс *не предполагал публиковать*, называется «*Formen die der Kapitalistischen Produktion vorhergehen*» («Способы производства, предшествующие капитализму»).[31] В западной литературе они так и называются сокращенно — *Formen*. Об этом труде сам Маркс с гордостью писал в 1858 г. Лассалю, что он представляет собой «результат исследований пятнадцати лет, лучших лет моей жизни».

Этот материал впервые был опубликован в Москве в 1939-1941 гг. на немецком языке в составе книги «Основания критики политической экономии» («Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie»), а также на русском языке брошюрой и в журнале «Пролетарская революция». В 1953 г. этот труд вышел в Берлине, затем, в 1956 г., в Италии и потом в других странах (эти материалы вошли в 46-ой том сочинений Маркса и Энгельса, изданный в Москве в 1980 г.).

Английский историк-марксист Э. Хобсбаум пишет в предисловии к испанскому изданию: «В них [*Formen*] вводится важное нововведение в классификацию исторических периодов — учитывается существование «азиатской», или «восточной», системы... В общих чертах, теперь принимается существование трех или четырех альтернативных путей развития от первобытнообщинного строя, каждый из которых представляет различные формы общественного разделения труда, как уже существующие,

так и потенциально присущие каждому пути; этими путями являются: восточный, античный, германский (Маркс, разумеется, не ограничивает его принадлежностью к одному только народу) и славянский. Об этом последнем сказано несколько туманно, хотя чувствуется, что он в существенной мере близок к восточному» [128].

Как пишет в 1964 г. Э. Хобсбаум, «можно с уверенностью заявить, что всякое марксистское исследование, проведенное без учета этого труда, то есть практически любое исследование, проведенное до 1941 г., должно быть подвергнуто пересмотру в свете *Formen*».

Это поразительное заявление, если учесть, что «пересмотра марксизма в свете *Formen*» *не произошло нигде*. Выходит, весь корпус марксистской литературы, включая основные труды Маркса и Энгельса, надо считать недействительным! Ведь методологические подходы и выводы Маркса, собранные в *Formen*, никак не отразились в главном тексте «Капитала» и последующих трудах и учебниках. Хобсбаум искажает суть дела: *Formen* не стали «важным нововведением», ибо они вовсе не были «введены в классификацию исторических периодов»! О *нововведении* можно было бы говорить лишь после того, как результаты всех марксистских исследований были пересмотрены.

В «Капитале» все сведения из *Formen* — нюансы седой старины, которые имели место где-то у аборигенов, все это стерто железной поступью капитализма. Да и нюансы эти отмечены мелким шрифтом в примечаниях. *Formen* относятся к категории закрытого, не введенного в обращение знания, которое Маркс, можно сказать, скрыл из чисто политических соображений — он писал свои труды для пролетариата Западной Европы и не хотел морочить ему голову восточным или славянским путями развития. Потому и сказано во введении к «Капиталу»: «Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего». Где тут восточный путь, славянский путь?

Э. Хобсбаум подчеркивает, что *Formen* посвящены почти исключительно проблеме смены формаций, и «по этой причине их чтение абсолютно необходимо, чтобы понять ход мысли Маркса как в целом, так и в частности его постановку вопроса об историческом развитии и классификации».

«Абсолютно необходимо, чтобы понять ход мысли Маркса»! Да ведь *Formen* практически никто и не читал. Значит, люди полтора-два десятилетия изучали марксизм как «руководство к действию», а понимать его заведомо не могли? Какая колоссальная мистификация. Конечно, Э. Хобсбаум сказал это для красного словца, но здесь для нас главное в том, что никаким объяснением того грубого отпора, который

Маркс и Энгельс дали Бакунину, Ткачеву и народникам, *Formen* служить не могут. Ведь Маркс и Энгельс не ответили своим оппонентам, что да, вполне возможен для России свой путь развития с опорой на государство и общину, продолжающий ту траекторию, которая в *Formen* обозначена как «славянский путь» (или хотя бы «восточный», если русские, как полагал Маркс, славянами не были, а произошли от ассирийцев).

Тогда бы и возникла конструктивная дискуссия. Но прочитайте ответ Маркса Бакунину или ответ Энгельса Ткачеву! Там и намек на *Formen* нет. В «Капитале» и дальше Маркс и Энгельс исходят из утверждения, что капитализм охватит весь мир, и отрицают государство и общину («азиатский способ производства») как «основание восточного деспотизма». Потому и остались *Formen* в рукописных тайниках, что Марксу требовалось категорически отстаивать евроцентристскую догму.

Второй подход к отрицанию принципиальных расхождений Маркса и Энгельса с народниками опирается на такой факт. В ноябре 1877 г. Маркс написал большое письмо в редакцию российского журнала «Отечественные записки» в ответ на статью Жуковского (псевдоним народника Н.К. Михайловского). В письме Маркс выражал протест против превращения русскими марксистами его теории «в историко-философскую теорию о всеобщем пути, по которому роковым образом обречены идти все народы, каковы бы ни были исторические условия, в которых они оказываются, — для того, чтобы прийти в конечном счете к той экономической формации, которая обеспечивает вместе с величайшим расцветом производительных сил общества и наиболее полное развитие человека» [129].

Письмо это написано очень уклончиво. В статье Михайловского речь шла об отношении Маркса «к усилиям русских людей найти для своего отечества путь развития, отличный от того, которым шла и идет Западная Европа» (эту цитату из статьи Маркс даже привел в своем письме по-русски). Читаешь письмо Маркса, которое явно стоило ему немалого труда — и не можешь уловить смысл ответа. Его можно трактовать и так, и эдак. И, даже несмотря на это, письмо *не было отправлено* по назначению! Оно было опубликовано в Женеве в «Вестнике народной воли» лишь в 1886 г. (а в России в 1888 г.), после того как Энгельс разобрал оставшиеся после смерти Маркса архивы, обнаружил это письмо и переслал его Вере Засулич. Скорее всего, Маркс не хотел даже таким уклончивым письмом ставить под сомнение идею о «всеобщности» законов исторического развития — и решил его не посылать.

К этой нереализованной попытке Маркса объясниться с народниками относится тезис Э. Хобсбаума, который часто повторяют и наши марксисты. Он сводится к тому, что Маркс высоко ценил русское

революционное движение и ждал революции в России. Хобсбаум пишет: «Развитие революционного движения в России заставило Маркса и Энгельса возложить свои надежды на эту страну как на [колыбель] европейской революции. (Из всех фальсификаций, которым подверглась доктрина Маркса, нет более грубой и гротескной, нежели приписать ему мысль, будто единственная надежда на осуществление революции возлагалась на промышленно развитые страны Запада)».

Это суровое обвинение Хобсбаума в *фальсификации* (к тому же самой «грубой и гротескной») принять никак нельзя. Никому и не требовалось «приписывать» Марксу мысль, что социалистическая революция может произойти лишь в промышленно развитых странах Запада — он сам излагал эту мысль в разных вариациях (см. хотя бы приведенный выше постулат из «Немецкой идеологии»). Уточненная формула Маркса была опубликована, после острых конфликтов с народниками, в 1882 г. в предисловии ко второму русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии» за подписью: *Карл Маркс. Фридрих Энгельс*. В нем сказано:

«Спрашивается теперь: может ли русская община — эта, правда, сильно уже разрушенная форма первобытного общего владения землей — непосредственно перейти в высшую, коммунистическую форму общего владения? Или, напротив, она должна пережить сначала тот же процесс разложения, который присущ историческому развитию Запада?»

Единственно возможный в настоящее время ответ на этот вопрос заключается в следующем. Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития» [130].

В эту формулу введены оговорки, искажающие проблему. Русская община конца XIX века не была и просто не могла быть «формой *первобытного* общего владения землей». С какой целью вставлено это слово? После реформы 1861 г. община не разрушалась, а именно *укреплялась* — и сам Маркс не раз обсуждал это необычное явление в других работах. Наконец, никому, в том числе народникам, и в голову не приходило ожидать, чтобы община «*непосредственно* перешла в высшую, коммунистическую форму». Говорилось о *пути развития* с использованием общины как социокультурной системы, как большого общественного института. Зная, как глубоко Маркс вник в проблемы пореформенной России, в том числе в проблемы общины, трудно принять эти три оговорки за искренние.

Но главное, в этом предисловии ясно сказано, что русская революция, позволяющая избежать «того же процесса разложения, который присущ историческому развитию Запада», возможна только в том случае, если она будет «дополнена» пролетарской революцией на Западе. И в этом процессе роль русской революции — «послужить сигналом» западному пролетариату. Эти уместные в предисловии к русскому изданию «Манифеста» смягченные выражения по смыслу совершенно не противоречат тому, что сказано в ответах Бакунину и Ткачеву.

А через десять лет (15 марта 1892 г.) Энгельс пишет народнику Н. Ф. Даниельсону (переводчику первого тома «Капитала») письмо, в котором устраняет всякие допущения. Он пишет: «Теперь обработка земли в крупном масштабе с применением машин является правилом и все более становится единственно возможным способом сельскохозяйственного производства. Так что крестьянин в наши дни, по-видимому, обречен на гибель.

Вы помните, что говорил наш автор в письме по поводу Жуковского [К. Маркс. Письмо в редакцию «Отечественных записок»]: если Россия и дальше пойдет по тому пути, на который она вступила в 1861 г., то крестьянская община обречена на гибель. Мне кажется, что именно сейчас это начинает сбываться. По-видимому, приближается момент, когда — по крайней мере в некоторых местностях — все старые социальные устои в жизни русского крестьянства не только потеряют свою ценность для отдельного крестьянина, но и станут для него путями точно так же, как это происходило ранее в Западной Европе. Боюсь, что нам придется рассматривать вашу общину как мечту о невозвратном прошлом и считаться в будущем с капиталистической Россией. Несомненно, таким образом будет утрачена великая возможность, но против экономических фактов ничего не поделаешь» [131, с. 265].

Поразительно, до какой степени Энгельс здесь противоречит экономическим фактам. А.В. Чаянов пишет на основании строгих исследований: «В России в период начиная с освобождения крестьян (1861 г.) и до революции 1917 г. в аграрном секторе существовало рядом с крупным капиталистическим крестьянское семейное хозяйство, что и привело к разрушению первого, ибо малоземельные крестьяне платили за землю больше, чем давала рента капиталистического сельского хозяйства, что неизбежно вело к распродаже крупной земельной собственности крестьянам... Арендные цены, уплачиваемые крестьянами за снимаемую у владельцев пашню, значительно выше той чистой прибыли, которую с этих земель можно получить при капиталистической их эксплуатации» [132, с. 407]. И это — не аномалия, а общее для России правило.

После 1905 г. покупка земли общинами и аренда земли у землевладельцев нарастала. Историк В.В. Кабанов пишет: «Все более определяющей становилась тенденция к перемещению центра тяжести сельскохозяйственного производства на хозяйство крестьянское, прогресс в мелкотоварных хозяйствах становился заметнее. Накануне Первой мировой войны крестьяне производили 92,6% совокупного продукта (по стоимости) земледелия и животноводства, а помещики — только 7,4%» [133].

Позже, в 1893 г., Энгельс в письме Н. Ф. Даниельсону снова вернулся к вопросу об общине как основе для социалистических преобразований, сделав оговорку, что «инициатива подобного преобразования русской общины может исходить не от нее самой, а исключительно от промышленного пролетариата Запада».

В свете этого надо считать несостоятельными утверждения, будто Маркс согласился с взглядами народников на русскую крестьянскую общину (эта мысль в последние годы часто повторялась со ссылкой на переписку Маркса с Верой Засулич). Хобсбаум пишет об этом предполагаемом повороте Маркса:

«Интересно отметить, что его точка зрения — в известной мере неожиданно — склонилась к поддержке народников, которые отстаивали тот взгляд, что русская крестьянская община могла создать основу для перехода к социализму без необходимости ее предварительного разрушения посредством развития капитализма. Можно сказать, что эта точка зрения Маркса рассматривалась как не вполне соответствующая всему предыдущему развитию взглядов Маркса и русскими марксистами, которые в этом пункте противоречили народникам, и более поздними марксистами. Во всяком случае, эта его точка зрения не получила подтверждения. Сама формулировка этого мнения Маркса отражает определенную долю сомнения, возможно, из-за того, что ему было трудно аргументировать ее теоретически». [128]

Хобсбаум приукрашивает действительность марксизма. О том, как точка зрения Маркса «склонилась к поддержке народников», хорошо видно из того, как Энгельс по просьбе Маркса громил этих самых народников, а Плеханов и молодой Ленин это дело с энтузиазмом продолжили.

Действительно, Маркс получил 18 февраля 1881 г. письмо Веры Засулич, в котором она писала: «В последнее время мы часто слышим мнение, что сельская община является архаической формой, которую история, научный социализм — словом, все, что есть наиболее бесспорного — обрекают на гибель. Люди, проповедующие это, называют себя Вашими подлинными учениками, «марксистами»... Вы

поймете поэтому, гражданин, в какой мере интересует нас Ваше мнение по этому вопросу и какую большую услугу Вы оказали бы нам, изложив Ваши воззрения на возможные судьбы нашей сельской общины и на теорию о том, что, в силу исторической неизбежности, все страны мира должны пройти все фазы капиталистического производства».

Маркс написал *четыре* (!) варианта ответного письма (не считая короткого предварительного ответа 8 марта 1881 г.) [134]. Все они очень интересны, в них отражены глубокие раздумья и сомнения Маркса, и он действительно склоняется к признанию правоты народников.

Здесь надо заметить, как трактовали эти раздумья советские марксисты из Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В предисловии к 19-тому 2-го издания Сочинений Маркса и Энгельса (М., 1961) сказано о содержании «набросков» письма Маркса Вере Засулич: «Эта концепция Маркса ничего общего не имела с народнической мечтой — без развития крупной промышленности, с помощью общины прямо перескочить в социалистический общественный строй». Это замечание — карикатура на доктрину народников, «перерисованная» с того же предисловия к «Манифесту» 1882 года.

В одном из набросков Маркс писал: «Россия — единственная европейская страна, в которой «земледельческая община» сохранилась в национальном масштабе до наших дней. Она не является, подобно Ост-Индии, добычей чужеземного завоевателя. В то же время она не живет изолированно от современного мира. С одной стороны, общая земельная собственность дает ей возможность непосредственно и постепенно превращать парцеллярное и индивидуалистическое земледелие в земледелие коллективное, и русские крестьяне уже осуществляют его на лугах, не подвергшихся разделу. Физическая конфигурация русской почвы благоприятствует применению машин в широком масштабе. Привычка крестьянина к артельным отношениям облегчает ему переход от парцеллярного хозяйства к хозяйству кооперативному... С другой стороны, одновременное существование западного производства, господствующего на мировом рынке, позволяет России ввести в общину все положительные достижения, добытые капиталистическим строем, не проходя сквозь его кавдинские ущелья».

Три наброска — целые научные труды (первый набросок составляет 15 машинописных страниц). Но дело в том, что *ни один* вариант ответа Маркс Вере Засулич не отослал! Слишком в большое противоречие с теорией входили эти ответы. Они настолько противоречили ортодоксальному марксизму, что и сам он не решился их обнародовать. Письма Энгельса 1892-1895 гг., а также его написанное в 1894 г. Послесловие к работе «О социальном вопросе в России», поставили в этом вопросе точку над *i*.

Стоит привести выдержки из этих писем и Послесловия, учитывая, что это последнее слово Энгельса в долгом разговоре о путях русской революции — слово, сказанное всего за 7 лет перед крестьянскими волнениями 1902 г., которые и переросли в революцию 1905-1907 гг.

В большом письме Энгельса Н.Ф. Даниельсону (17 октября 1893 г.) он уже совершенно определенно утверждает, что всякие надежды на русскую революцию с опорой на крестьянскую общину должны быть отброшены, что России придется пройти через этап полномасштабного развития капитализма — с неизбежной при этом «колоссальной растратой производительных сил».

В письме говорится: «Мне все же кажется, что Вы смотрите на дело более мрачно, чем это может быть оправдано фактами. Несомненно, что переход от первобытного, аграрного коммунизма к капиталистическому индустриализму не может произойти без ужасной ломки общества, без исчезновения целых классов и превращения их в другие классы; а какие огромные страдания, какую растрату человеческих жизней и производительных сил это неизбежно влечет за собой, мы видели уже, хотя и в меньшем масштабе, в Западной Европе. Но от этого до полной гибели великого и высокоодаренного народа еще очень далеко. Быстрый прирост населения, к которому вы привыкли, может приостановиться. Безрассудное истребление лесов в сочетании с экспроприацией старых помещиков, как и крестьян, может вызвать колоссальную растрату производительных сил; и все же более чем стомилионное население составит в конце концов очень большой внутренний рынок для весьма значительной крупной промышленности; и у вас, как и в других странах, все придет в свою норму, — конечно, если капитализм в Западной Европе продержится достаточно долго.

Я пойду еще дальше и скажу, что в России развитие из первобытного аграрного коммунизма более высокой социальной формы могло бы стать возможным не больше, чем во всяком другом месте, если бы только эта более высокая форма не существовала уже в какой-либо другой стране и не служила бы в качестве образца. Эта более высокая форма — всюду, где она исторически возможна, — является необходимым следствием капиталистической формы производства и создаваемого ею социального дуалистического антагонизма, она не может развиваться непосредственно из земельной общины иначе, как в виде подражания примеру, уже где-либо существующему. Будь Западная Европа в 1860-1870 гг. созревшей для такой трансформации, будь эта трансформация проделана тогда Англией, Францией и т. д., — в этом случае русские действительно были бы призваны показать, что могло быть сделано из их общины, в то время еще более или менее нетронутой. Но Запад пребывал в застое, не пытался

произвести такую трансформацию, а капитализм развивался все быстрее и быстрее. Итак, у России не было иного выбора, кроме следующего: либо развить общину в такую форму производства, от которой ее отделял еще ряд промежуточных исторических ступеней и для осуществления которой условия еще не созрели тогда даже на Западе — задача, очевидно, невозможная, — либо развиваться в направлении капитализма. Спрашивается, что оставалось еще, кроме этого последнего шанса?

Что касается общины, то она возможна лишь до тех пор, пока имущественные различия между ее членами ничтожны. Как только эти различия становятся значительными, как только некоторые ее члены становятся должниками-рабами других, более богатых членов, — так ее дальнейшее существование невозможно. Афинские кулаки и мироеды до Солона разрушили афинский род с той же неумолимостью, с какой кулаки и мироеды вашей страны разрушают общину. Боюсь, что этот институт осужден на гибель. Но, с другой стороны, капитализм открывает новые перспективы и новые надежды. Посмотрите на то, что он сделал и делает на Западе. Великая нация, подобная вашей, переживет любой кризис. Нет такого великого исторического бедствия, которое бы не возмещалось каким-либо историческим прогрессом. Лишь *modus operandi* изменяется. Да свершится предначертанное!» [108, с. 129-130].

В предвидении того, что предначертано России, Энгельс ошибся. Он уже уверовал, что «капитализм открывает новые перспективы и новые надежды». Энгельс с энтузиазмом призывал народников: «Посмотрите на то, что он [капитализм] сделал и делает на Западе!» Вот каков итог эволюции взглядов Энгельса: в России, «как и в других странах, все придет в свою норму, — конечно, если капитализм в Западной Европе продержится достаточно долго». Теперь, значит, трудящимся России, «как и других стран», надо уповать на то, что капитализм на Западе продержится достаточно долго, и не допускать, чтобы кто-нибудь ему мешал. В этом случае жизнь в каждой отсталой стране «придет в *свою* норму» — согласно разнарядке метрополии.

А в России тогда не желали *того, что сделал и делает* капитализм. Александр Блок писал о наступающем XX веке:

Век буржуазного богатства
(Растущего незримо зла!).
Под знаком равенства и братства
Здесь зрели темные дела...

...

Двадцатый век... Еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла
(Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла).

Энгельс не убедил Даниельсона и даже пожаловался в письме Г.В. Плеханову (26 февраля 1895 г.): «Что касается Даниельсона, боюсь, что с ним ничего не поделаешь... Совершенно невозможно полемизировать с тем поколением русских, к которому он принадлежит и которое все еще верит в стихийно коммунистическую миссию, якобы отличающую Россию, истинную Святую Русь, от других неверных народов.

Впрочем, в такой стране, как ваша, где современная крупная промышленность привита к первобытной крестьянской общине и одновременно представлены все промежуточные стадии цивилизации, в стране, к тому же в интеллектуальном отношении окруженной более или менее эффективной китайской стеной, которая возведена деспотизмом, не приходится удивляться возникновению самых невероятных и причудливых сочетаний идей... Это стадия, через которую страна должна пройти. Постепенно, с ростом городов изолированность талантливых людей исчезнет, а с ней исчезнут и эти идейные заблуждения, вызванные одиночеством, бессистемностью случайных знаний эти чудаков-мыслителей, а отчасти также — у народников — отчаянием при виде крушения их надежд» [108, с. 344].

Каков апломб — при полном непонимании того, что происходит в России и во всех западных цивилизациях. Ведь уже созрели революции в Китае и Мексике, уже Махатма Ганди начинал свою проповедь в Индии.

И, наконец, Энгельс вернулся через 20 лет (!) к своей полемике с Ткачёвым, чтобы сказать в ней последнее слово. Он пишет свое известное «Послесловие», в котором дает за себя и за Маркса окончательное суждение о русской общине. Вот выдержки из этой большой работы (январь 1894 г.):

«Взгляды на русскую коммунистическую крестьянскую общину, которые он [Ткачёв] отстаивал в полемике со мной, были по существу взглядами Герцена. Этот последний, панславистский беллетрист, которого раздули в революционера, узнал из «Этюдов о России» Гакстгаузена, что крепостные крестьяне в его имениях не ведают частной собственности на землю, а время от времени производят между собой передел пахотной земли и лугов.

Как беллетристу, ему не к чему было изучать то, что вскоре стало известно всем и каждому, а именно, что общинная собственность на землю является формой владения, которая в первобытную эпоху господствовала у германцев, кельтов, индийцев, словом у всех индоевропейских народов, в Индии существует еще и поныне, в Ирландии и Шотландии только недавно насильственно уничтожена, в Германии встречается местами даже теперь, что это отмирающая форма владения, которая на деле представляет собой явление, общее всем народам на известной ступени развития. Но как панславист, Герцен, который был социалистом в лучшем случае на словах, увидел в общине новый предлог для того, чтобы в еще более ярком свете выставить перед гнилым Западом свою «святую» Русь и ее миссию — омолодить и возродить, в случае необходимости даже силой оружия, этот прогнивший, отживший свой век Запад. То, чего не могут осуществить, несмотря на все свои усилия, одряхлевшие французы и англичане, русские имеют в готовом виде у себя дома» [135, с. 438, 441].

Энгельс вновь подчеркивает, что сам вопрос о судьбе русской общины определяется на Западе: «Причина этого коренится не в ней самой, а единственно в том обстоятельстве, что в одной из европейских стран она сохранила относительную жизненную силу до такого времени, когда в Западной Европе не только товарное производство вообще, но даже его высшая и последняя форма — капиталистическое производство пришло в противоречие с созданными им самим производительными силами, когда оно оказывается неспособным управлять долее этими силами и когда оно гибнет от этих внутренних противоречий и обусловленных ими классовых конфликтов. Уже из этого вытекает, что инициатива подобного преобразования русской общины может исходить исключительно лишь от промышленного пролетариата Запада, а не от самой общины. Победа западноевропейского пролетариата над буржуазией и связанная с этим замена капиталистического производства общественно управляемым производством, — вот необходимое предварительное условие для подъема русской общины на такую же ступень развития.

В самом деле: нигде и никогда аграрный коммунизм, сохранившийся от родового строя, не породил из самого себя ничего иного, кроме собственного разложения» [135, с. 444].

Отвергая саму мысль о возможности в России антикапиталистической революции, Энгельс снова опирается на марксистскую догму, которая в 1895 г. выглядит уже анахронизмом, в который *и сам он не верит*. Он опять утверждает, что «капиталистическое производство пришло в противоречие с созданными им самим производительными силами и гибнет от вызванных ими классовых конфлик-

тов». Какие классовые конфликты он увидел на Западе? Ведь только недавно он сам советовал немецким рабочим «всемерно развивать капитализм»!

Здесь мы должны обратиться к труду Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма», написанному в 1916 г. в Цюрихе и напечатанному в середине 1917 г. в Петрограде. В нем развивается представление о судьбе периферийных стран мировой системы, преодолевающее главные догмы марксизма. В дополнение к отходу от марксистских представлений о крестьянстве «Империализм...» стал необходимым и достаточным блоком для выработки учения об антикапиталистической революции «в одной стране» — вне зависимости от участия в ней пролетариата развитых капиталистических стран. Таким образом, «Империализм...» является текстом, представляющим ядро ленинизма как новой теории революции.

Из приведенных в «Империализме...» данных об изъятии центром капитализма ресурсов периферии следует, что рабочий класс промышленно развитых стран Запада *не является* революционным классом (строго говоря, не является и пролетариатом). Это — важная предпосылка для преодоления присутствующего марксизму мессианского отношения к промышленному пролетариату и убеждения в том, что лишь мировая пролетарская революция может стать мотором освобождения народов от капиталистической эксплуатации. Преодоление этого постулата было условием для создания ленинской теории революции, а значит, и облегчившим ее практическое исполнение.

Теме западного пролетариата в «Империализме...» уделено большое внимание. В ряде мест говорится, с обильным цитированием западных экономистов, о перемещении основной массы физического труда, в том числе промышленного, из Западной Европы «на плечи темнокожего человечества». Приводятся данные о сокращении численности рабочих в Англии (до 15% населения в 1901 г.) и о числе рантье, по своему порядку сравнимом с числом рабочих (1 млн. рантье против 4,9 млн. рабочих).

Хотя по традиции Ленин говорит еще о рабочей аристократии и «собственно пролетарском низшем слое» в Англии, в приведенных им цитатах речь идет о вовлечении всего рабочего класса Запада в эксплуатацию периферии. Так, цитируемый Лениным английский экономист Дж.А. Гобсон пишет: «Господствующее государство использует свои провинции, колонии и зависимые страны для обогащения своего правящего класса и для подкупа своих низших классов, чтобы они оставались спокойными» [101, с. 400].

В.И. Ленин приводит исключительно красноречивые рассуждения западных идеологов (например, Сесилия Родса) о том, что разрешение социальных проблем в самой метрополии было едва ли не важнейшей целью эксплуатации зависимых стран («Если вы не хотите гражданской войны, вы должны стать империалистами», — писал Родс). Эту проблему Запад успешно решил — его «низшие классы» оказались подкупленными в достаточной мере, чтобы оставаться спокойными, что подтверждается у Ленина цитатами из текстов западных социал-демократов. Таким образом, и на практике эксплуатация рабочих была дополнена (а скорее, даже замещена) эксплуатацией народов, а *классовая борьба* заменена *борьбой народов*.

Выше уже приводилось письмо Энгельса Марксу 7 октября 1858 г., в котором он писал что в Англии существует «буржуазный пролетариат *рядом* с буржуазией». Из этого прямо следовала установка большевиков, что уповать на пролетарскую революцию в метрополии капитализма не приходилось, а революция в странах периферийного капитализма, к которым относилась и Россия, неизбежно приобретала не только антикапиталистический, но и национально-освободительный характер, преодолевающий гнёт иностранного капитала. Впоследствии ленинская теория революции получила развитие на опыте подобных революций в других крестьянских странах (Китае, Мексике, Индонезии, Вьетнаме и Алжире).

Пролетарская революция в развитых странах Запада уже никак не могла стать мотором освобождения народов от капиталистической эксплуатации. Условием для победоносной революции в России было то уникальное сочетание чаяний и интересов общинного крестьянства и молодого рабочего класса, которое выразил Ленин в идее союза рабочих и крестьян. Сравнивая поведение рабочих в разных странах, мы должны были бы прийти к выводу, что революционным, отрицающим буржуазный порядок, был рабочий класс именно там, где он не потерял связь с землей, со своими крестьянскими корнями. Историк крестьянства Э. Вольф пишет: «Революционная активность, очевидно, является результатом не столько роста промышленного пролетариата как такового, сколько расширения промышленной рабочей силы, все еще тесно связанной с деревенской жизнью. Сама попытка среднего и «свободного» крестьянина остаться в рамках традиций делает его революционным» [136].

Несмотря на это, евроцентристские тезисы высказываются в «Послесловии» Энгельса с такой жесткостью, что это устраняет всякую возможность утверждать об изменении взглядов на развитие революционного процесса, ссылаясь на неотправленные письма Маркса Вере Засулич.

Энгельс пишет: «Каким образом община может освоить гигантские производительные силы капиталистического общества в качестве общественной собственности и общественного орудия, прежде чем само капиталистическое общество совершит эту революцию? Каким образом может русская община показать миру, как вести крупную промышленность на общественных началах, когда она разучилась уже обрабатывать на общественных началах свои собственные земли?..»

Исторически невозможно, чтобы обществу, стоящему на более низкой ступени экономического развития, предстояло разрешить задачи и конфликты, которые возникли и могли возникнуть лишь в обществе, стоящем на гораздо более высокой ступени развития... Каждая данная экономическая формация должна решать свои собственные, из нее самой возникающие задачи; браться за решение задач, стоящих перед другой совершенно чуждой формацией, было бы абсолютной бессмыслицей. И к русской общине это относится не в меньшей мере, чем к южнославянской задруге, к индийской родовой общине или ко всякой иной общественной форме периода дикости или варварства, характеризующейся общим владением средствами производства» [135, с. 444-445].

Энгельс не допускает уже никакой возможности для незападных стран выработать собственные пути к социализму — они должны дожидаться пролетарской революции на Западе, а затем осваивать его опыт. Он пишет: «Только тогда, когда капиталистическое хозяйство будет преодолено на своей родине и в странах, где оно достигло расцвета, только тогда, когда отсталые страны увидят на этом примере, «как это делается», как поставить производительные силы современной промышленности в качестве общественной собственности на службу всему обществу в целом, — только тогда смогут эти отсталые страны встать на путь такого сокращенного процесса развития. Но зато успех им тогда обеспечен. И это относится не только к России, но и ко всем странам, находящимся на докапиталистической ступени развития» [135, с. 446].

Как душеприказчик Маркса, Энгельс «берет назад» его уклончивые слова о «многообразии путей развития», которые содержались в неотправленном письме Маркса в «Отечественные записки». Вот его последнее заключение о смысле того письма: «Так писал Маркс в 1877 году. В России в те времена было два правительства: правительство царя и правительство тайного исполнительного комитета заговорщиков-террористов. Власть этого второго, тайного правительства возрастала с каждым днем. Свержение царизма казалось близким; революция в России должна была лишить всю европейскую реакцию ее сильнейшего оплота, ее великой резервной армии, и тем самым дать также новый могучий

толчок политическому движению Запада, создав для него вдобавок несравненно более благоприятные условия борьбы. Неудивительно, что Маркс в своем письме советует русским не особенно торопиться с прыжком в капитализм.

Революции в России не произошло. Царизм восторжествовал над терроризмом... И в течение 17 лет, которые протекли с той поры, как было написано письмо Маркса, и развитие капитализма и распад крестьянской общины в России шагнули далеко вперед... Оставался только один путь: как можно более быстрый переход к капиталистической промышленности» [135, с. 449-450].

Как известно, русские рабочие и крестьяне этого приговора не приняли. А большевики, здраво рассудив, присоединились в этом вопросе не к Марксу и Энгельсу, а к русским рабочим и крестьянам. Замечательно определил эту позицию А. Грамши в статье 5 января 1918 г. о русской революции. Замечательно, но слишком честно, и потому статья эта до нас в советское время не дошла. Она называлась «Революция против «Капитала».

Грамши пишет: «Это революция против «Капитала» Карла Маркса. «Капитал» Маркса был в России книгой скорее для буржуазии, чем для пролетариата. Он неопровержимо доказывал фатальную необходимость формирования в России буржуазии, наступления эры капитализма и утверждения цивилизации западного типа... Но факты пересилили идеологию. Факты вызвали взрыв, который разнес на куски те схемы, согласно которым история России должна была следовать канонам исторического материализма. Большевики отвергли Маркса. Они доказали делом, своими завоеваниями, что каноны исторического материализма не такие железные, как могло казаться и казалось» [137].

Глава 16. Какую революцию в России ожидали Маркс и Энгельс?

Как же объяснить, в виду всего сказанного выше, тот факт, что Маркс и Энгельс действительно с энтузиазмом встретили сообщения о назревании революции в России? Ведь в цитированном выше предисловии к русскому изданию «Манифеста» (1882) они писали: «Теперь он [царь] — содержащийся в Гатчине военнопленный революции, и Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе» [130].

О какой же революции здесь идет речь? Чьим военнопленным стал царь, так что это стоило отметить в предисловии к «Манифесту»? Речь идет об убийстве народовольцами 1 марта 1881 г. Александра II. «Военнопленный революции» — красивая метафора, без которой вполне можно было обойтись.

Что же это за революция, где ее классовый анализ? Еще сравнительно недавно (1870) Маркс и Энгельс говорили о ее социальной базе в издевательском тоне. Маркс пишет о России: «У меня никогда не было радужных представлений об этом коммунистическом Эльдорадо». А Энгельс пишет Марксу: «Каким несчастьем было бы для мира, — не будь это невероятной ложью — что в России якобы насчитывается 40 000 революционных студентов, не имеющих за собой пролетариата или даже революционного крестьянства, а впереди — иной карьеры, чем выбор между Сибирью или эмиграцией в Западную Европу. Уж если что и могло бы погубить западноевропейское движение, так это импорт этих 40 000 более или менее образованных, честолюбивых, голодающих русских нигилистов... Ясно, как день, что опасность налицо. Святая Русь будет ежегодно выбрасывать некоторое количество таких русских «без перспективы на карьеру», и под предлогом интернационального принципа они повсюду будут втираться в доверие к рабочим, добиваться роли вождей, вносить свои, неизбежные у русских, личные интриги и споры» [33, с. 357, 404].

Противоречие между двумя столь разными оценками одного и того же явления неустранимо, и оно выражается в двух, казалось бы, несовместимых массивах утверждений Маркса и Энгельса. С одной стороны, они опасались русской революции, которая строилась бы на собственных цивилизационных основаниях и была бы неподконтрольна западным центрам авторитета. С другой стороны, после

Крымской войны революция «направленного действия» в России рассматривалась как важнейшее средство ослабления, а то и разрушения Российской империи, которая в глазах Маркса и Энгельса была «империей зла».

Вот одно из первых изложений этой доктрины. В 1860 г. в большой работе «Савойя, Ницца и Рейн» Энгельс перечисляет все беды, которые Россия принесла Германии с начала XIX века. Список обид завершается призывом к возмездию: «Вот чем мы с начала этого столетия обязаны русским и чего мы, немцы, нужно надеяться, никогда не забудем... Россия угрожает нам и оскорбляет нас всегда, а когда Германия против этого восстает, Россия приводит в движение французского жандарма обещаниями левого берега Рейна. Неужели мы должны и впредь допускать, чтобы с нами вели эту игру? Неужели мы, сорокапятимиллионный народ, должны еще дольше терпеть, чтобы...? Так стоит вопрос. Мы надеемся, что Германия скоро ответит на него с мечом в руке. Если мы будем держаться вместе, то уж выпроводим и французских преторианцев, и русских «капустников»...».

Но это — общий припев множества статей Энгельса, в которых он обсуждает европейские дела. Эта работа интересна тем, что в ней Энгельс впервые выдвигает тезис о том, что подорвать возможности России обижать Германию должна назревающая в России революция.

Он пишет: «Между тем, мы получили союзника в лице русских крепостных. Борьба, которая в настоящее время разгорелась в России между господствующим классом и поработенным классом сельского населения, уже теперь подрывает всю систему русской внешней политики. Эта система была возможна только до тех пор, пока в России не было внутреннего политического развития. Но это время прошло... Вместе с Россией, которая просуществовала от Петра Великого до Николая I, терпит крушение и ее внешняя политика. По-видимому, Германии суждено разъяснить это России не только пером, но и мечом. Если дело дойдет до *этого*, то это будет той реабилитацией Германии, которая возместит политический позор столетий» [138].

Именно такую революцию как оружие в *войне народов*, причем направленную конкретно на свержение российской монархии (или хотя бы на убийство царя), приветствовали Маркс и Энгельс. Одобрляли они и террор народовольцев, абсурдно преувеличивая ужасы русского деспотизма. В 1879 г. Энгельс писал о положении в России: «Агенты правительства творят там невероятные жестокости. Против таких кровожадных зверей нужно защищаться как только возможно, с помощью пороха и пуль. Политическое убийство в России единственное средство, которым располагают умные, смелые и

уважающие себя люди для защиты против агентов неслыханно деспотического режима» [139].

Классовый характер такой революции был Марксу и Энгельсу совершенно не важен, пусть бы ее совершали хотя бы и «голодающие русские нигилисты» и реакционные крестьяне. Но прогноз Энгельса более благоприятен. Он писал: «Здесь [в России] сочетаются все условия революции; эту революцию начнут высшие классы столицы, может быть даже само правительство, но крестьяне развернут ее дальше... Эта революция будет иметь величайшее значение для всей Европы хотя бы потому, что она одним ударом уничтожит последний, все еще нетронутый резерв всей европейской реакции» [88, с. 548].

От «нигилистов» и «высших классов» Маркс и Энгельс не ожидали способности совершить пролетарскую, социалистическую революцию, а буржуазно-демократическая революция (то есть уничтожающая империю) была Западу не страшна. Эта сторона доктрины народников, направленная на уничтожение имперского государства, очень даже поощрялась. Вот как объясняет Энгельс заинтересованность «господствующих народов» в такой революции — в той самой брошюре «О социальном вопросе в России», где он громит *коммунистические* проекты народников:

«Существующая ныне Российская империя образует последний сильный оплот всей западноевропейской реакции... Никакая революция в Западной Европе не может окончательно победить, пока поблизости существует современное российское государство. Германия же — ближайший его сосед, на Германию, стало быть, обрушится первый натиск русской реакции. Падение русского царизма, уничтожение Российской империи является, стало быть, одним из первых условий окончательной победы немецкого пролетариата» [88, с. 567].

Задача уничтожения Российской империи, с точки зрения Энгельса, так важна, что он даже обещает народникам, если они выполнят эту задачу, снисхождение при наказании за их коммунистические бредни: «Этих людей мы не потянем к ответу за то, что они считали свой русский народ избранным народом социальной революции. Но разделять их иллюзии мы вовсе не обязаны» [135, с. 451].

К концу 70-х годов русской революции ждут на Западе со дня на день. Энгельс писал 19 декабря 1879 г.: «В России дела обстоят великолепно! Там, пожалуй, развязка близка, а когда она наступит, то у власть имущих Германской империи душа уйдет в пятки. Это будет ближайшим поворотным пунктом во всемирной истории». А 10 января 1880 г. он писал Либкнехту: «Поздравляю тебя и всех с Новым годом и русской революцией, которая в этом году, вероятно, разразится и тотчас же изменит облик

всей Европы» [140, с. 344].

Таким образом, внутренне противоречивое отношение Маркса и Энгельса к русской революции сводится к следующему:

— они поддерживают революцию, не выходящую за рамки буржуазно-либеральных требований, свергающую царизм и уничтожающую Российскую империю; структура классовой базы такой революции несущественна;

— они категорически отвергают рабоче-крестьянскую народную революцию, укрепляющую Россию и открывающую простор для ее модернизации на собственных цивилизационных основаниях, без повторения пройденного Западом пути.

В этой формуле выразилась замечательная прозорливость и интуиция основоположников марксизма. Они увидели и почувствовали главное — в России параллельно назревали две революции, в глубине своей не просто различные, но и враждебные друг другу. На первых этапах они могли переплетаться и соединяться в решении общих тактических задач, но их главные, цивилизационные векторы расходились.

Именно эта формула, на первых этапах смутная, и была принята российскими марксистами для определения их отношения к реальному ходу революционного процесса в России. Первым критическим моментом стала революция 1905-1907 г., которая явно пошла по тому пути, который был отвергнут и осужден Марксом и Энгельсом. Марксисты оказались перед историческим выбором — включиться в эту революцию или остаться верными учению Маркса и противодействовать этой революции («будущему Октябрю»). Фракция большевиков, возглавляемая Лениным, извлекла уроки из первого акта русской революции и примкнула к революционным народным массам. Меньшевики остались с учением Маркса.

Сделаем небольшое отступление и вспомним историю русской революции. Согласно официальной советской истории, в Феврале в России произошла буржуазно-демократическая революция, которая свергла монархию. Эта революция под руководством большевиков переросла в социалистическую пролетарскую революцию. Эта картина неверна, не в деталях, а в главном. Не могла Февральская революция «перерасти» в Октябрьскую, поскольку для Февраля и царская Россия, и советская были одинаковыми врагами. Для Февраля обе они были «империями зла».

В России созревали две не просто разные, а и *враждебные* друг другу революции. Одна из них — та, о которой и мечтали Маркс и Энгельс. Это революция западническая, имевшая целью ликвидацию монархической государственности и империи, установление демократии западного типа и свободного капиталистического рынка. Буржуазия с помощью Запада возродила масонство как межпартийный штаб своей революции (в 1915 г. руководителем масонов стал Керенский). Главной партией там были кадеты (либералы-западники), к ним примкнули меньшевики и эсеры.

Другая революция — крестьянская (советская), имевшая целью закрыть Россию от западной демократии и свободного рынка, отобрать бывшую общинную землю у помещиков и не допустить раскрестьянивания. К этой революции примкнули рабочие с их еще крестьянским общинным мировоззрением и образом действия (например, организации в трудовые коллективы и подпольные общины). Такую революцию Маркс и Энгельс считали реакционной, поскольку она прямо была направлена на то, чтобы остановить колесо капиталистического прогресса.

Обе революции ждали своего момента, он наступил в начале 1917 г. Масоны завладели Госдумой, имели поддержку Антанты, а также генералов и большей части офицерства (оно к тому времени стало разночинным и либеральным, монархисты-дворяне пали на полях сражений). Февральская революция началась как переворот в верхах, проведенный Госдумой и генералами.

Либералы в союзе с марксистами-западниками, пришедшие к власти, разрушили государство Российской империи сверху донизу и разогнали саму империю. Как и предполагал Энгельс, «эту революцию начали высшие классы столицы», а управляющей структурой было подконтрольное Западу политическое масонство и верхушка либеральной буржуазии. Эта революция и поощрялась Западом как оружие в «войне народов». Энгельс в своих трудах лишь выразил то, что правящая верхушка Запада и так прекрасно знала (хотя информационно-психологическая поддержка от марксизма была ей очень кстати).

Ленин писал в марте 1917 г. то, что было тогда известно в политических кругах: «Весь ход событий февральско-мартовской революции показывает ясно, что английское и французское посольства с их агентами и «связями», давно делавшие самые отчаянные усилия, чтобы помешать сепаратным соглашениям и сепаратному миру Николая Второго с Вильгельмом IV, непосредственно организовывали заговор вместе с октябристами и кадетами, вместе с частью генералитета и офицерского состава армии и петербургского гарнизона особенно для *смещения* Николая Романова» [141].

Февральская революция была возможной потому, что ее поддержали и банки, скупившие хлеб и организовавшие голод в столицах, и солдаты. Порознь ни одной из этих сил не было бы достаточно. Февраль развязал руки революции советской. Крестьяне и рабочие, собранные в 11-миллионную армию, два с половиной года в окопах обдумывали и обсуждали проект будущего. Они уже были по-военному организованы и имели оружие.

Уникальность русской революции 1917 г. в том, что с первых ее дней в стране стали формироваться два типа государственности — буржуазно-либеральная республика (Временное правительство) и «самодержавно-народная» Советская власть (Февраль сплавил Советы с большевиками). Эти два типа власти были не просто различны по их идеологии, социальным и экономическим устремлениям. Они находились на двух разных и расходящихся ветвях цивилизации. То есть, их союз в ходе государственного строительства был невозможен. Разными были фундаментальные идеи, на которых происходит становление государства и общества — прежде всего, представления о мире и человеке.

Монархия капитулировала без боя. С Февраля в России началась борьба *двух революционных движений*. Более того, на антисоветской стороне главная роль постепенно переходила от либералов к социалистам — меньшевикам и эсерам. И те, и другие были искренними марксистами, с ними были Плеханов и Засулич. Если взглянуть на дело со стороны меньшевиков-марксистов, то Октябрь выглядит событием реакционным, *контрреволюционным переворотом*. В этом они были верны букве марксизма, прямо исходили из указаний Маркса и Энгельса. Эсеры и объявили Советам гражданскую войну, а подполковник Капшель был их первым командиром (его недавно перехоронили с воинскими почестями и хоругвями как якобы монархиста).

Нестабильное равновесие, возникшее после Октября, сломали прежде всего эсеры. Признав советскую власть, Учредительное собрание блокировало бы войну. А вот если бы большевики сдались Учредительному собранию, война все равно была бы неизбежной. Шанс на выход из тупика давал именно и только советский проект (хотя какие-то его вариации были возможны, но и те были загублены левыми эсерами).

Большевики ушли от марксизма не только в том, что исходили из иной картины мироустройства, осознали природу капиталистической системы «центр—периферия» и цивилизационный смысл русской революции. Они ушли и от присущего марксизму *механицизма* во взглядах на исторический процесс. Они мыслили уже в понятиях перехода «порядок—хаос—порядок» и верно оценивали значе-

ние *момента* и *движения*. Помимо верной оценки движущих *сил* русской революции, они умело действовали в «точках бифуркации», в моменты неустойчивых равновесий. Октябрьский переворот — высшее достижение социальной синергетики (как затем и антисоветский переворот в августе 1991 г.).

Благодаря организующему действию большевиков Советам удалось придти к власти на волне самой Февральской революции, пока не сложился новый государственный порядок, пока все было на распутье и люди находились в ситуации выбора, но уже угас оптимизм и надежды на то, что Февраль ответит на чаяния подавляющего большинства — крестьян. В этом смысле Октябрьская революция была тесно связана с Февральской и стала шедевром революционной мысли.

Ортодоксальные марксисты (Аксельрод, Засулич, Плеханов) считали, что в Феврале главная задача русской революции, поставленная Марксом и Энгельсом, выполнена. А с реакционной советской революцией надо бороться. Эта часть марксистов стала антиленинцами и заняла антисоветскую позицию — в точном соответствии с теми заветами, которые Маркс и Энгельс сформулировали в 1870-1880 гг.

Вот выдержки из документа, который называют «Политическим завещанием» лидера меньшевиков Аксельрода (письмо Ю.О.Мартову, сентябрь 1920 г.). Он пишет о большевиках:

«... И все это проделывалось под флагом марксизма, которому они уже до революции изменяли на каждом шагу. Самой главной для всего интернационального пролетариата изменой их собственному знамени является сама большевистская диктатура для водворения коммунизма в экономически отсталой России в то время, когда в экономически наиболее развитых странах еще царит капитализм. Вам мне незачем напоминать, что с первого дня своего появления на русской почве марксизм начал борьбу со всеми русскими разновидностями утопического социализма, провозглашавшими Россию страной, исторически призванной перескочить от крепостничества и полупримитивного капитализма прямо в царство социализма. И в этой борьбе Ленин и его литературные сподвижники активно участвовали. Совершая октябрьский переворот, они поэтому совершили принципиальную измену и предприняли преступную геростратовскую авантюру, с которой их террористический режим и все другие преступления неразрывно связаны, как следствие с причиной.

Большевизм зачат в преступлении, и весь его рост отмечен преступлениями против социал-демократии. Не из полемического задора, а из глубокого убеждения я характеризовал 10 лет тому назад ленинскую компанию прямо, как шайку черносотенцев и уголовных преступников внутри социал-

демократии... А мы противники большевиков именно потому, что всецело преданы интересам пролетариата, отстаиваем его и честь его международного знамени против азиатчины, прикрывающейся этим знаменем... В борьбе с этой властью мы имеем право прибегать к таким же средствам, какие мы считали целесообразными в борьбе с царским режимом...

Тот факт, что законность или необходимость этого крепостнического режима мотивируется, хотя бы и искренно, соображениями революционно-социалистическими или коммунистическими, не ослабляет, а усугубляет необходимость войны против него не на жизнь, а на смерть, — ради жизненных интересов не только русского народа, но международного социализма и международного пролетариата, а быть может, даже всемирной цивилизации...

Где же выход из тупика? Ответом на этот вопрос и явилась мысль об организации интернациональной социалистической интервенции против большевистской политики... и в пользу восстановления политических завоеваний февральско-мартовской революции» [142].

Итак, вот ответ ортодоксальных марксистов на советскую революцию — призыв к *«интернациональной социалистической интервенции против большевистской политики»*. Речь идет опять о войне *народов*, а не классов.

Это — жестокая реальность, ее надо знать и учитывать. Исходить из классовых представлений, которые эту реальность маскируют, значит неминуемо нести ненужные потери. Иногда они оказываются столь велики, что решают исход войны. Представители всех частей политического спектра на Западе — от марксистов до правых консерваторов, исходят именно из реальности. Поэтому там и возникло в главном общее понимание сути русской советской революции.

Здесь перед нами драматический парадокс истории. Маркс и Энгельс мечтали о пролетарской революции на Западе, которая покончит с отчуждением людей и устроит братство свободных индивидов. Они видели эту революцию как войну против реакционных народов, в ходе которых эти народы будут сметены с лица земли. Но развитие этих идей на Западе привело к утопии «белокурой бестии», а реакционный русский народ осуществил революцию, движимую идеалом всечеловечности. И оба проекта столкнулись в открытой войне. Предвидеть и заранее осознать ее смысл русским помешала классовая теория, прикрывавшая идею войны народов.

Немецкий историк фашизма Л. Люкс пишет: «После 1917 г. большевики попытались завоевать мир и для идеала русской интеллигенции — всеобщего равенства, и для марксистского идеала — пролетар-

ской революции. Однако оба эти идеала не нашли в «капиталистической Европе» межвоенного периода того отклика, на который рассчитывали коммунисты. Европейские массы, прежде всего в Италии и Германии, оказались втянутыми в движения противоположного характера, рассматривавшие идеал равенства как знак декаданса и утверждавшие непреодолимость неравенства рас и наций.

Восхваление неравенства и иерархического принципа правыми экстремистами было связано, прежде всего у национал-социалистов, с разрушительным стремлением к порабощению или уничтожению тех людей и наций, которые находились на более низкой ступени выстроенной ими иерархии. Вытекавшая отсюда политика уничтожения, проводившаяся правыми экстремистами, и в первую очередь национал-социалистами, довела до абсурда как идею национального эгоизма, так и иерархический принцип» [103].

Глава 17. Нации и народы: принцип самоопределения

В Новое и новейшее время для жизни и самосознания народов важное значение приобрело понятие *нация*. В представлениях, свойственных формационному подходу, нация есть высшая стадия развития этнических общностей, отвечающая условиям индустриального общества (в Энциклопедическом словаре нация определяется, как «тип этноса, характерный для развитого классового общества»). Общности менее крупные или находящиеся на докапиталистической стадии развития было принято называть *народами* или *национальностями*. [32]

В последние четыре века нация и принадлежность к ней были важным признаком социальной классификации. Сам исходный смысл слова «нация» (то есть «быть урожденным») придавал этому признаку качество *естественного*, которое оказывает магическое воздействие на сознание и потому очень ценится в идеологии.

С опорой на идею нации происходило формирование *национального государства*. Этот новый тип государственности стал главной формой *политической организации* народов Запада, самой устойчивой до настоящего времени и очень многосторонней по своим функциям. Национальное государство уже в ходе создания своих наций показало исключительную эффективность в деле сплочения населения страны, введя новое измерение для идентичности людей — *гражданственность*.

Понятие нации стало ключевым как в отношениях населения со своим государством, так и в отношениях между государствами. Это понятие лежит в основе и международного права Нового времени, и политической практики. Так в основе понятия *национальный суверенитет* лежит идея нации.

Под нацией понималось «население, имеющее общее имя, владеющее исторической территорией, общими мифами и исторической памятью, обладающее общей экономикой, культурой и представляющее общие права и обязанности для своих членов». Понятно, что сделать память, мифы, культуру общими для всего населения территории, то есть создать гражданскую нацию, можно лишь в том случае если будут ослаблены различия разных групп, составляющих это население (прежде всего, этничность этих групп). Еще Ж.-Ж. Руссо подчеркивал, что индивиды, образующие нацию, должны иметь сходные обычаи и манеры, общие социальные идеалы.

Нации как новый тип сообществ, в которых этничность сопряжена с гражданством, — порождение Западной Европы в эпоху Нового времени. В незападных странах освоение технологии нациестроительства стало одним из важнейших направлений *модернизации*. Например, Япония сумела целенаправленно создать сплоченную нацию с сильной национальной идеологией, не раскрываясь Западу, и вышла на международную арену как современное национальное государство. Индийская нация сложилась в борьбе с английским колониальным владычеством. Для ее создания потребовалось теоретическое обоснование, которое было выработано путем нового истолкования истории и изложено в книге Дж. Неру «Открытие Индии» (1946). Элита многих стран успешно освоила доктрину нации и использовала ее как оружие защиты против западного империализма, избежав колониального ярма.

Самый большой проект был осуществлен в Китае, где небольшая группа интеллигентов-республиканцев начала программу создания современной нации (хотя они применяли привычное китайцам слово *народ*). Старый народ, слабо скрепленный империей, был полностью «рассыпан» под ударами европейских держав, и в рассыпанном («как куча песка») виде китайцы оказались не только политически недееспособны, но даже *нежизнеспособны*. Проводя сравнение с Россией, автор и руководитель этой программы Сунь Ятсен видел залог ее спасения и развития как раз в том, что, несмотря на свою «вселенность», русские сохранили национализм благодаря опасным, но *несмертельным* угрозам. Последней из них Сунь Ятсен посчитал к концу жизни интервенцию Запада во время Гражданской войны. Посмотрел бы он на нас сегодня!

У Сунь Ятсена национализм не только не противоречит интернационализму, но и служит ему необходимым условием: «национализм — это то сокровище, которое предопределяет существование человечества». Если бы национализм угас повсеместно, то западные державы, по мнению Сунь Ятсена, полностью вытеснили бы и «переварили» все другие народы, как индейцев. И только если Китай преодолет космополитизм и вновь обретет сокровище национализма, он «станет фундаментом интернационализма в Азии — так же, как русские стали им в Европе».

Процесс строительства нации из народов, соединившихся вокруг русского народа, набирал темп в Российской империи со второй половины XIX века, в сочетании с модернизацией хозяйства, экономики и в целом культуры. Как этот процесс продолжится в ходе и после революции — было вопросом исторического выбора, который стоял перед всеми революционными течениями России. Здесь пролегла одна из пропастей раскола, на развитие которого сильно повлияли установки Маркса и Энгельса.

Очевидно, что строительство нации не может быть «бесконфликтным» — «иных» надо преобразовать в «своих». Так, во Франции пришлось «сплавлять» не только множество небольших народов, но и два больших этнических блока — северофранцузского и южнофранцузского (провансальцев). Последние сопротивлялись более трехсот лет, после чего, по выражению Энгельса, «железный кулак Конвента впервые сделал жителей Южной Франции французами». А Наполеон заменил все исторические этнические названия департаментов на формальные географические — по названиям протекающих по их территории рек. Германские народы собирались в современную нацию уже объединенным государством при Бисмарке, под эгидой милитаризованной Пруссии. А до этого, в конце XVIII в., еще вполне могло случиться, что в Европе возникли бы три родственных политических нации — австрийская, прусская и баварская.

Другой, более сложный тип, к которому относится и Россия, предполагает построение общей территории и общего культурного ядра при *сохранении* этничности разных групп населения. Когда канцлер Бисмарк заявил, что единство наций достигается только «железом и кровью», Тютчев написал известные строки:

«Единство, — возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью, —
А там увидим, что прочней...

Ленин, говоря о типе государственности России после победы пролетарской революции, имел в виду примерно то же самое, что и Тютчев (только вместо «любви» у него была солидарность трудящихся). Он писал в 1916 г.: «Мы в своей гражданской войне против буржуазии будем соединять и сливать народы *не* силой рубля, *не* силой дубья, *не* насильем, а *добровольным* согласием, солидарностью трудящихся» [143, с. 73-74].

На 3-м Съезде Советов (январь 1918 г.) Ленин сказал: «Мы действовали без дипломатов, без старых способов, применяемыми империалистами, но величайший результат налицо — победа революции и соединения с нами победивших в одну могучую революционную федерацию. Мы властвуем, не разделяя, по жестокому закону древнего Рима, а соединяя всех трудящихся неразрывными цепями живых интересов, классового сознания. И наш союз, наше новое государство прочнее, чем насильническая власть, объединенная ложью и железом в нужные для империалистов искусственные государствен-

ные образования... Совершенно добровольно, без лжи и железа, будет расти эта федерация, и она несокрушима» [144, с. 287-288].

Советский Союз, собранный на иных основаниях, нежели западные нации, действительно был очень прочен в течение целого исторического периода, но начиная с 60-х годов XX в. его механизм соединения множества этносов в многонациональный народ начал давать сбои и требовал модернизации, которая не была проведена. Возник кризис, обсуждение которого выходит за рамки нашей темы (подробнее об этом кризисе см. [14]). Однако кризис возник в конце XX века и в нациях Запада, которые уже казались «моноэтническими». Рухнула утопия Просвещения, согласно которой в современном гражданском обществе этничность должна была исчезнуть. Эта утопия и заложила конфликт между нацией и этносами, которого на длительный исторический период избежали и Российская империя, и Советский Союз.

Но вернемся к конфликту, который возник в европейском и российском революционном движении в связи с установками марксизма.

Европейское общественное мнение после 1848 г. стало сдвигаться к признанию *прав народов* (национальностей). Энгельс сразу занял отрицательную позицию, усмотрев в этом интриги Наполеона III и «руку Москвы». Как пишет Энгельс, режим, пришедший во Франции к власти в 1851 г., «вынужден был изобрести демократизированное и популярно звучащее название для своей внешней политики». Так возник «принцип национальностей». Суть его, по словам Энгельса, в том, что «каждая национальность должна быть вершителем своей судьбы». Он предупреждает: «Но, заметьте, — теперь уже речь шла не о нациях, а о национальностях».

Сдвиг к концепции *права народов* являлся демократическим и популярным. Напротив, Энгельс считал его *реакционным*, потому что он снижает статус крупных наций: «Европейское значение народа, его жизнеспособность — ничто с точки зрения принципа национальностей; румыны из Валахии, которые никогда не имели ни истории, ни энергии, необходимой для того, чтобы ее создать, значат для него столько же, сколько итальянцы с их двухтысячелетней историей и устойчивой национальной жизнеспособностью... Все это — полнейший абсурд, облеченный в популярную форму для того, чтобы пустить пыль в глаза легковерным людям» [39, с. 161].

Но главное, Энгельс был уверен, что появление в Европе самой идеи прав народов — результат козней России. Ведь именно исходя из этого принципа вела свою национальную политику Российская

империя, в которой нерусские народы не подвергались насильственной ассимиляции. А если это исходит из России, то для Энгельса является реакционным по определению. Он пишет: «Принцип национальностей мог быть действительно изобретен только в Восточной Европе, где приливы азиатских нашествий в течение тысячелетия, набегаая один за другим, оставили на берегу эти груды перемешанных обломков наций, которые даже и теперь этнолог едва может различить, и где в полнейшем беспорядке перемешаны тюрки, финские мадьяры, румыны, евреи и около дюжины славянских племен. Такова была почва для выработки принципа национальностей, а как Россия его вырабатывала, мы увидим сейчас на примере Польши» [39, с. 162]. [33]

Как известно, международное социалистическое и рабочее движение отвергло эту установку Энгельса. В 1896 г. Международный конгресс социалистических рабочих партий и профсоюзов в Лондоне принял постановление, в котором сказано: «Конгресс объявляет, что он стоит за полное право самоопределения всех наций». Сказано это вскользь, без разъяснений, как пятая часть длинной фразы, составленной из малосодержательных штампов — но сказано!

Эта часть фразы много значила для российских социал-демократов. И все же разработанная Энгельсом и одобренная Марксом доктрина по национальному вопросу поставила русских марксистов в очень трудное положение в преддверии революции. Здесь возник целый клубок противоречий. Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» был органично и глубоко принят не только революционными движениями России, но и широкими массами рабочих, а затем и крестьян. Но интерпретирован он был по-своему.

Выше уже приводилось высказывание Н.А. Бердяева: «В мифе о пролетариате по-новому восстановился миф о русском народе. Произошло как бы отождествление русского народа с пролетариатом, русского мессианизма с пролетарским мессианизмом» [87, с. 88-89]. Таким образом, в России классовый марксистский лозунг был просто «онаученным» выражением той «всечеловечности», о которой говорил Достоевский как особенности русской культуры.

Сама концепция «прогрессивных» и «реакционных» народов, если бы она стала в России широко известна, вызвала бы недоумение и отторжение марксизма. Поэтому данная концепция фактически скрывалась руководством марксистских партий как от партийной массы, так и от интеллигенции в целом (что и было элементом «вульгаризации» марксизма).

Российские социал-демократы уже в 1903 г. включили в свою программу признание права народов на самоопределение (§ 9 Программы), и иначе быть не могло в партии, которая стремилась опереться на поддержку трудящихся масс. Надо заметить, что либералы-западники (партия кадетов) это право *не признавали*, что и зафиксировали в своих документах. Они ориентировались на буржуазию, в политической философии которой был силен шовинизм и социал-дарвинизм, оправдывающие эксплуатацию и людей, и народов.

Здесь надо дать маленькую историческую справку о возникновении принципа национального самоопределения и, соответственно, федерализма в сознании российской интеллигенции. Сегодня из чисто идеологических интересов эта история искажается.

Глава 18. Идея самоопределения в России и практика большевиков

Историк, депутат Госдумы Н.А. Нарочницкая в 2007 г. в интервью газете «Наше время» сказала: «Дробление по национальному признаку, в угоду большевистской доктрине права на самоопределение, показало себя миной замедленного действия. Помимо того, это не является лучшим способом сохранить национально-культурное своеобразие. Есть другие инструменты... Вот в Германии живут лужичане — славянский народ. У них нет автономии, но есть свои школы, свои университеты, деятели культуры, писатели» [145].[34]

Установки депутата по национальному вопросу — дело его политического выбора. Печально то, что доктрина, рожденная в России в первой четверти XIX века, отвергается *историком* на основании того, что она «большевистская». Ну до чего мы дойдем с такой аргументацией?

В действительности взгляды на проблему менялись таким образом. В царское время вопросов с *теорией* этничности, видимо, не возникало. Видимо, в кругах русской аристократии на интуитивном уровне бытовало представление о народах и племенах (языках), как созданиях Бога, который наделяет их *душой*. Если так, то дело государей — охранять все перешедшие под его руку народы, не вмешиваясь в их «естественное» развитие. Это уже в неявном виде предполагало «право на самоопределение» с этнической идентичностью (альтернативой был бы геноцид или «этническая чистка»).

В XIX веке эта идея *укоренялась* в общественном сознании образованного слоя и в политическом смысле. Федералистские идеи развивались в России уже в доктрине декабристов (Никита Муравьев разрабатывал программу федерального государственного устройства). В федерализме и стала вызревать идея России как федерации *народов*. В революционном движении уже со второй четверти XIX принцип национального самоопределения начинает преобладать над принципом *областничества* как деления унитарного государства на административные единицы. С полной определенностью принцип национального самоопределения был декларирован в программе партии «Народная воля». В начале XX в. возникают национальные движения и партии с сепаратистскими установками (например, армянская партия Дашнакцүтюн). Все это — задолго и помимо большевиков.

Февральская революция «рассыпала» империю. В разных частях ее возникли национальные армии или банды разных окрасок. Все они выступали против восстановления единого централизованного государства. Что касается представлений большевиков о России, то с самого начала они видели ее как легитимную исторически сложившуюся целостность и в своей государственной идеологии оперировали *общероссийскими* масштабами (в этом смысле идеология была «имперской»).

Среди тех организованных политических сил в России в момент революции, которые имели какие-то программные установки, большевики были как раз *менее* федералистами, чем другие (если не считать черносотенцев, которые просто не мыслили Россию без царя и Империи, и анархистов, которые проповедовали утопию свободы без государства).[35] Ленин считал федерацию вынужденным временным состоянием, о чем говорил в работах 1914 г., а в 1920 г. писал в Тезисах ко II конгрессу Коминтерна: «Федерация является переходной формой к полному единству трудящихся... Необходимо стремиться к более и более тесному федеративному союзу» [146]. И накануне Февральской революции Ленин был *противником* федерализации. Ленину больше импонировала французская модель, и он выступал за трансформацию Российской Империи в русскую демократическую республику — *унитарную* и *централистскую*. Это видно и из его опубликованных тогда трудов, и из его конспектов, в которых он делал выписки при изучении федерализма [147].

Реальная политическая альтернатива большевикам — либерально-буржуазная, ставшая движущей силой Белого движения, была принципиально *антиимперской* (фольклор белого офицерства не в счет). С.Н. Булгаков писал, что моделью государственности для России не мог быть «деспотический автаркизм татарско-турецкого типа, возведенный в этот ранг Византией и раболепствующей официальной церковью; ею должна была стать федеративная демократическая республика, как это хорошо понимали в свое время английские диссиденты, эмигрировавшие в Америку» [148, с. 33]. Здесь — полное отрицание «самодержавного централистического деспотизма, превращающего в рабов тех, кто имеет несчастье быть его подданными», и четкий идеал — «всемирные Соединенные Штаты». Можно сказать, что православный мыслитель Сергей Булгаков — прямой предшественник А.Д. Сахарова.

Реальной возможности собрать после февраля 1917 г. Россию как унитарное государство не существовало. Пытаясь, уже на уровне программы, собирать разваленную ими же Российскую империю по шаблонам западных федераций (типа Швейцарии или США), либералы Керенского принципиально не могли построить *никакой государственности*. И. Солоневич пишет о попытке российских либералов

как альтернативы большевикам: «Конструкции, ими спроектированные, не продержались ни одного дня, ибо даже и А.Ф. Керенского мы демократической республикой никак считать не можем: при Керенском была керенщина. Месяца через два после попытки «взять в свои руки московские дела» профессоров вышибли вон. Через полгода после этой попытки профессора бежали на юг, как птицы перелетные. На юге они припадали к ногам генерала Эйхгорна и молили о помощи. Генерал Эйхгорн не помог. Потом молили генерала Франше д'Эспре, генерал Франше д'Эспре не помог. Потом портили настроение генералу Деникину, генерал Деникин тоже не смог помочь. Потом, обжегшись на попытках что-то там «взять в свои руки», разочаровавшись во всех генералах контрреволюции, они стали мечтать о революционных генералах: Клим Ворошилов — вот он и есть «национальная оппозиция Сталину». Но не помогли и революционные генералы» [149, с. 427-428].

Это и заставило большевиков изменить их первоначальные намерения. Ленин первым оценил изменение обстановки в ходе Гражданской войны, другие члены руководства (например, Дзержинский и Сталин) продолжали придерживаться идеи унитарного государства, и их поддерживало руководство большинства советских республик. Потому Сталин и выдвинул план *автономизации*, предлагавший объединение всех республик в составе РСФСР на правах автономий. Однако в ходе обсуждения оппоненты согласились с доводами Ленина.

Реальность была такова, что в Гражданской войне все борющиеся стороны действовали уже не на пространстве Российской империи, она распалась после Февраля 1917 г. Это было *разорванное* пространство, на клочках которого националисты всех цветов лихорадочно старались создать подобия государств. Возникла независимая Грузия с главой правительства меньшевиком Жордания, которая «стремилась в Европу» и искала покровительства у Англии. Возникла независимая Украина с масоном Грушевским и социалистом Петлюрой, которая искала союза с Польшей. «Народная Громада» провозгласила полный суверенитет Белоруссии (не имея никакой поддержки в народе), возникла автономная Алаш Орда в Казахстане — везде уже существовала местная буржуазная и европеизированная этническая элита, которая искала иностранных покровителей, которые помогли бы ей учредить какое-то подобие национального государства, отдельного от России. Некоторым это удалось — прибалтийские республики были отторгнуты от России с помощью Германии, а затем Антанты.

Таким образом, для советской власти не существовало дилеммы: *сохранить* национально-государственное устройство Российской империи — или *преобразовать* ее в федерацию республик. Задача

состояла в том, чтобы *собрать* разделившиеся куски бывшей империи. Собрание могло быть проведено или в войне с национальными элитами «кусков» — или через их нейтрализацию и компромисс.

Предложение учредить *Союз* из национальных республик, а не *Империю* (в виде одной республики), нейтрализовало возникший при «обретении независимости» национализм. Армии националистов потеряли поддержку населения, и со стороны Советского государства гражданская война в ее *национальном измерении* была пресечена на самой ранней стадии, что сэкономило России очень много крови. Работа по «собираанию» страны велась уже во время войны (историки называют это военно-политическим союзом советских республик). Скорее всего, иного пути собрать Россию и кончить гражданскую войну в тот момент не было. Но спорить об этом сейчас бесполезно.[36]

Факт заключается в том, что большевики в октябре 1917 г. *унаследовали* национальные движения, которые вызревали уже в царской России и активизировались после Февраля.[37] Можно с уверенностью сказать, что если бы Российская империя сумела преодолеть системный кризис 1905-1917 гг. и продолжить свое развитие как страна периферийного капитализма, то ускоренное формирование национальной буржуазии и национальной интеллигенции неминуемо привели бы к мощным политическим движениям, требующим отделения от России и создания национальных государств. Эти движения получили бы поддержку Запада и либерально-буржуазной элиты в крупных городах Центра самой России. Монархическая государственность с этим справиться бы не смогла, и Российская империя была бы демонтирована. Большевики в 20-е годы XX века нашли способ обуздать эти движения (а в конце века просоветская часть КПСС такого способа не нашла).

В 1920 г. нарком по делам национальностей И.В. Сталин сделал категорическое заявление, что отделение окраин России совершенно неприемлемо. Военные действия на территории Украины, Кавказа, Средней Азии, всегда рассматривались красными как явление *гражданской* войны, а не *межнациональных* войн. Красная Армия, которая действовала на всей территории будущего СССР, была, по выражению Л.Н. Гумилева, той *пассионарной группой*, которая стягивала народы бывшей Российской империи обратно в единую страну.

Именно в Гражданской войне народ СССР обрел свою *территорию* (она была легитимирована как «политая кровь»).[38] Территория СССР была защищена обустроенными и хорошо охраняемыми *границами*. И эта территория, и ее границы приобрели характер общего национального символа, что отразилось и в искусстве (в том числе, в песнях, ставших практически народными), и в массовом

обыденном сознании. Особенно крепким чувство советского пространства было в русском народе.

Сегодня гораздо продуктивнее не обвинять большевиков в том, что они не совершили невозможно-го, а понять, каким образом они смогли так нейтрализовать этнический национализм, чтобы вновь собрать не просто единое государство, но во многих отношениях гораздо сильнее консолидированное, нежели Российская империя. Это знание сегодня необходимо, даже несмотря на то, что тот опыт не может быть применен в нынешних условиях. Важны не рецепты, а методология подхода к проблеме. Мы, например, почти не обращали внимания на тот смысл, который придавался идее *диктатуры пролетариата* как средства ослабления власти *национальных элит*. Националисты не могли ничего противопоставить спланированной силе идеи союза «трудящихся и эксплуатируемых масс» всех народов России.

А в практике государственного строительства ленинской группировке удалось добиться, часто с очень большим трудом, сосредоточения реальной власти в центре с таким перевесом сил, что вплоть до 70-х годов власть этнических элит была гораздо слабее центра. Здесь и формирование системы неофициальной власти партии, подчиненной центру, и изобретение номенклатурной системы, гарантирующей контроль за кадрами, и полное подчинение центру прокуратуры и карательных органов, и создание унитарной системы военной власти, «нарезающей» территорию страны на безнациональные военные округа, и политика в области языка и образования.

Надо учесть и оценки западных ученых, которые дотошно изучали историю национально-государственного строительства СССР и очень высоко оценивают тот факт, что советской власти вновь удалось собрать «империю». Модель Советского Союза была *творческим* достижением высшего класса.[39] На целый исторический период укротить силу радикального национализма — это труднейшая задача, которую в тот период советское руководство решило, и сегодня сваливать на него вину за то, что Горбачев и Ельцин под аплодисменты интеллигенции снова разожгли этот радикальный национализм, чтобы разрушить СССР, — признак упадка нашей общественной мысли.

Этнолог К. Янг пишет о «судьбе старых многонациональных империй в период после Первой мировой войны»: «В век национализма классическая империя перестала быть жизнеспособной формой государства... Австро-Венгрия сжалась в своих границах до размеров ее германского ядра, некогда могущественное Оттоманское государство, в течение многих веков занимавшееся «одомашниванием» находившегося в его пределах религиозного и этнического многообразия, сократилось до размеров

своей внутренней турецкой цитадели, которая была затем перестроена по модели утвердившейся национальной идеи. И только гигантская империя царей оказалась в основном спасенной от распада благодаря Ленину и с помощью умелого сочетания таких средств, как хитрость, принуждение и социализм.

Мощно звучавшая в границах «тюрьмы народов» национальная идея оказалась кооптированной и надолго прирученной при посредстве лапидарной формулы «национальное по форме, социалистическое по содержанию»... Первоначально сила радикального национализма на периферии была захвачена обещанием самоопределения и затем укрощена утверждением более высокого принципа пролетарского интернационализма, с помощью которого могла быть создана новая и более высокая форма национального государства в виде социалистического содружества. Последнее определяется Коннором в его плодотворном исследовании (1984) «национального вопроса» в государствах с социалистическим образом правления как «длительный процесс ассимиляции на диалектическом пути территориальной автономии для всех компактных национальных групп» [96, с. 95-96].

Федерация не либерально-демократическая, а советская, была не просто возможна, она стала свершившимся фактом — потому, что накладывалась на единую систему национальной и социальной политики развития и соединения народов, при сохранении их этнического лица. По мере укрепления СССР и всех союзных институтов (партии и идеологии, культуры и науки, школы, армии и правоохранительных органов, хозяйства и образа жизни) набирал силу и процесс объединения народов в большой советский народ. Одновременно и государство становилось объективно более унитарным и внутренне связанным. Эти «массивные» процессы дополнялись тщательным наблюдением за тем, чтобы этничность народов СССР не «взбунтовалась» — равновесие контролировалось с помощью всей системы экономических, административных, культурных, кадровых мер. В критических случаях применялись и репрессии, иногда кровавые (в основном против той части национальных элит, в которой обнаруживался или подозревался заговор против союзного *целого*).

Каждая власть и каждый народ отвечают на тот исторический вызов, который выпал на их долю в их конкретный момент. Большевикам выпала рухнувшая монархическая государственность и разогнанная либералами империя (нация). Большевики сумели восстановить государство, обуздать этнический национализм окраин и снова собрать империю и нацию. Причем собрать с такими отношениями «горизонтального товарищества», что обновленная российская нация в форме советского народа

цельный исторический период была самой крепкой из известных в истории полиэтнических наций.

Нация скрепляется не заклинаниями, а всеми системами *жизнеустройства*. «Большевистская» доктрина и была рассчитана на *соответствующие системы*. Советская нация была крепка, пока действовали системы советского строя — а значит, «большевистская доктрина» была адекватна и эффективна. Магических формул на все случаи не существует. Альянс антисоветских западников и антисоветских патриотов ликвидировал советский строй. Почему же они при этом не произвели адекватных изменений в связях нации, если хотели ее сохранить? Ведь они «рассыпали» ее — по глупости или по злему умыслу. Вот о чем хотелось бы услышать объяснение Н.А. Нарочницкой — не знали «белые» патриоты России, что они делают? А теперь-то хоть знают? Незаметно.

В выступлении Н.А. Нарочницкой есть и вторая важная мысль. Советской и российской модели нациестроительства была поставлена в пример практика Германии! Учитесь, мол, как надо сохранять народы. Это поразительно! Германия к Западу от Эльбы была вся заселена славянскими племенами и народами. Все они стерты с лица земли — уничтожены или ассимилированы. Уцелел один крупный народ — сорбы (сербы-лужичане). Их сейчас около 100 тысяч, все они двуязычны, число носителей их языка как родного трудно определить. Перспективы сохранить свой язык у сорбов невелики, поскольку практически во всех сферах их коммуникации господствует немецкий язык. И это предъявляют России с ее двумя сотнями сохраненных малых народов как пример «лучшего способа сохранить национально-культурное своеобразие»!

Какой же нацией нас зовет статья Н.А. Нарочницкая? Как немцы? А где Бисмарк? Как технически она предлагает ликвидировать в РФ «дробление по национальному признаку»? Ведь если это «дробление», то есть сохранение народами России своих этнических признаков, названо «миной», то скажите, как вы предлагаете с этой «миной» поступить? Похоже, что ее собираются взорвать.

Сейчас можно наверняка сказать, что в России будет продолжено строительство нации *полиэтнической*, собранной вокруг русского ядра. Эта работа ведется уже более пяти веков, и в этом у России опыт, какого не имеет никто в мире. Успех России был основан на особом типе отношений ядра с этническими общностями — «семье народов». В этом была и сила, и хрупкость конструкции. Мы и дальше будем идти по российскому пути, а не по французскому, немецкому или американскому. Проблемы и трудности возникают на каждом из путей, у всех свои, в разные моменты разные. Завидовать нам некому.

Глава 19. Дискуссия о самоопределении среди марксистов накануне революции

В 1914 г. Ленин вступил в очень тяжелый и трудный спор с марксистами (западными и российскими) по вопросу о праве наций на *самоопределение*. Одной из побудительных причин для этого был конфликт Маркса и Энгельса с предыдущим поколением русских революционеров. Как говорилось выше, Маркс и Энгельс представили реакционной саму назревающую революцию в России, если ее социальной базой станет, как предполагали народники, общинное крестьянство, а сама она произойдет не под руководством западного пролетариата. Энгельс предупреждал в 1875 г.: «Русские должны будут покориться той неизбежной международной судьбе, что отныне их движение будет происходить на глазах и под контролем остальной Европы» [88, с. 526].

В 1914 г. было ясно, что война прямо толкает Россию к революции, и для русских актуальным выражением их права на самоопределение было *право на их революцию*. Русским было необходимо право *самим* определить характер, движущие силы и организационные принципы революции, а не делать это «под контролем остальной Европы» и не дожидаться победоносной пролетарской революции на Западе. Но чтобы не входить в конфликт с марксистами России и Запада (или хотя бы смягчить этот конфликт), надо было в дискуссии утвердить этот общий принцип самоопределения наций.

Советское официальное обществоведение затушевало суть конфликта, но в тот момент она была понятна. В большевизме марксисты увидели силу именно *национальную*, ставшую организационным ядром русского сопротивления Западу, который угрожал России превратить ее в периферию своей экономической и культурной системы. Народ, собранный на матрице Российской империи, с этой задачей не справлялся, его приходилось пересобирать на матрице Советского Союза, и эта работа началась задолго до Отрября 1917 г.

Другая причина, по которой большевики утверждали «право наций на самоопределение», заключалась в необходимости сохранить как раз *единство* трудящихся всей Российской империи в революционной борьбе — и на этой основе произвести «пересборку» империи уже в виде будущего Советского Союза. Без признания этого права было бы невозможно, по выражению Ленина, нейтрализовать

попытки «националистического мещанства» расколоть трудящихся разных национальностей.

Впоследствии опыт подтвердил правильность этого анализа. Попытавшись подавить сепаратизм национальных элит под флагом «единой и неделимой России», белые, по выражению историка, «наполюлись на национализм и истекли кровью». Красные, напротив, собрали страну «снизу», как многонациональную «республику Советов», которая была выгодна трудящимся, поддержавшим общую Красную армию против своих «элит».

Ленин изложил все эти соображения в большой работе «О праве наций на самоопределение», написанной в феврале-мае 1914 г. [104]. Здесь совершенно ясно сказано, что признание этого права вовсе не поощряет сепаратизм, а делается «именно в интересах успешной борьбы со всяческим национализмом всех наций..., теснейшего слияния их в интернациональную общность, вопреки буржуазным стремлениям к национальной обособленности». В примечании Ленин поясняет: «Нетрудно понять, что признание марксистами всей России и в первую очередь великороссами *права* наций на отделение несколько не исключает *агитации* против отделения со стороны марксистов той или иной угнетенной нации, как признание права на развод не исключает агитации в том или ином случае против развода» [104, с. 318].

Однако на общемировую политическую арену концепция самоопределения народов была выведена именно в годы Первой мировой войны и стала одной из главных идей XX века, «овладевших массами». В обзоре на эту тему сказано: «Во времена I мировой войны две личности, неожиданно получившие значительное глобальное влияние в области управления государством, В. Ленин и В. Вильсон, придали этому потенциальному разрушителю международного порядка новый нормативный статус. Ленин исходил из чисто тактических целей и верил, что ему удалось ограничить зыбкость и неоднозначность этого феномена прочной оболочкой пролетарского интернационализма и большевистской диктатуры. Семью десятилетиями позже перестройка и гласность взорвали эту оболочку, и вырвавшееся из заключения самоопределение преследует теперь преемников Ленина.

Вильсон, со своей стороны, полагал, что нашел этический принцип для демократического преобразования европейских владений многонациональных империй — Австро-Венгрии, Османской Турции и царской России. Вильсон ни на минуту не предполагал, что подобный принцип может найти применение где-либо за пределами Европы, и был поэтому поражен тем парадом массы рождающихся национальностей, которых он вызвал из небытия своими словами и многие из которых ему ранее

были совершенно неизвестны. В своем последующем выступлении на Сенатской комиссии по международным отношениям он признал: «Когда я произносил эти слова (что все нации имеют право на самоопределение), я произносил их, не зная о том, что существуют национальности, которые приходят к нам день за днем... Вы не знаете и не можете себе представить те переживания, которые я испытываю в результате того, что у многих миллионов человек мои слова пробудили надежды» [96, с. 109-110].

Перед Октябрьской революцией Ленин вернулся к вопросу о самоопределении народов и отделении частей бывшей Российской империи от Советской России. 19-21 октября 1917 г. он подчеркнул: «Мы вовсе отделения не хотим. Мы хотим как можно более крупного государства, как можно более тесного союза, как можно большего числа наций, живущих по соседству с великорусами; мы хотим этого в интересах демократии и социализма, в интересах привлечения к борьбе пролетариата как можно большего числа трудящихся разных наций. Мы хотим *революционно-пролетарского* единства, *соединения*, а не разделения. Мы хотим *революционного* соединения, поэтому не ставим лозунга объединения всех и всяких государств вообще, ибо на очереди дня социальная революция ставит объединение только государств, перешедших и переходящих к социализму, освобождающихся колоний и т.д... Мы хотим, чтобы республика русского (я бы не прочь сказать даже: великорусского, ибо это правильнее) народа *привлекала* к себе иные нации, но чем? Не насильем, а исключительно добровольным соглашением. Иначе нарушается единство и братский союз рабочих всех стран» [152].

Закончив Гражданскую войну и получив поддержку нерусского населения, советское правительство заняло вполне определенную позицию. Сталин заявил в 1923 г.: «Следует иметь в виду, что, помимо права наций на самоопределение, существует также право рабочего класса на укрепление своей власти, и этому последнему праву на самоопределение является подчиненным. Бывают случаи, когда право на самоопределение приходит в столкновение с ним, тогда более высоким правом выступает право рабочего класса, взявшего бразды правления для укрепления своей власти. В таких случаях — и это надо сказать прямо — право на самоопределение не может и не должно служить препятствием для использования рабочим классом своего права на диктатуру».

Глава 20. Противоречивость позиции большевиков в дискуссии о самоопределении (1914 г.)

Также ценно для рассмотрения нашей темы то столкновение большевиков с западными и российскими марксистами социал-демократами, которое произошло за год до краха II Интернационала — по вопросу о праве наций на самоопределение. Для нашей темы эта дискуссия интересна тем, что она наглядно показала, какую сложную задачу представляло собой утверждение права наций на самоопределение без того, чтобы вступить в открытый конфликт с положениями марксизма. Ведь Ленину пришлось доказывать, что это право якобы вытекает из буквы и духа марксизма — притом, что его оппоненты (Роза Люксембург, бундовцы, меньшевики и Троцкий) тут же выложили ему соответствующие труды Маркса и Энгельса. И в этих трудах вопросу о праве наций на самоопределение была посвящена не часть фразы, как в постановлении Международного конгресса социалистических рабочих партий в Лондоне (1896), а многократные подробные рассуждения.

Ленин отклонил попытку навязать ему разбор этих трудов, применив полемический прием: мол, классики, конечно, правы — для тех конкретных стран и моментов. А мы-то, мол, говорим о России и совсем в иной момент. Он пишет: «Нам говорят..., что Маркс вот так-то оценивал польское и чешское национальное движение в конкретных условиях 1848 года (страница выписок из Маркса), что Энгельс вот так-то оценивал борьбу лесных кантонов Швейцарии против Австрии... (страничка цитат из Энгельса с соответствующим комментарием из Каутского), что Лассаль считал реакционной крестьянскую войну в Германии в XVI веке и т.п... Читателю интересно еще и еще раз вспомнить, как именно Маркс, Энгельс и Лассаль подходили к разбору конкретно-исторических вопросов отдельных стран. И, перечитывая поучительные цитаты их Маркса и Энгельса, видишь с особой наглядностью...» [104, с. 265].

В общем, выходило, что Ленин подходит к вопросу именно так, как это делали Маркс и Энгельс, а его оппоненты не желают или не умеют пользоваться методологией марксизма. Он говорил о «лжемарксизме Плеханова и Мартова», а они столбенели от возмущения. Но Ленин мог применять этот демагогический прием только потому, что в 1914 г. ни у кого в партии, кроме десятка начетчиков, не было ни

времени, ни желая копаться в этих выписках из трудов классиков. В теорию люди тогда не вникали, а Ленина поддержали исходя из доводов рассудка. Ленин, обладая достаточным авторитетом в партии, просто *подавил* оппонентов, хотя по сути они были правы — налицо был отход большевиков от марксизма в важном и принципиальном вопросе.

Отход этот давался нелегко, и Ленин прикрывал его несколькими слоями маскировки, например, пространными рассуждениями о русском великодержавном шовинизме, об угнетающих и угнетенных нациях, о крестьянских национальных предрассудках и т.д.

Не будем здесь разбирать подробно миф о «тюрьме народов» и «бесправных инородцах». Упомянем лишь такой общеизвестный факт, что «инородцы» нехристианских вероисповеданий вообще никогда не состояли в крепостной зависимости, а для крестьян прибалтийских народов крепостная зависимость была отменена еще при Александре I. В тот момент, когда в США шла борьба за отмену рабства насильно завезенным туда инородцам, в России происходило освобождение от крепостной зависимости большей части «имперской нации».

Менее известен тот совершенно немыслимый в «западных» империях факт, что в Российской империи борьба инородцев за свои права начиналась чаще всего при попытках правительства *уравнять* их в правах с русскими. Так, в начале 90-х годов XX века как пример национального угнетения в России приводили крупную волну эмиграции российских немцев в 80-е годы XIX в. Но та эмиграция была вызвана именно тем, что на немецких колонистов распространили общий статус *русских* сельских жителей (см. [150, с. 79]).

Приходилось даже петъ дифирамбы революционному духу поляков: «Пока народные массы России и большинства славянских стран спали еще непробудным сном..., *шляхетское* освободительное движение в Польше приобретало гигантское, первостепенное значение с точки зрения демократии не только всероссийской, не только всеславянской, но и всеевропейской» [104, с. 297].

Именно в связи с дискуссией о самоопределении Ленину пришлось принять тезис марксизма о делении народов на прогрессивные и реакционные (и, как следствие, принять антироссийскую трактовку событий 1848 г.). Ленин пишет: «Нередко ссылаются, — например, в последнее время немецкий шовинист Ленч — на то, что отрицательное отношение Маркса к национальному движению некоторых народов, например, чехов в 1848 г., опровергает необходимость признания самоопределения наций с точки зрения марксизма. Но это неверно, ибо в 1848 г. были исторические и политические

основания различать «реакционные» и революционно-демократические нации. Маркс был прав, осуждая первые и стоя за вторые. Право на самоопределение есть одно из требований демократии, которое, естественно, должно быть подчинено общим интересам демократии. В 1848 и следующих гг. эти общие интересы состояли в первую голову в борьбе с царизмом» [153].

Насколько жесткой была дискуссия, видно из того, что одновременно с уступками и реверансами Ленин использовал и *скрытые угрозы*, навверняка понятные его оппонентам. Так, он вскользь упомянул о большом письме Энгельса Марксу от 23 мая 1851 г., в котором тот в крайне нелестных выражениях говорит о Польше как о никчемной и «конченной» нации [31]. Его упоминает Ленин в работе «О праве наций на самоопределение» (февраль-май 1914 г.), в которой он отказывается от установок западных марксистов по национальному вопросу. Он упоминает его вскользь, не идя на прямую полемику с классиками. Будь это письмо обнародовано в России, это вызвало бы шок в среде не только польских марксистов, но и во всем социал-демократическом движении России. Этому оппоненты Ленина, конечно, не хотели.

В качестве уступки марксистам Ленин дал высокую оценку шляхетского освободительного движения. А в примечании к этой оценке он похвалил «демократа-революционера Черньпшевского, который тоже (подобно Марксу) умел оценить значение польского движения», но зато разнес в пух и прах народника «украинского мещанина Драгоманова, который выражал точку зрения крестьянина, настолько еще дикого, сонного, приросшего к своей куче навоза, что из-за законной ненависти к польскому пану он не мог понять значения борьбы этих панов для всероссийской демократии» [104].

Будучи вынужденным опереться в дискуссии с марксистами II Интернационала (в том числе с российскими) на тезис Маркса и Энгельса о прогрессивных и реакционных народах, Ленин шел на *размывание* принципиальных нравственных положений революционного, демократического и национального движений. Ведь из этого тезиса вытекала возможность занимать и антинациональную, и антисоциальную позицию, оправдывая ее специфическими условиями момента и высшими принципами *прогресса* и *демократии*.

Вот развернутая и внутренне противоречивая концепция, которую выстроил Ленин в ходе дискуссии о самоопределении: «Как известно, Маркс стоял за независимость Польши с точки зрения интересов европейской демократии в ее борьбе против силы и влияния — можно сказать: против всецелия и преобладающего реакционного влияния — царизма. Правильность этой точки зрения получила самое

наглядное и фактическое подтверждение в 1849 г., когда русское крепостное войско раздавило национально-освободительное и революционно-демократическое восстание в Венгрии... Поэтому и только поэтому Маркс и Энгельс были против национального движения чехов и южных славян... Маркс и Энгельс *противопологали* тогда прямо и определенно «целые реакционные народы», служащие «русскими форпостами» в Европе, «революционным народам»: немцам, полякам, мадьярам. Это факт. И этот факт был *тогда бесспорно* верно указан: в 1848 г. революционные народы бились за свободу, главным врагом которой был царизм, а чехи и т. п. действительно были реакционными народами, форпостами царизма.

Что же говорит нам этот конкретный пример, который надо разобрать конкретно, если хотеть быть верным марксизму? Только то, что 1) интересы освобождения нескольких крупных и крупнейших народов Европы стоят выше интересов освободительного движения мелких наций; 2) что требование демократии надо брать в общеевропейском — теперь следует сказать: мировом — масштабе, а не изолированно... Отдельные требования демократии, в том числе самоопределение, не абсолюты, а частичка общедемократического (ныне: общесоциалистического) мирового движения. Возможно, что в отдельных конкретных случаях частичка противоречит общему, тогда надо отвергнуть ее» [143].

Почти очевидно, что в интересах русской революции и даже будущего советского строя, следовало бы не «быть верным марксизму», а прямо отмежеваться от позиции Маркса и Энгельса 1848 года. Не было в ней ничего *тогда бесспорного*, а был жесткий евроцентризм и шовинизм. В 1914 г. пойти на такой шаг было невозможно, но сегодня следует трезво признать, что эти реверансы и уступки Ленина были далеко не безобидны — на его текстах учились партийные кадры, особенно уже в стабильный период. Все это вышло из голов партийной элиты КПСС в виде гноя перестройки, который отравил общественное сознание и погубил советский строй.

Глава 21. Дискуссии по национальному вопросу в связи с войной (1914-1915 гг.)

С началом Первой мировой войны перед русскими марксистами встала сложная задача — определить свои стратегические установки в условиях краха II Интернационала. Ситуация ставила фундаментальные вопросы. Ленин писал: «Крах II Интернационала выразился всего рельефнее в вопиющей измене большинства официальных социал-демократических партий Европы своим убеждениям... Но этот крах, означающий... превращение социал-демократических партий в национал-либеральные рабочие партии, есть лишь результат всей исторической эпохи II Интернационала, конца XIX и начала XX века» [154, с. 262].

Первое из этих утверждений Ленина является, можно сказать, политическим, а не аналитическим. Ленин говорит о «вопиющем» факте — иначе говоря, о крупном общественном явлении. А объяснять его приходится *изменой*, категорией нравственной, сводимой к личным качествам. На деле же речь идет о принципиальном *выборе* множества людей, целого социального слоя — левой политической элиты всей Европы. Эту элиту составляли люди не просто воспитанные в марксизме и его прекрасно знающие, но и люди, воспитанные в личном контакте с Марксом и Энгельсом, их ближайшие ученики и соратники.

«Вопиющая измена своим убеждениям» такого масштаба представляется совершенно неправдоподобной. Другая, более логичная версия заключается в том, что все эти люди как раз и *следовали* своим марксистским убеждениям. Национал-либеральный и шовинистический характер, проявление которого Ленин называет изменой, изначально был присущ рабочим партиям Запада, он лишь был идеологически оформлен и подогрет всей совокупностью утверждений Маркса и Энгельса по национальному вопросу. В более спокойные времена он был прикрыт классовой риторикой и повседневными проблемами классовой борьбы, а при глубоком общеевропейском кризисе вышел на первый план — без всякой «измены» установкам марксизма.

Эта вторая версия Лениным не просто отмечается, но даже и не оглашается. Это понятно, потому что в противном случае он должен был бы открыто порвать с марксизмом в ряде его фундаментальных

положений. Но тогда у него не осталось бы возможности даже вести дискуссию, его бы просто не стали слушать, и он сразу оказался бы в ситуации Бакунина и был бы исторгнут из социал-демократической среды внутри и вне России. Начать собирать III Интернационал и продолжать укреплять фракцию большевиков в российской социал-демократии можно было только под знаменем марксизма, объявив практически всех действительных марксистов *ренегатами*.

Но и это означало полный разрыв почти со всей левой интеллигенцией России и Европы, которая реально знала и понимала марксизм и следовала его установкам. После этого разрыва Ленин мог опираться только на ту массу «красных», которые усвоили в марксизме лишь общий освободительный пафос («ценности равенства и справедливости») и десяток лозунгов — и, будучи полностью заняты злободневными задачами политической борьбы, уже не имели времени, чтобы заняться изучением марксизма (вплоть до 60-80-х годов XX века, после которых и произошла вторая «вопиющая измена своим убеждениям» всей европейской и советской марксистской элиты, уже «коммунистической»).

Разрыв с марксистской элитой, на который пришлось пойти Ленину в 1914-1915 гг., был настолько глубок и непримирим, что не будет преувеличением считать его неявным объявлением той Гражданской войны, которая состоялась в 1918 г. между большевистским и национал-либеральным крыльями русской революции.

Перед Лениным стояла почти неразрешимая задача — порвать с марксистской элитой, сохранив *знамя марксизма* в своих руках и представив предателями именно действительных марксистов. Не пойти на этот разрыв он также не мог, ибо марксисты выложили на стол именно те «национал-либеральные» и убийственно *антирусские* установки марксизма, которые до этого момента удавалось спрятать от революционного поколения, вышедшего на арену в России уже в XX веке. «Старая гвардия» по главе с Плехановым в момент смены поколений спрятала эти установки Маркса и Энгельса в архив, но когда началась война между «пролетариями всех стран» и встал вопрос об историческом выборе, эта «старая гвардия» нарушила негласное соглашение и вытаскала тему «войны народов, а не классов» для дебатов. Потому-то Ленин и покрыл Плеханова и Каутского всеми ругательствами, которые только терпела бумага.

В этот момент не порвать *на деле* с ортодоксальным марксизмом было невозможно. Это значило бы порвать с *русским народом* и поставить крест на пролетарской революции в России. Ведь теперь, когда Плеханов размахивал текстами Маркса и Энгельса, где черным по белому говорилось, что миро-

вая пролетарская революция сотрет с лица земли русский народ и даже само его имя, никаких шансов возглавить русскую революцию у *ортодоксальной* марксистской партии не было. Поэтому Ленину пришлось от «старой гвардии» грубо отмежеваться, а тем пришлось всеми средствами удерживать свои организации от поддержки советской революции, ограничиваясь участием лишь в той революции, которую санкционировали Маркс и Энгельс, то есть только в свержении царя и развале Российской империи.

Задача Ленина реально была исключительно сложной. Нужно было выставить *изменниками* марксизма тех, кто как раз исходил из принципиальных положений марксизма, не отступая ни от его буквы, ни от его духа. Ленин был вынужден даже отбивать порочащие Маркса формулировки со стороны эсеров, которые оправдывали свою позицию во время войны ссылками на установки Маркса 1848 года. Здесь Ленин оказался в очень затруднительном положении — ему пришлось *принять неприемлемые* установки Маркса, и здесь его аргументы выглядят неубедительно.

Он писал: «Гарденин [В.М. Чернов] в «Жизни» называет «революционным шовинизмом», но все же шовинизмом со стороны Маркса, что он стоял в 1848 г. за революционную войну против показавших себя на деле контрреволюционными народов Европы, именно: «славян и русских особенно». Такой упрек Марксу доказывает только лишний раз оппортунизм (или — а вернее *и* — полную несерьезность) сего «левого» социал-революционера. Мы, марксисты, всегда стояли и стоим за *революционную* войну против *контрреволюционных* народов. Например, если социализм *победит* в Америке или в Европе в 1920 году, а Япония с Китаем, допустим, двинут *тогда* против нас — сначала хотя бы дипломатически — своих Бисмарков, мы будем за наступательную, революционную войну с ними. Вам это странно, г. Гарденин? Революционер-то вы вроде Ропшина!» [154, с. 226].

Ленин понимал, насколько рискованным будет для его позиции любой реалистичный пример, и привел в качестве аргумента совершенно фантастическую ситуацию — в США в 1920 г. происходит социалистическая революция, Китай пыгается ее задушить при помощи дипломатического давления «на нас», и тогда «мы» начинаем против Китая войну! Наверное, г. Гарденин с Ропшиным немало удивились.

Лучше взять реальную ситуацию: февраль 1917 г., Российская империя распадается, в Грузии происходит революция, к власти приходит марксистское социалистическое правительство, которое стремится в «европейскую семью народов», а против него новая «реакционная азиатская деспотия» в лице

советской России, руководимой Лениным, посылает свои войска, чтобы эту революцию задуть. Это будет ситуация, структурно близкая 1848 году. В обоих случаях речь идет о «революционном шовинизме» прозападных элит — в Австрии они угнетали славянских крестьян, а в Грузии грузинских. В случае Австрии за них горой стоял Маркс, а в случае Грузии — марксисты типа Аксельрода.

А как оценить «наступательную, революционную войну» против русской деспотии прогрессивных супер-революционных поляков под командой социалистического вождя Пилсудского? Это уж почти точно 1920 год — только не в США, а прямо на наших глазах. Интересно, что бы написал по этому случаю Энгельс.

Защищая Маркса, Ленин вынужден нести большие теоретические и политические потери. Ему приходится вставать на защиту буржуазного национализма и расистской концепции реакционных народов. И ради этого выдвигать очень уязвимый тезис о том, что раньше буржуазия была прогрессивной, значит, и ее войны были прогрессивными: «Кто ссылается теперь на отношение Маркса к войнам эпохи *прогрессивной* буржуазии и забывает о словах Маркса «рабочие не имеют отечества» — словах, относящихся именно к эпохе реакционной, отжившей буржуазии, к эпохе социалистической революции, тот бесстыдно искажает Маркса» [74, с. 321].

Тут неточность уже в том, что «пролетарии не имеют отечества» сказано в 1847 г., а «войны эпохи прогрессивной буржуазии», на которые ссылается Ленин, велись в 1854-1855, 1870-1871 и 1876-1877 гг. Второй по меньшей мере сомнительный пункт — утверждение, будто российская буржуазия была «реакционной, отжившей». Буквально через три года после написания Лениным этих строк эта самая «реакционная, отжившая» буржуазия организовала Февральскую революцию, которая сокрушила Российскую империю и ее монархию. Да и считать Крымскую войну 1854-1855 гг. прогрессивной войной прогрессивной западной буржуазии было очень большой натяжкой.

Делая реверансы «знамени марксизма» и, разумеется, будучи еще под его большим влиянием, Ленин не мог избежать необходимости делать антироссийские утверждения. Подкрепить их логикой и здравым смыслом было невозможно, и если бы они в тот момент стали известны широким слоям даже революционной интеллигенции, то сильно повредили бы большевикам (а советскому строю в 70-80-е годы повредили реально). Например, называя европейских социал-демократов ренегатами марксизма, Ленин делал упор на том, что они совершили измену, «игнорируя или отрицая основную истину социализма, изложенную еще в «Коммунистическом Манифесте», что рабочие не имеют отечества»

[155]. Называя этот двусмысленный тезис «Манифеста» *основной истиной социализма*, Ленин входил в противоречие с практическими условиями пропаганды социализма в России — объяснить этот тезис русским рабочим и крестьянам было бы невозможно, этот тезис приходилось «прятать».

Более того, Ленин называет «основной истиной социализма» совершенно неверное положение, навеянное утопическим представлением о народах и нациях, принятом на ранних этапах Просвещения. Постулат «Коммунистического манифеста» — «пролетарии не имеют отечества» — представляет пролетариат как некий лишенный этничности глобальный *избранный народ*. Что этот постулат неверен, история показывала раз за разом, начиная с франко-прусской войны и до сего дня. Более того, и во времена написания «Манифеста» пролетариат Англии не мог «не иметь отечества», поскольку эксплуатировал пролетариев Индии и других колоний. Есть основания допустить, что в «Манифесте» имеются в виду «пролетарии *всех цивилизованных стран*», а вовсе не всяких.

Сейчас, когда об этой проблеме заходит спор в кругу марксистов, большинство соглашаются с тем, что этот постулат неверен в приложении к *реальным* пролетариям, но речь, мол, идет о «модели пролетария», созданной Марксом и Энгельсом. Модель эта полезна, надо только не забывать, что речь идет именно о модели. Такой подход не годится. Если в модель вводится заведомо неверный элемент, которым нельзя пренебречь, то модель становится неадекватной и приводит к неверным выводам. В данном же случае речь идет о ключевом элементе модели («основной истине социализма»).

К тому же хорошо известно, что смелые (или заведомо неверные) допущения, вводимые в модель, *забываются* почти моментально. Поэтому автор модели обязан предусмотреть блокирующие механизмы, *запрещающие* применение модели без сознательного учета этих исходных допущений. Никаких оговорок и тем более автоматически действующих сигналов тревоги в «Манифест» Марксом и Энгельсом введено не было. Это — недопустимый дефект модели, тем более создаваемой как идеологический инструмент. Положение осложняется еще и тем, что попытки произвести «раскопки смыслов» марксизма с целью обозначить границы применимости его моделей многими марксистами рассматривались и рассматриваются как святотатство, так что мало у кого возникает желание с этим связываться.

Надо сказать, что следуя необходимости остаться в лоне марксизма, Ленин был вынужден делать утверждения не просто неверные и не просто антирусские, но и противные русской культуре. Это проявляется в его поддержке «прогрессивных буржуазных войн». Он пишет: «Прежние войны, на

которые нам указывают, были «продолжением политики» многолетних национальных движений буржуазии, движений против чужого, инонационального гнета и против абсолютизма (турецкого и русского). Никакого иного вопроса, кроме вопроса о предпочтительности успеха той или иной буржуазии, тогда и быть не могло: к войнам подобного типа марксисты могли *заранее звать* народы, *разжигая* национальную ненависть, как звал Маркс в 1848 г. и позже к войне с Россией, как разжигал Энгельс в 1859 году национальную ненависть немцев к их угнетателям, Наполеону III и к русскому царизму» [74, с. 226].

Тут мы имеем яркий образец пропаганды *буржуазного национализма* как антипода *пролетарского интернационализма* — со ссылкой на Маркса и Энгельса. Но ведь русская культура отвергала буржуазный национализм! Не разжигал русский просвещенный слой *национальной ненависти* к французам в 1805-1812 годах, не разжигал Лев Толстой *национальной ненависти* к англичанам в «Севастопольских рассказах», не разжигали в России *национальной ненависти* к туркам в 1877 г. — и даже к немцам в 1914 г. Когда группа виднейших немецких ученых в 1914 г. издала совершенно русофобский и антифранцузский манифест, российский министр просвещения поставил вопрос об исключении из числа почетных членов Императорской Академии наук конкретно поставивших свои подписи немецких ученых (Нернста, Планка и др.). Французы их из своей Академии исключили моментально, а русские академики решили этого не делать. Зачем, мол, разжигать национальную ненависть. Немцы есть немцы, им иначе нельзя, а нам-то зачем так поступать! И царь не стал настаивать на исключении.

И ведь всего через пять лет сам же Ленин принимал меры к тому, чтобы в советско-польской войне не возникало *национальной ненависти*. В мае 1920 г. он пишет в Секретариат ЦК РКП(б): «Предлагаю директиву: все статьи о Польше и польской войне просматривать ответственным редакторам под их личной ответственностью. Не пересаливать, т.е. не впадать в шовинизм, всегда выделять панов и капиталистов от рабочих и крестьян Польши» [156, с. 193]. [40]

Ленин продолжает свою мысль в оправдание Маркса: «Нельзя быть марксистом, не питая глубочайшего уважения к великим буржуазным революционерам, которые имели всемирно-историческое право говорить от имени буржуазных «отечеств», поднимавших десятки миллионов новых наций к цивилизованной жизни в борьбе с феодализмом» [там же].

Но ведь на глазах у Ленина происходила именно великая буржуазная революция в России, программа которой и предполагала поднять «десятки миллионов к цивилизованной жизни в борьбе с феода-

лизмом». Где же уважение к этим революционерам — Милюкову и Савинкову, Корнилову и Колчаку, Керенскому и Аксельроду? Почему им отказано в праве «говорить от имени буржуазных отечеств»? Потому что это революция в России, а не во Франции? Или потому, что Ленин уже не марксист?

Глава 22. Конфликт с марксизмом и лозунг поражения своего правительства в войне

Самой трудной задачей для Ленина в 1914-1915 гг. было найти приемлемую формулу разрыва с социал-шовинизмом марксистов II Интернационала. Проблема определения позиции партии большевиков в условиях мировой войны вставала впервые. И тут главный конфликт возникал уже вовсе не из-за «измены» марксистов, которые в каждой стране решили поддержать свои национальные буржуазные правительства в большой «войне народов».

Большевики оказались в зоне столкновения двух уровней массового сознания самого русского народа — его *чаяний* (коллективного бессознательного) и *расхожих мнений*, настроений момента. Пойти против чаяний — значит потерпеть стратегическое поражение, оскорбить возбужденные настроения — значит потерпеть поражение тактическое, которое в быстротекущей обстановке может стать непоправимым.

Ленин верно понял народные чаяния и сделал радикальный и небывалый выбор — принял установку на *поражение своего правительства в империалистической войне* и на *превращение войны империалистической в войну гражданскую*. Дело тут не только в интуиции, а и в наличии достаточных признаков для надежного прогнозирования хода событий. Крестьянство России не одобрило войну, тем более что вся тяжесть издержек и потерь от войны легла именно на крестьянство русских областей. Государство входило в войну в состоянии общего кризиса и сплотить общество патриотическим проектом не могло. Раскол с течением времени мог только углубляться, и шансы монархического режима «выйти живым» из этого кризиса были очень невелики.

Режим попал в порочный круг: для ведения войны он был вынужден поставить под ружье огромную армию — 15 миллионов крестьян и рабочих. В эту армию пришло и получило оружие поколение, которое подростками пережило большие и малые «кровавые воскресенья» 1905-1907 гг. Обговорив в армии все свои проблемы и организовавшись, это поколение неминуемо повернуло бы оружие против «белой кости», поддержав начавшуюся «молекулярную» гражданскую войну в тылу. Это в те годы всем было очевидно, и все обдумывали свой выбор в грядущем столкновении.

Предвидение Ленина осуществилось — война империалистическая превратилась в гражданскую сама собой, без всякого «заговора». М.М. Пришвин записал в дневнике 21 мая 1917 г.: «По городам и селам успех имеет только проповедь захвата внутри страны и вместе с тем отказ от захвата чужих земель. Первое дает народу землю, второе дает мир и возвращение работников. Все это очень понятно: в начале войны народ представлял себе врага-немца вне государства. После ряда поражений он почувствовал, что враг народа — внутренний немец. И первый из них, царь, был свергнут. За царем свергли старых правителей, а теперь свергают всех собственников земли. Но земля неразрывно связана с капиталом. Свергают капиталистов — внутренних немцев» [6].

Таким образом, надо без эмоций признать, что выдвижение революционной программы в самом начале войны было *стратегически* правильным выбором. Направление массивных, «тектонических» процессов в изменении массового сознания народов России было определено верно.

Рациональные, основанные на расчете основания для этого выбора Ленину дала также работа над книгой «Империализм как высшая стадия капитализма», которую он закончил в 1916 г. в Цюрихе. Эта работа показала, что переход капитализма в стадию империализма сделал развитие мировой системы, построенной по типу «центр—периферия», крайне *неравновесным*. Центр получил возможность «сбрасывать» кризисы на периферию. Россия в конце XIX и начале XX века была именно страной *периферийного* капитализма. А внутри нее крестьянство было как бы «внутренней колонией» — периферийной сферой собственных капиталистических укладов. Это сделало Россию «слабым звеном» в системе мирового капитализма. Отсюда следовал надежный вывод, что кризис, порожденный мировой войной, станет для сословной России невыносимым.

Второй вывод заключался в том, что при углублении российского кризиса западные союзники по военной коалиции будут не только «сбрасывать» в России часть своего кризиса, но и обязывать Россию продолжать войну, «тратя» ее ресурсы и население. Выход из войны станет для России вопросом жизни и смерти, и выход этот будет возможен только через революцию.

Так и произошло, «западники» (кадеты и меньшевики), которые требовали продолжать войну и выполнять свои обязательства перед Антантой, полностью потеряли поддержку крестьянства, и выход из войны оказался логично сцеплен с советской революцией. Она отвечала *общенациональным* интересам.

Виднейший русский химик и государственный деятель генерал В.Н. Ипатьев в своем большом двухтомном труде пишет о том времени: «Продолжение войны угрожало полным развалом государства и вызывало крайнее раздражение во всех слоях населения... [Либеральные и почти все левые партии требовали продолжения войны]... Наоборот, большевики, руководимые Лениным, своим лейт-мотивом взяли требование окончания войны и реальной помощи беднейшим крестьянам и рабочим за счет буржуазии... Надо удивляться талантливой способности Ленина верно оценить сложившуюся конъюнктуру и с поразительной смелостью выдвинуть указанные лозунги, которым ни одна из существовавших политических партий в то время не могла ничего противопоставить... Можно было совершенно не соглашаться со многими идеями большевиков. Можно было считать их лозунги за утопию, но надо быть беспристрастным и признать, что переход власти в руки пролетариата в октябре 1917 г., проведенный Лениным и Троцким, обусловил собой спасение страны, избавив ее от анархии и сохранив в то время в живых интеллигенцию и материальные богатства страны» [157].

Но в 1914 г. для массового сознания, возбужденного началом войны и призывом в армию, идея *поражения в войне* была, конечно, шокирующей. А ведь этот выбор был сделан Лениным уже в сентябре 1914 г. Он писал тогда: «Для нас, русских с.-д., не может подлежать сомнению, что с точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России наименьшим злом было бы поражение царской монархии, самого реакционного и варварского правительства, угнетающего наибольшее количество наций и наибольшую массу населения Европы и Азии» [155].

Но это же государственная измена! В официальной советской истории вся эта коллизия освещалась скороговоркой, как что-то несущественное. На деле политический риск при принятии этого решения был очень велик. Даже сейчас наши марксисты и патриоты-коммунисты стараются смягчить его остроту, говоря, что речь шла о лозунге «поражения всех правительств». Это не так, сегодня нам не надо смягчать и упрощать противоречий того времени. Работа Ленина «О поражении своего правительства в империалистской войне» [158] была написана 26 июля 1915 г., через два месяца после работы «Крах II Интернационала», в которой было зафиксировано, что *ни одна* европейская социал-демократическая партия не заняла пораженческой позиции. Поэтому Ленин и пишет, что «русские социал-демократы должны были первыми выступить с «теорией и практикой» лозунга поражения».

Надо признать, что лозунг *поражения в войне* был предельно радикальным, так что и сегодня вряд ли найдется человек, который легко с ним согласится. Речь шла о том, чтобы не просто желать пора-

жения своему правительству, но и *содействовать такому поражению*. Ленин объясняет: «Кто пишет против «государственной измены», как Буквоед, против «распада России», как Семковский,[41] тот стоит на буржуазной, а не пролетарской точке зрения. Пролетарий *не может* ни нанести классового удара своему правительству, ни протянуть (на деле) руку своему брату, пролетарию «чужой», воюющей с «нами» страны, *не совершая* «государственной измены», *не содействуя* поражению, не помогая *распаду* «своей» империалистской «великой» державы» [158, с. 290].

Другое дело — формы «содействия». Речь идет не о «вредительстве», а об отказе от классового мира, о продолжении революционной деятельности. Ленин уточняет: «Превращение империалистской войны в гражданскую не может быть «сделано», как нельзя «сделать» революции, — оно *вырастает* из целого ряда многообразных явлений, сторон, черточек, свойств, последствий империалистской войны. И такое вырастание *невозможно* без ряда военных неудач и поражений тех правительств, которым наносят удары *их* собственные угнетенные классы» [158, с. 289].

Как *прогноз*, эти представления оказались верными — через полтора года все именно так и произошло. Никакого практического влияния на ход событий в России эти работы Ленина не оказали и, будучи опубликованными в Швейцарии, не были доведены до сведения даже политически активной левой интеллигенции в Петербурге (насколько можно судить по воспоминаниям некоторых революционных студентов, эти работы до активистов партии не дошли). Это, видимо, было наилучшим выходом из сложного положения, ибо идея содействовать поражению России в 1915 г. наверняка оттолкнула бы от большевиков значительную часть интеллигенции и рабочих.

Но, конечно, идея способствовать поражению своей страны в войне привела к душевному конфликту у части партийного актива — патриотическое чувство столкнулось с идеологической доктриной. Это расщепление сознания впоследствии привело к разногласиям и столкновениям уже внутри общества старых большевиков. Гражданская война устранила с политической арены либералов-западников, которые вели идеологическую борьбу против *империи*, но космополитическое крыло большевиков, которое приняло у них эстафету, продолжало разрушение символов империи. Ненависть этой части большевиков к государству России была во много навеяна той доктриной марксизма, которой они были искренне преданы. Хотя после Октября большевикам пришлось заняться государственным строительством и ввести в свою риторику понятие *социалистического отечества*, инерция антигосударственных установок была очень велика.

Вот что писал активный деятель «правой оппозиции» М. Рютин (очень популярный во время перестройки как один из убежденных антисталинистов) в своей автобиографии 1 сентября 1923 г.: «Я стал самым непримиримым пораженцем. Я с удовлетворением отмечал каждую неудачу царских войск и нервничал по поводу каждого успеха самодержавия на фронте. Обосновать свою точку зрения к тому моменту я мог вполне основательно. Теоретически я чувствовал себя достаточно подготовленным: мною уже были проработаны все главные произведения Плеханова, Каутского, Меринга, Энгельса, Маркса. К концу 1913 г. я проработал все три тома «Капитала», исторические работы Маркса, все важнейшие труды Энгельса» [159].

Антирусский и антигосударственный пафос М. Рютина прямо вытекал из трудов Маркса и Энгельса. Поэтому вести борьбу с такими взглядами внутри партии было трудно, пока не «наросло» новое массовое поколение большевиков, уже из молодежи.

Для нашей темы это столкновение Ленина с социал-демократами, стоявшими на позициях марксизма, служит подтверждением тезиса о том, что и в XX веке главными субъектами крупномасштабных исторических процессов оказываются не классы, а народы. Марксисты это знали. Ленин принял верное решение не потому, что верной оказалась его модель *классовой борьбы* в России, а потому, что войны не желал русский *народ*. Он уже в 1905-1907 гг. определенно отверг и национал-либерализм, и социал-шовинизм как основу своего «большого проекта». Рабочий класс западноевропейских стран, напротив, пошел на заключение пактов о национальном согласии на основе социал-шовинизма для ведения империалистической войны.

Глава 23. Маркс и мироощущение русского народа

В первых разделах книги говорилось о том, что отношение Маркса и Энгельса к русским как *реакционному* народу было вызвано действиями царской России при подавлении революции 1848 г. в Западной Европе и другими подобными действиями, наносящими ущерб Западу (как, например, победа над наполеоновской Францией). На самом деле эти действия — лишь небольшая часть тех оснований, которые имели Маркс и Энгельс для их отрицательного отношения к русским. За последние двадцать лет антисоветские марксисты в России и часть их коллег на Западе предъявили русским (и консерваторам, и большевикам) весь набор обвинений «от марксизма». Он представляет собой целую мировоззренческую систему.

Обращение к текстам Маркса и Энгельса по главным пунктам этих обвинений приводит к выводу, что марксистская доктрина в ее классической форме была *системным отрицанием* мировоззренческой матрицы, на которой и был собран русский народ. Получается, что сам образ русского народа, верно схваченный проницательным умом Маркса, был врагом главных смыслов его учения. Вот в чем корень русофобии Маркса, а за ним и Энгельса. Поэтому историческая необходимость принять марксизм за руководящее учение, перед которой оказались революционные движения в России, привела к глубоким и даже трагическим деформациям в доктринах и в практике этих движений.

Программы революции выработывались и решения принимались под воздействием мощного, убедительного и художественно изложенного учения, которое отвергало важнейшие стороны народного бытия того общества, в котором и разыгрывалась драма революции. Русским революционерам приходилось вести людей на борьбу под знаменем марксизма — и в то же время охранять сознание этих людей от марксизма. Это порождало множество расколов, измен, братоубийственных конфликтов, а потом и репрессий. Сейчас мы можем сравнительно спокойно перечислить главные точки, в которых произошли столкновения между марксизмом и основаниями российской жизни и культуры. Рассмотрим их очень кратко, в качестве резюме этой книги и, быть может, плана для более подробного обсуждения.

Надо говорить о самых важных частях мировоззренческой матрицы, на которой был собран «имперский» русский народ — *православия*, *государственности* и *общинности*. Но начнем с того, что являет-

ся их подосновой — с русского представления о человеке (антропологии) и с культуры жизнеустройства главного антропологического типа России — крестьянства.

Представление о человеке

Чтение основных трудов Маркса создает картину, которую огрубленно можно выразить так. Маркс выводит свои представления о человеке и обществе из модели *индивида*, как она сложилась в программе Просвещения. Только у Маркса индивид является продуктом *гражданского общества* и с момента своего возникновения скован разделением труда и порожденной этим разделением частной собственностью. Эти оковы индивид носит в течение всего периода предыстории, вплоть до мировой пролетарской революции, которая и устранил разделением труда и частную собственность. На эти оковы *базиса* наслаивается *надстройка* в виде религии, традиций, государства и других пуповин, связывающих индивида с «дикостью». Все они будут с индивида сорваны революцией, и он «вернется к своей сущности». До этого «возвращения» в коммунистическое братство людей общественный прогресс очищал производственные отношения людей от всех видов внеэкономического принуждения и выявлял сущность этих отношений — обмен. Наиболее развитой формой его был рынок, на котором обменивались эквиваленты стоимости.

В русской культуре конца XIX века доминировали иные представления. Человек — не индивид, а личность, включенная в Космос и в братство всех людей. Она не отчуждена ни от людей, ни от природы. Ее не душат «пуповины» религии и общинности, не угнетает государство, не обезчеловечивает разделением труда. Личность соединена с миром — *общинной* в разных ее ипостасях, *народом* как собором всех ипостасей общины, всемирным *братством людей*. В терминах повседневности соединение это осуществляется и *обменом*, и *сложением*.

В жесткой форме Маркс представляет человека в таких выражениях: «Какое-нибудь *существо* является в своих глазах самостоятельным лишь тогда, когда оно стоит на своих собственных ногах, а на своих собственных ногах оно стоит лишь тогда, когда оно обязано своим *существованием* самому себе. Человек, живущий милостью другого, считает себя зависимым существом. Но я живу целиком милостью другого, если я обязан ему не только поддержанием моей жизни, но сверх того еще и тем, что он мою *жизнь создал*, что он — *источник* моей жизни; а моя жизнь непременно имеет такую причину вне себя, если она не есть мое собственное творение... Народному сознанию *непонятно* чрез-себя-бы-

тие природы и человека, потому что это чрез-себя-бытие противоречит всем *осязательным фактам* практической жизни» [115, с. 125].

Таким образом, Маркс считает идеальным состоянием «чрез-себя-бытие», когда вся жизнь человека есть «его собственное творение», когда он никому не обязан участием в создании его жизни. Это — идеальное представление об индивиде, человеке-атоме, существе внациональном. Народному сознанию такое видение человека чуждо, потому что «народ» и есть продукт всеобщего соучастия в создании жизни каждого.

Маркс, создавая материалистическую модель истории, отталкивался от реальности протестантской буржуазной Англии и видел в этой реальности универсальную суть. В то же время он фактически признает, что *народное* сознание не может принять этой модели людей как расчетливых индивидов, ибо реальность народного бытия основана на бесчисленном множестве связей, образованных добрыми делами, милостью, благодарностью и совестью, в том числе связями между поколениями, между отцами и детьми.

«Чрез-себя-бытие» независимого индивида чуждо *общности*. Даже когда такие индивиды собираются в гражданское общество (ассоциации по расчету, для защиты своих интересов), то это ассоциации *меньшинств*. Вебер цитирует авторитетного автора пуританского богословия: «Слава Богу — мы не принадлежим к большинству» [160, с. 228.]. Наоборот, русский человек стремился быть «со всеми» — «Без меня народ неполный» (А. Платонов). И это его свойство Маркс и Энгельс многократно подчеркивали как признак отсталости и даже порочности. Напротив, в русской культуре это качество считалось необходимым. М.М. Пришвин записал в дневнике 30 октября 1919 г.: «Был митинг, и некоторые наши рабочие прониклись мыслью, что нельзя быть посередине. Я сказал одному, что это легче — быть с теми или другими. «А как же, — сказал он, — быть ни с теми, ни с другими, как?» — «С самим собою». — «Так это вне общественности!» — ответил таким тоном, что о существовании вне общественности он не хочет ничего и слышать» [6].

Представления марксизма о человеческом обществе были проникнуты социал-дарвинизмом. Маркс пишет Энгельсу о «Происхождении видов» Дарвина: «Это — гоббсова *bellum omnium contra omnes*, и это напоминает Гегеля в «Феноменологии», где гражданское общество предстает как «духовное животное царство», тогда как у Дарвина животное царство выступает как гражданское общество» [36, с. 204]. В другом письме, Ф. Лассалю, Маркс пишет о сходстве, по его мнению, классовый борьбы с борьбой за

существование в животном мире: «Очень значительна работа Дарвина, она годится мне как естествен-нонаучная основа понимания исторической борьбы классов» [36, с. 475].

Главной задачей «вульгаризации марксизма» в советское время как раз и было если не изъятие, то хотя бы маскировка этой стороны учения, которое пришлось взять за основу официальной идеологии. Причина в том, что установки русской культуры были несовместимы с мальтузианской компонентой дарвинизма. В своих комментариях при освоении дарвинизма в 60-70-х годах XIX в. русские ученые предупреждали, что это английская теория, которая вдохновляется политэкономическими концепциями либеральной буржуазии. Произошла адаптация дарвинизма к русской культурной среде («Дарвин без Мальтуса»), так что концепция борьбы за существование была дополнена теорией межвидовой *взаимопомощи*.

Эту теорию П.А. Кропоткин изложил в книге «Взаимная помощь: фактор эволюции», изданной в Лондоне в 1902 г. Он писал: «Чувства взаимопомощи, справедливости и нравственности глубоко укоренены в человеке всей силой инстинктов. Первейший из этих инстинктов — инстинкт Взаимопомощи — является наиболее сильным».

Представления о человеке марксизма и зарождавшегося в русской культуре советского проекта расходились принципиально и в перспективе должны были породить конфликт в сфере политической практики. Скрытый до поры до времени антисоветский потенциал антропологической модели марксизма был велик.

Представление о семье

Непосредственно к модели человека примыкает представление о *семье*. Отношения в семье выстраиваются в соответствии с господствующими представлениями о человеке. Согласно исходным установкам марксизма, семья прежде всего есть ступок производственных отношений. Энгельс пишет в предисловии к «Происхождению частной собственности, семьи и государства»: «Согласно материалистическому пониманию, определяющим моментом в истории является в конечном счете производство и воспроизводство непосредственной жизни. Но само оно, опять-таки, бывает двоякого рода. С одной стороны — производство средств к жизни: предметов питания, одежды, жилища и необходимых для этого орудий; с другой — производство самого человека, продолжение рода. Общественные порядки, при которых живут люди определенной исторической эпохи и определенной страны, обуславливают-

ся обоими видами производства: степенью развития, с одной стороны, труда, с другой — семьи» [27, с. 25-26].

Маркс и Энгельс видят в отношениях мужчины и женщины в семье зародыш *разделения труда* — первым его проявлением они считают половой акт. Разделение труда, по их мнению, ведет к появлению частной собственности. Первым предметом собственности и стали в семье женщина и дети, они — рабы мужчины. Основатели марксизма пишут в «Немецкой идеологии»: «Вместе с разделением труда..., покоящимся на естественно возникшем разделении труда в семье и на распадении общества на отдельные, противостоящие друг другу семьи, — вместе с этим разделением труда дано в то же время и *распределение*, являющееся притом — как количественно, так и качественно — *неравным* распределением труда и его продуктов; следовательно, дана и собственность, зародыш и первоначальная форма которой имеется уже в семье, где жена и дети — рабы мужчины. Рабство в семье — правда, еще очень примитивное и скрытое — есть первая собственность, которая, впрочем, уже и в этой форме вполне соответствует определению современных экономистов, согласно которому собственность есть распоряжение чужой рабочей силой. Впрочем, разделение труда и частная собственность, это — тождественные выражения» [110, с. 31].

Представления о том, что родители — скрытые *рабовладельцы*, у Маркса является не метафорой, а рабочим термином. Он считает, что капитализм сбросил покровы с этих отношений, очистил их сущность, фарисейски скрытую ранее религией и моралью. Он пишет в «Капитале»: «На базисе товарообмена предполагалось прежде всего, что капиталист и рабочий противостоят друг другу как свободные личности, как независимые товаровладельцы: один — как владелец денег и средств производства, другой — как владелец рабочей силы. Но теперь капитал покупает несовершеннолетних или малолетних. Раньше рабочий продавал свою собственную рабочую силу, которой он располагал как формально свободная личность. Теперь он продает жену и детей. Он становится работорговцем» [100, с. 407, 767].

В сноске Маркс ссылается на то, что «самые недавние отчеты Комиссии по обследованию условий детского труда отмечают поистине возмутительные и вполне достойные работорговцев черты рабочих-родителей в том, что касается торгашества детьми». Трудно нам в это поверить как в общее, социальное явление. Мы все читали в школе рассказ Чехова про Ваньку Жукова, который писал «на деревню дедушке», но мысль назвать этого дедушку работорговцем всем показалась бы дикой. Однако эти формулы приходилось принимать из «Капитала» как непререкаемую истину.[42]

Однако, несмотря на все невзгоды ребенка, Маркс видит в этом детском труде признак общественно-го прогресса и путь к высшей форме семьи. Он пишет: «Как ни ужасно и ни отвратительно разложение старой семьи при капиталистической системе, тем не менее, крупная промышленность, отводя решающую роль в общественно организованном процессе производства вне сферы домашнего очага женщинам, подросткам и детям обоего пола, создает новую экономическую основу для высшей формы семьи и отношения между полами... Очевидно, что составление комбинированного рабочего персонала из лиц обоего пола и различного возраста, будучи в своей стихийной, грубой, капиталистической форме, когда рабочий существует для процесса производства, а не процесс производства для рабочего, зачумленным источником гибели и рабства, при соответствующих условиях должно превратиться, наоборот, в источник гуманного развития» [100, с. 500-501].

Думаю, большинству русских было трудно понять, при каких «соответствующих условиях» станет полезно работать на фабрике «детям обоего пола»? Труд (а не «трудовое воспитание»), тем более на фабрике, вреден для детского организма и детской психики. Это известно всем, у кого детям приходилось действительно *трудиться*. Разве можно желать детям такого «гуманного развития»!

Например, русские крестьяне в начале XX века стали глубоко переживать тот факт, что их детям приходилось в раннем возрасте выполнять тяжелую полевую работу. В заявлении крестьян д. Виткулово Горбатовского уезда Нижегородской губ. в Комитет по землеустроительным делам (8 января 1906 г.) сказано: «Наши дети в самом нежном возрасте 9-10 лет уже обречены на непосильный труд вместе с нами. У них нет времени быть детьми. Вечная каторжная работа из-за насущного хлеба отнимает у них возможность посещать школу даже в продолжение трех зим, а полученные в школе знания о боге и его мире забываются, благодаря той же нужде» [46, т. 2, с. 221].

В своих рассуждениях о семье Маркс приходит к метафоре *проституции*. Она приобретает у него фундаментальное значение. В отличие от рабства в прежних формациях семья в буржуазном обществе предстает у него как разновидность проституции. Но зато и сама проституция превращается в разновидность всеобъемлющего рынка труда. Он пишет: «Проституция является лишь некоторым особым выражением всеобщего проституирования рабочего, а так как это проституирование представляет собой такое отношение, в которое попадает не только проституируемый, но и проституирующий, причем гнусность последнего еще гораздо больше, то и капиталист и т. д. подпадает под эту категорию» [115, с. 114]. Все люди — проститутки.

Таким образом, в марксизме семейные отношения — часть всего механизма отчуждения человека и приобретут свое гуманное значение лишь с победой пролетариата, который освободится от цепей, связывающих его с женой и детьми. В «Коммунистическом Манифесте» сказано: «Его [пролетария] отношение к жене и детям не имеет более ничего общего с буржуазными семейными отношениями... Законы, мораль, религия — все это для него не более как буржуазные предрассудки, за которыми скрываются буржуазные интересы» [41, с. 435].

Уже последователи марксизма рассуждали о формах семьи в будущем обществе. Август Бебель в книге «Женщина и социализм», которая только в Германии выдержала 50 изданий (в России издана в 1905 г.), утверждал, что семья превратится в союз, основанный на частном договоре «без вмешательства должностных лиц».

Это видение настолько не вяжется с русской культурой, что из «вульгарного советского марксизма» тема семейных отношений с конца 20-х годов была практически изъята. Но изъятие слишком откровенных фраз не приводит к изъятию смыслов. Буквально следуя «Коммунистическому Манифесту», сразу после Октября 1917 г. были сняты почти все ограничения в сфере половых отношений. Пропаганда сексуальной свободы велась под лозунгом «Дорогу крылатому Эросу!» Его выдвинула А. Коллонтай, автор первой в России марксистской работы по этой теме (1909), ставшая в 1920 г. заведующей женским отделом ЦК РКП(б). В 1919 г. она ввела в оборот понятие «половой коммунизм».

Это проложило еще одну линию конфликта между марксистами и традиционным российским обществом, для которого семья продолжала представлять одну из важнейших *ценностей*. С 1923 по 1925 гг. Наркомюст разработал три новых проекта закона о семье, которые продолжали линию на «крылатый Эрос». Они были опубликованы и получили большой общественный резонанс. Резко отрицательно отнеслись к ним крестьяне. По их мнению, фактический брак без регистрации подрывал основы сельского домохозяйства и был несовместим с принципами патриархальной семьи. По другим основаниям с крестьянами были солидарны т.н. «*протекционисты*», которые считали, что новый закон поставил бы женщин в более тяжелое положение. В эту группу входили партийные работники, квалифицированные рабочие и служащие, а также ведущие юристы.

К сторонникам законопроектов относились т.н. «*прогрессивные юристы*», которые приветствовали освободительное влияние новых норм. К ним примыкали те, кого с натяжкой можно назвать «*феминистами*» (*защитники интересов женщин*). Поэт А. Безыменский написал приветственные стихи:

Послав ко всем чертям высокое искусство,
Сегодня я кричу простую мысль мою:
За Курского! За Кодекс Наркомюста!
За новую семью!

Новый закон был принят в 1927 г. и сильно отличался от проекта. Он утверждал большое значение регистрации брака и для семьи, и для общества, но в то же время признавал фактический брак как совместное проживание и ведение хозяйства, содержание и воспитание детей. В результате семи лет войны в России возникла массовая беспризорность. Вопрос о ней был поставлен на Всероссийском съезде по защите детства (1919), в 1921 г. была создана Деткомиссия, которую возглавил Ф.Э. Дзержинский. Изучение вопроса привело к выводу, что решение проблемы возможно только при сочетании усилий государства с «молекулярной» инициативой людей, и был взят курс на укрепление семьи. В 1926 г. был отменен запрет на усыновление.

Шло постепенное, но неуклонное преодоление марксистского взгляда на семью, что было одним из фронтов внутривластной борьбы. С 1917 по 1936 г. в СССР произошел полный пересмотр роли семьи в обществе — от утопии «отмирания семьи» к ее государственной и идеологической поддержке. Как пишет американская исследовательница автор книги «Женщины, государство и революция: советская политика в области семьи и общество, 1917-1936» (1993) В.З. Голдман, наряду с понятиями «социалистическая государственность» и «социалистическая законность» семья вошла «в новую святую троицу партийной идеологии».[43]

Представление об общине

Важнейшим для России институтом, в символической форме воплощающим тип семейных отношений, была *община*. Она сложилась в России под сильным влиянием православного мироощущения и православной антропологии и просуществовала тысячу лет, наложив глубокий отпечаток на всю национальную культуру. Отрицательное отношение к общине проходит, как говорят, «красной нитью» через множество трудов Маркса и Энгельса. И отношение это очень устойчиво.

Энгельс писал Каутскому (2 марта 1883 г.): «Где существует общность — будь то общность земли или жен, или чего бы то ни было, — там она непременно является первобытной, перенесенной из животного мира. Все дальнейшее развитие заключается в постепенном *отмирании* этой первобытной общности; никогда и нигде мы не находим такого случая, чтобы из первоначального частного владения развивалась в качестве вторичного явления общность» [20, с. 76].

Из такого взгляда и выводится представление о реакционности революций, опирающихся на крестьянскую общину и ставящих своей целью сопротивление капитализму. Энгельс пишет в «Анти-Дюринге»: «Нельзя отрицать того факта, что человек, бывший вначале зверем, нуждался для своего развития в варварских, почти зверских средствах, чтобы вырваться из варварского состояния. Древние общины там, где они продолжали существовать, составляли в течение тысячелетий основу самой грубой государственной формы, восточного деспотизма, от Индии до России. Только там, где они разложились, народы двинулись собственными силами вперед по пути развития, и их ближайший экономический прогресс состоял в увеличении и дальнейшем развитии производства посредством рабского труда» [28, с. 186].

Здесь целая система ложных утверждений. Каждое из них, вопреки Энгельсу, именно «нельзя не отрицать»! Разве «человек был зверем» в общинах охотников и собирателей? Это можно воспринимать лишь как метафору, причем неудачную. Разве наблюдался «экономический прогресс» в Европе времен рабства по сравнению с древними цивилизациями Китая и Индии? В чем вообще измерялся тогда «экономический прогресс» и какими данными располагает Энгельс, чтобы сравнивать по этому показателю древние цивилизации? Что за восточный деспотизм существовал в России «в течение тысячелетий»? По каким критериям можно его оценить как «самую грубую государственную форму», грубее прогрессивного рабства?

Много говорилось и о русской общине — одном из важнейших институтов, отличавших русский тип хозяйства. Маркс пишет (1868): «В этой общине все абсолютно, *до мельчайших деталей*, тождественно с *древнегерманской* общиной. В добавление к этому у русских..., во-первых, *не демократический*, а *патриархальный* характер управления общиной и, во-вторых, *круговая порука* при уплате государству налогов и т.д... Но вся эта дрянь идет к своему концу» [73, с. 158].

Но в момент написания этого письма было уже известно принципиальное отличие русской общины от древнегерманской. У русских земля была общинной собственностью, так что крестьянин не мог ни

продать, на заложить свой надел (после голода 1891 г. общины по большей части вернулись к переделу земли по едокам), а древнегерманская марка была общиной с *долевым разделом* земли, так что крестьянин имел свой надел в частной собственности и мог его продать или сдать в аренду.

Ниоткуда не следовало в 1868 г., что русская община («вся эта дрянь») идет к своему концу. Возможность русской общины встроиться в индустриальную цивилизацию еще до народников предвидели славянофилы. А.С. Хомяков видел в общине именно цивилизационное явление — «уцелевшее гражданское учреждение всей русской истории» — и считал, что община крестьянская может и должна развиваться в общину промышленную. О значении общины как учреждения для России он писал: «Отними его, не останется ничего; из его развития может развиваться целый гражданский мир».

Еще более определенно высказывался Д.И. Менделеев, размышляя о выборе для России такого пути индустриализации, при котором она не попала бы в зависимость от Запада: «В общинном и артельном началах, свойственных нашему народу, я вижу зародыши возможности правильного решения в будущем многих из тех задач, которые предстоят на пути при развитии промышленности и должны затруднять те страны, в которых индивидуализму отдано окончательное предпочтение» (см. [161, с. 169, 343-344]).

Так оно и произошло — русские крестьяне, вытесненные в город в ходе коллективизации, восстановили общину на стройке и на заводе в виде «трудового коллектива». Именно этот уникальный уклад со многими крестьянскими атрибутами (включая штурмовщину) во многом определил «русское чудо» — необъяснимо эффективную форсированную индустриализацию СССР.

И это — общее явление в тех незападных странах, которые избежали колониальной зависимости и проводили индустриализацию с опорой на собственные культурные формы. Об этом писал президент одной из крупнейших японских корпораций «Мицуи дзосен» Исаму Ямасита: «После второй мировой войны... существовавший многие века дух деревенской общины начал разрушаться. Тогда мы возродили старую общину на своих промышленных предприятиях... Прежде всего мы, менеджеры, несем ответственность за сохранение общинной жизни... Воспроизводимый в городе... общинный дух экспортируется обратно в деревню во время летнего и зимнего «исхода» горожан, гальванизирует там общинное сознание и сам в результате получает дополнительный толчок» (цит. в [48]).

В представлении Маркса и Энгельса община повинна во множестве пороков русского человека. Вот, Энгельс пишет в 1893 г. о русской армии: «Русский солдат, несомненно, очень храбр... Весь его жизнен-

ный опыт приучил его крепко держаться своих товарищей. В деревне — еще полукommунистическая община, в городе — кооперированный труд артели, повсюду — *krugovaja poruka* — то есть взаимная ответственность товарищей друг за друга; словом, сам общественный уклад наглядно показывает, с одной стороны, что в сплоченности все спасенье, а с другой стороны, что обособленный, предоставленный своей собственной инициативе индивидуум обречен на полную беспомощность... Теперь каждый солдат должен уметь самостоятельно сделать то, что требует момент, не теряя при этом связи со всем подразделением. Это такая связь, которая становится возможной не благодаря примитивному стадному инстинкту русского солдата, а лишь в результате умственного развития каждого человека в отдельности; предпосылки для этого мы встречаем только на ступени более высокого «индивидуалистического» развития, как это имеет место у капиталистических наций Запада» [162, с. 403].

Описанный Энгельсом тип товарищеских отношений действительно стягивал людей в самобытный русский народ, «созидал» его, воспроизводил его в каждом новом поколении. В свою очередь, русский народ, выражаясь словами А.С. Панарина, «оказывается хранителем *общинного* сознания в эпоху, когда общинность репрессирована политически, экономически и идеологически. В этом смысле народ оказался великим *подпольщиком* современного гражданского общества» [67, с. 241]. Здесь — глубокий конфликт с Марксом.

Но у Панарина выходит, что это важное свойство русского народа и русской культуры было на целый исторический период скрыто от обществоведения. Это резко снизило познавательные возможности общественной науки — и советской, и западной — в изучении вообще всех незападных культур. И сокрытие это совершалось в СССР ради того, чтобы не вступать в конфликт с официальной идеологией, в основу которой был положен марксизм. Панарин пишет: «Современный «цивилизованный Запад» после своей победы над коммунизмом открыл «русское народное подполье», стоящее за коммунизмом и втайне питавшее его потенциалом скрытой общинности... В тайных нишах народной общинности находил укрытие жизненный мир с его до сих пор скрытыми законами, может быть, в принципе не переводимыми на язык прогрессизма» [67, с. 243].

Преодоление большевиками антиобщинной установки марксизма было трудным, неуверенным, с частыми рецидивами. Вспомним хронологию. В 1907 г., уже после революции, Ленин готовит второе издание книги «Развитие капитализма в России», в которое вносит очень осторожные оговорки в сносках. О пересмотре главных положений пока нет и речи. В декабре 1907 г. Ленин заканчивает книгу

«Аграрная программа русской социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов», а зимой 1908 г. готовит ее к печати (книга была напечатана в 1908 г., но конфискована и уничтожена еще в типографии; сохранился один экземпляр, вышла книга в 1917 г.). Что мы в ней видим? То же самое обличение «средневековья» крестьянской общины и те же мечты о «фермере», что и в «Развитии капитализма в России».

Вот главные для нас мысли: «Крестьянское наделное землевладение... загоняет крестьян, точно в гетто, в мелкие средневековые союзы фискального, тяглогового характера, союзы по владению наделной землей, т.е. общины. И экономическое развитие России *фактически* вырывает крестьянство из этой средневековой обстановки, — с одной стороны, порождая сдачу наделов и забрасывание их, с другой стороны, созидая хозяйство будущих свободных фермеров (или будущих гроссбуаэров юнкерской России) из кусочков самого различного землевладения...

Для того, чтобы построить *действительно* свободное фермерское хозяйство в России, необходимо «разгородить» *все* земли, и помещичьи, и наделные. Необходимо разбить *все* средневековое землевладение, сравнять все и всяческие земли перед свободными хозяевами на свободной земле. Необходимо облегчить в максимальной возможной степени обмен земель, расселение, округление участков, создание свободных новых товариществ на место заржавевшей тягловой общины. Необходимо «очистить» всю землю от всего средневекового хлама...

Мелкие собственники-земледельцы в массе своей высказались за национализацию [земли] и на съездах Крестьянского союза в 1905 году, и в первой Думе в 1906 году, и во второй Думе в 1907 году... не потому, что «община» заложила в них особые «зачатки», особые, не буржуазные «трудовые начала». Они высказались так потому, наоборот, что жизнь требовала от них *освобождения* от средневековой общины и средневекового наделного землевладения. Они высказались так не потому, что они хотели или могли строить социалистическое земледелие, а потому, что они хотели и хотят, могли и могут построить действительно буржуазное, т.е. в максимальной степени свободное от всех крепостнических традиций мелкое земледелие» [163, с. 406-407].

Это — чисто марксистское видение проблемы, оно вполне совместимо с замыслом реформы Столыпина (и даже более радикально, чем этот замысел). С этим видением вполне согласился бы и А.Н. Яковлев, примерно так же обличавший колхозы («большевистскую общину»).

Видение это было фундаментально ошибочным, что Ленин неявно признал в сентябре 1908 г. в статье «Лев Толстой как зеркало русской революции». Откуда шло это представление о крестьянской общине? Ни длительное «включенное наблюдение» (результаты которого изложены В.А. Энгельгардтом в «Письмах из деревни»), ни статистические исследования (например, А.В. Чаянова) не давали оснований для тех выводов, что делали социал-демократы, включая Ленина. Это выводы вытекали из марксистской доктрины. Учитывая реальную роль общины в России, воздействие этой доктрины на исторический ход событий в России надо оценить как очень существенное.

В своей теории Маркс гипертрофировал роль капитализма, приписав ему неоправданно большую долю достижений человечества и слишком высоко оценив культуртрегерскую роль капитализма. Одновременно он слишком принизил роль всех иных типов хозяйства — в том числе и на Западе (например, в XIX веке семейное хозяйство на Западе составляло наверняка больше половины всего народного хозяйства, но о нем Маркс вообще не вспоминает). Это укрепило евроцентризм в западном мышлении, а затем и в мышлении марксистов всего мира.

Пренебрежение всеми видами хозяйства, основанными не на эквивалентном обмене (купле-продаже), а на сложении несоизмеримых ресурсов, было настолько вбито людям в головы через образование и пропаганду, что даже в СССР, где нерыночное хозяйство господствовало, его приходилось маскировать под рыночное, а то, что никак не удавалось замаскировать, вообще велось в идеологическом подполье. Так, теоретических работ, посвященных приусадебному и семейному хозяйству, в советском обществоведении, похоже, вообще не было.

Когда после Октябрьской революции встал вопрос о создании в России общества, основанного на началах социальной справедливости и обобществленного хозяйства, представления Маркса о таком переходе приобрели принципиальное значение. Как известно, народники и многие консерваторы в России (например, Д.И. Менделеев) видели в общине ту форму отношений, которые должны были быть использованы в этом проекте. Уже после Февраля 1917 г. крестьяне и рабочие стали оказывать нарастающее давление в этом же направлении — и на селе, и в промышленности.

Согласно теории, Ленин считал, что России потребуется довольно длительный этап *государственного капитализма*. До марта 1918 г. Госбанк выдал очень крупные средства в виде ссуд частным предприятиям. В целом, в основу политики ВСНХ была положена ленинская концепция «государственного капитализма», готовились переговоры с промышленными магнатами о создании крупных трестов с

половиной государственного капитала (иногда и с крупным участием американского капитала).

Но события пошли не так, как задумывалось — началась «стихийная» национализация. Английский историк Э. Карр в 14-томной «Истории Советской России» (до 1929 г.) пишет о первых месяцах после Октября: «Большевиков ожидал на заводах тот же обескураживающий опыт, что и с землей. Развитие революции принесло с собой не только стихийный захват земель крестьянами, но и стихийный захват промышленных предприятий рабочими. В промышленности, как и в сельском хозяйстве, революционная партия, а позднее и революционное правительство оказались захвачены ходом событий, которые во многих отношениях смущали и обременяли их, но, поскольку они [эти события] представляли главную движущую силу революции, они не могли уклониться от того, чтобы оказать им поддержку» [164, с. 449].

Национализация была глубинным движением, своими корнями уходившим в «общинный крестьянский коммунизм» и тесно связанным с движением за национализацию земли.

Как же видел Маркс преодоление капиталистического способа производства, если, по выражению Энгельса, не может быть «такого случая, чтобы из первоначального частного владения развивалась в качестве вторичного явления общность»?

На этот вопрос Маркс отвечает в «Капитале» таким образом: «Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют.

Капиталистический способ присвоения, вытекающий из капиталистического способа производства, а следовательно, и капиталистическая частная собственность, есть первое отрицание индивидуальной частной собственности, основанной на собственном труде. Но капиталистическое производство порождает с необходимостью естественного процесса свое собственное отрицание. Это — отрицание отрицания. Оно восстанавливает не частную собственность, а *индивидуальную собственность* на основе достижений капиталистической эры: на основе кооперации и общего владения землей и произведенными самим трудом средствами производства... Там дело заключалось в экспроприации народной массы немногими узурпаторами, здесь народной массе предстоит экспроприировать немногих узурпаторов» [100, с. 772-773] (выделено мной — С. К-М).

Итак, не национализация и не восстановление общины, а индивидуальная собственность — что-то вроде «ваучерной приватизации» по Чубайсу. Затем эти индивидуальные собственники вступают в отношения кооперации с образованием *ассоциаций свободных производителей*.

В тот момент это положение «Капитала» наверняка вызвало недоумение. Почему надо восстанавливать «индивидуальную собственность на основе достижений капиталистической эры»? Почему не строить сразу общенародную собственность на основе общинной культуры и достижений некапиталистической индустриализации? Разве это значит «повернуть назад колесо истории»? Это настолько не вязалось со здравым смыслом и культурой русских рабочих и крестьян, что в комментариях к приведенному положению Маркса в канонической книге советской политэкономии цитата Маркса прерывается, а далее своими словами говорится: «На смену капиталистической собственности идет *общественная* собственность» [165, с. 285]. Советскому официальному обществоведению пришлось радикально подправить Маркса, сказав вместо слов «индивидуальная собственность» слова «общественная собственность».

Но так можно было обмануть лишь советских людей, которые жили себе, не вчитываясь в Маркса. А элита, советская и западная, которая считала своей миссией «делать жизнь по Марксу», вчитывалась в его труды. Философ Г. Маркузе, который сильно повлиял на мировоззрение «новых левых», подчеркивал как одно из важнейших положений Маркса: «Крайне важно отметить, что отмену частной собственности Маркс рассматривал только как средство для упразднения отчуждения труда, а не как самоцель... Если они [обобществленные средства] не будут использованы для развития и удовлетворения потребностей свободного индивида, они просто перерастут в новую форму подчинения индивидов гипостазированному всеобщему. Отмена частной собственности только в том случае знаменует формирование новой социальной системы, когда хозяевами обобществленных средств становятся свободные индивиды, а не общество» [166].

Э.В. Ильенков интерпретирует это положение Маркса, отгалкиваясь от реальной практики русской революции и национализации промышленности в СССР: «Дело, на мой взгляд, заключается в том, что после осуществления коммунистическим движением первой своей акции — революционного превращения «частной собственности» в собственность *всего общества*, т.е. в общегосударственную и общенародную собственность, перед этим обществом как раз и встает вторая половина задачи. А именно — задача превращения уже учрежденной общественной собственности в действительную собственность «человека», т.е., выражаясь языком уже не «раннего», а «зрелого» Маркса, в личную собственность *каждого индивида*.

Ибо лишь этим путем *формальное* превращение частной собственности в общественную (общенародную) собственность может и должно перерасти в реальную, в действительную собственность «всего общества», т.е. *каждого из индивидов*, составляющих данное общество» [116]. Но это — вольная трактовка. У Маркса не предусмотрено, что «экспроприация экспроприаторов» приводит к переходному состоянию государственной и общенародной собственности, которую лишь впоследствии надо делить, превращая «в личную собственность *каждого индивида*». К тому же большая часть национального богатства в СССР уже была создана в рамках общественной собственности, и «экспроприация экспроприаторов» осталась в истории. В СССР во времена Горбачева готовилась именно приватизация плодов общего труда.

Эта идея Маркса, которая была припрятана в советском обществоведении, все время «работала» в сознании гуманитарной элиты, которая и готовилась превратиться в «свободных индивидов». Их политическим вождем и стал Горбачев. Выступая в 1992 г. в Германии, именно этой идеей Маркса он и оправдывает свою деятельность по ликвидации советского строя. Он говорит: «Отличительной особенностью советской тоталитарной системы было то, что в СССР фактически была полностью ликвидирована частная собственность. Тем самым человек был поставлен в полную материальную зависимость от государства, которое превратилось в монопольного экономического монстра» [167, с. 187-188].

Без опоры на Маркса это были бы просто ругательства, не имеющие смысла. Почему государство, обладая собственностью, становится «монстром»? При каком количестве собственности у него появляются монструозные черты и почему? Является ли таким же монстром частная корпорация «Дженерал электрик», собственность которой по размерам превышала государственную собственность многих социалистических стран? И почему, если собственность государственная, то человек «поставлен в полную материальную зависимость от государства»? В чем это выражается? Чем в этом смысле государственное предприятие хуже частного?

Нагнетая ненависть к государству и не жалея красок, Горбачев вытаскивает из нафталина марксистский тезис об «отчуждении»: «Массы народа, отчужденные от собственности, от власти, от самостоятельности и творчества, превращались в пассивных исполнителей приказов сверху. Эти приказы могли носить разный характер: план, решение совета, указание райкома и так далее — это не меняет сути дела. Все определялось сверху, а человеку отводилась роль пассивного винтика в этой страшной машине» [167, с. 188].

Все это — примитивная и пошлая схоластика, имеющая целью подавить разум человека. Почему же люди, имевшие надежное и прилично оплачиваемое рабочее место на государственном предприятии, становились вследствие этого «отчужденными от самодеятельности и творчества»? Маркс сказал, и Маркузе подтвердил! Значит, надо отдать построенные сообща заводы и нефтепромыслы Абрамовичу с Дерипаской, а самим превратиться в пролетариев и дожидаться революции в Англии.

Представление о крестьянстве

В трудах Маркса и Энгельса выражена радикальная *антикрестьянская* установка. Крестьянство как сословие представлено носителем консервативного и даже реакционного мировоззрения, важным мотивом которого является стремление «остановить колесо прогресса».

В социальном, культурном, мировоззренческом отношении крестьяне и рабочие, которые представляли собой в конце XIX века более 90% жителей России, являлись единым народом, не разделенным сословными и классовыми перегородками и враждой. Этот единый народ рабочих и крестьян и был *гражданским обществом* России — ядром всего общества, составленного из свободных граждан, имеющих сходные идеалы и интересы. Оно было отлично от западного гражданского общества тем, что представляло из себя *Республику трудящихся*, в то время как ядро западного общества представляло собой *Республику собственников*.

Враждебное отношение к крестьянам автоматически превращалось у Маркса и Энгельса в русофобию и окрашивало их отношение к революционному процессу в России. В свою очередь, крестьяне категорически не могли принять того образа прогрессивного общественного развития, какой им предлагал «Коммунистический Манифест»: «Буржуазия подчинила деревню господству города. Она создала огромные города, в высокой степени увеличила численность городского населения по сравнению с сельским и вырвала таким образом значительную часть населения из идиотизма деревенской жизни. Так же как деревню она сделала зависимой от города, так варварские и полуварварские страны она поставила в зависимость от стран цивилизованных, крестьянские народы — от буржуазных народов, Восток — от Запада» [41].

Здесь крестьянство, крестьянские народы и Восток представлены как собирательный образ врага, который должен быть побежден и подчинен буржуазным Западом. А революция крестьянского народа, то есть, по сути, его Отечественная война против этого нашествия, объявляется Марксом реакционной.

Отвергая само право крестьянства на революционное сопротивление капитализму, Энгельс создает ложное представление о культуре крестьянства как сословия. Вот какие идеологические штампы применяет Энгельс, чтобы охарактеризовать русского крестьянина: «Масса русского народа, крестьяне, столетиями, поколение за поколением, тупо влачили свое существование в трясине какого-то внеисторического прозябания» [88, с. 568].

Из чего Энгельс вывел этот примитивный образ? Из русских сказок, песен, из организации труда и быта великорусского пахаря, из истории освоения русскими крестьянами Сибири, Аляски и Калифорнии? Нет, здесь просто соединение социального и этнического расизма. На деле русское крестьянство «вовсе не влачило тупо свое существование», оно обладало очень большой подвижностью и «пользовалось большей свободой, чем народ любого хорошо организованного государства в Западной Европе» (см. [168]). Крепостничеством было охвачено менее половины русских крестьян, и к тому же около половины крепостных были оброчными. Они жили, где хотели, и часто становились более богатыми, чем их владельцы-помещики; большинство русских купцов и промышленников вышло именно из рядов оброчных крестьян.

Но Энгельс вообще не приемлет крестьянство как культурный тип человека. В своей большой работе «Положение рабочего класса в Англии» Энгельс отрицает ранг *человека* даже у тех категорий рабочего класса, которые живут в сельской местности и сохраняют некоторые черты крестьянского образа жизни (например, у английских ткачей-надомников).

Энгельс пишет о них: «Это были большей частью люди сильные, крепкие, своим телосложением мало или даже вовсе не отличавшиеся от окрестных крестьян... Легко себе представить, каков был моральный и интеллектуальный уровень этого класса. Отрезанные от городов, где они никогда не бывали, так как пряжу и ткань они сдавали разъездным агентам, от которых получали заработную плату..., они в моральном и интеллектуальном отношении стояли на уровне крестьян, с которыми они большей частью были и непосредственно связаны благодаря своему участку арендованной земли... Они были людьми «почтенными» и хорошими отцами семейств, вели нравственную жизнь, поскольку у них отсутствовали и поводы к безнравственной жизни... Одним словом, тогдашние английские промышленные рабочие жили и мыслили так, как живут еще и теперь кое-где в Германии, замкнуто и обособленно, без духовной деятельности и без резких колебаний в условиях своей жизни... В духовном отношении они были мертвы, жили только своими мелкими частными интересами, своим ткац-

ким станком и садиком, и не знали ничего о том мощном движении, которым за пределами их деревень было охвачено все человечество... Они и не были людьми, а были лишь рабочими машинами на службе немногих аристократов, которые до того времени вершили историю» [45, с. 242].

Когда же речь идет о русских крестьянах, то Маркс приходит к гротескному, с точки зрения социологии, прославлению турецкого крестьянства как якобы гораздо более прогрессивного, нежели крестьянство русское. Он писал В. Либкнехту (4 февраля 1878 г.), объясняя свою позицию в назревающей русско-турецкой войне: «Мы самым решительным образом становимся на сторону турок по двум причинам: 1) Потому, что мы изучали турецкого крестьянина — следовательно, турецкую народную массу — и видим в его лице безусловно одного из самых дельных и самых нравственных представителей крестьянства в Европе» [140, с. 246].

Установки марксизма в отношении крестьянства сильно повлияли на сознание левой интеллигенции в России и укрепили позиции западников, особенно после дискредитации народников. Как вспоминает меньшевичка Лидия Дан, сестра Мартова, в 90-е годы XIX в. для студента стало «почти неприличным» не стать марксистом. Анализируя воспоминания Л. Дан о самой себе, своих братьях и сестрах, Л. Хеймсон делает вывод об установках этого типа меньшевиков «из санкт-петербургских кругов ассимилированной высокой еврейской культуры». Он выделяет такие позиции: «отношение превосходства к крестьянству» (при одновременном незнании его и деревни вообще), их глубоко городской взгляд на мир..., их «книжный» характер («мы мало знали о жизни, у нас уже был сложившийся взгляд, заимствованный из книг») и превьшающая все остальное их интеллектуальная элитарность».

Л. Хеймсон подчеркивает особую роль, которую сыграли в формировании мировоззрения меньшевистской молодежи марксистские произведения Г.В. Плеханова: «В этих работах молодежь, пришедшая в социал-демократию, нашла опору для своего бескомпромиссного отождествления с Западом и для своего не менее бескомпромиссного отвержения любых форм российской самобытности» [169]. [44]

Но и в среде большевиков ленинская концепция союза рабочего класса и крестьянства породила напряженность, чреватую расколами. Это большая тема, здесь приведу лишь пару примеров из частных проявлений этого противостояния. Так, вопрос об отношении к крестьянству возник в годы НЭПа в сфере культуры. Вот кусочек из письма Горького Бухарину (13 июля 1925 г.): «Надо бы, дорогой товарищ, Вам или Троцкому указать писателям-рабочим на тот факт, что рядом с их работой уже возникает работа писателей-крестьян и что здесь возможен, — даже, пожалуй, неизбежен конфликт

двух «направлений». Всякая «цензура» тут была бы лишь вредна и лишь заострила бы идеологию мужикопоклонников и деревнелюбов, но критика — и нещадная — этой идеологии должна быть дана теперь же. Талантливый, трогательный плач Есенина о деревенском рае — не та лирика, которой требует время и его задачи, огромность которых невообразима... Город и деревня должны встать — лоб в лоб. Писатель рабочий обязан понять это» [170].

В том же ключе рассуждает и сам Н.И. Бухарин на I Съезде советских писателей (1934) о поэзии Сергея Есенина. Бухарин признает, что Есенин был певцом социализма и задает вопрос: «Но что это за социализм? Это «социализм» или рай, ибо рай в мужицком творчестве так и представлялся, где нет податей за пашню, где «избы новые, кипарисовым тесом крытые», где «дряхлое время, бродя по лугам, сзывает к мировому столу все племена и народы и обносит их, подавая каждому золотой ковч, сыченою брагой». Этот «социализм» прямо враждебен пролетарскому социализму» [171 с. 257].

Антикрестьянские установки Маркса сохранились и в современном ортодоксальном российском марксизме. Вот наиболее чистые его выразители — А.В. Бузгалин и А.И. Колганов — пишут о советском строе как «мутантном социализме», уроде по сравнению с правильной моделью Маркса. Причина уродства, по их мнению — крестьянский характер русской революции. Они занимают радикально антисоветскую позицию — притом, что считают советский строй адекватным реальности и отвечающим интересам подавляющего большинства населения!

То, что они пишут, мне кажется поразительным: «[Советский строй] в тогдашних условиях оказался вполне жизнеспособен. Более того, он оказался по большому счету адекватен, во-первых, внешней обстановке агрессивной конфронтации с империалистическим окружением. Во-вторых (и это особенно важно!), сталинский государственно-патриархальный «социализм» был в основном приспособлен к социально-культурному генотипу большинства населения тогдашней России — полупатриархально-крестьянства, начинающего превращаться в индустриальных рабочих — внизу, чиновничества из средних слоев и тех же крестьян — наверху. Для них сталинское «социалистическое строительство» оказалось социально и культурно близким, оно их не только не ломало (как их ломали реальные ростки социализма), но и давало им возможность социального роста и возвышения» [109, с. 33].

Вот как мыслит цвет современного марксизма в России: была реальная страна, реальное общество и конкретная историческая мировая обстановка. Была совершена революция, адекватная культуре и интересам большинства, которая позволила стране и народу в этой обстановке выжить. Обществен-

ный строй был «социально и культурно близким» большинству, а «реальные ростки социализма» (то есть, «социализма по Марксу»), напротив, это общество и эту культуру *ломали*. Признавая все это, два коммуниста, оба профессора МГУ, жалеют, что сломать Россию не удалось, сил у «ростков» не хватило. Они жалеют, что немногочисленной левой интеллигенции («костяк партии») не удалось установить в России строй неадекватный, но зато «по Марксу». Бузгалин приветствует перестройку как необходимую революцию, и жалеет о том, что команда Горбачева проводила «половинчатые, непоследовательные реформы» [172, с. 45].

Однако, как уже говорилось, рабочие в России еще сохраняли мироощущение общинного крестьянина (большая часть рабочих еще и не порывала связь с землей). Они составляли с крестьянством один сплоченный «трудовой народ». То, что Маркс писал о крестьянах, вполне относилось и на счет рабочего класса России. Но ведь и в отношении пролетариата западных стран (конкретно, Англии) Маркс выстроил сложную концепцию. Ее можно назвать ересью протестантизма. В модели Маркса рабочие — *отверженные*. Но в результате пролетарской революции они могут добиться инверсии этого положения — «кто был ничем, тот станет всем» («и последние станут первыми»).

Но каков образ рабочего «до революции»? Маркс обильно цитирует А. Фергюсона, учителя Д. Рикардо. Тот пишет: «Невежество есть мать промышленности, как и суеверий». Маркс поясняет, что «в середине XVIII века некоторые мануфактуры предпочитали употреблять полуидиотов для выполнения некоторых простых операций, составляющих, однако, фабричную тайну». Он благожелательно приводит рассуждение Адама Смита: «Умственные способности и развитие большей части людей необходимо складываются в соответствии с их обычными занятиями. Человек, вся жизнь которого проходит в выполнении немногих простых операций... не имеет случая и необходимости изощрять свои умственные способности или упражнять свою сообразительность... становится таким тупым и невежественным, каким только может стать человеческое существо».

Далее Маркс пишет: «Обрисовав тупость частичного рабочего, А. Смит продолжает: «Однообразие его неподвижной жизни естественно подрывает мужество его характера... Его ловкость и умение в его специальной профессии представляются, таким образом, приобретенными за счет его умственных, социальных и военных качеств. Но в каждом развитом цивилизованном обществе в такое именно состояние должны неизбежно впадать трудящиеся бедняки (the labouring poor), т. е. основная масса народа» [100, с. 374-375].

Маркс пишет о рабочем как продукте разделении труда: «Некоторое духовное и телесное уродование неизбежно даже при разделении труда внутри всего общества в целом... Кооперация, покоящаяся на разделении труда,... становится сознательной, планомерной и систематической формой капиталистического способа производства» [100, с. 376]. Результат этих условий труда — «интеллектуальное одичание, искусственно вызываемое превращением незрелых людей в простые машины для производства прибавочной стоимости и совершенно отличное от того природного невежества, при котором ум остается нетронутым без ущерба для самой его способности к развитию» [100, с. 411].

В своем представлении рабочего Маркс делает упор или на *экономической* функции (разделение труда, эксплуатация), или на *животной*. Это выглядит у него так: «Человек (рабочий) чувствует себя свободно действующим только при выполнении своих животных функций — при еде, питье, в половом акте, в лучшем случае еще расположась у себя в жилище, украшая себя и т.д., — а в своих человеческих функциях он чувствует себя только лишь животным. То, что присуще животному, становится делом человека, а человеческое превращается в то, что присуще животному.

Правда, еда, питье, половой акт и т.д. тоже суть подлинно человеческие функции. Но в абстракции, отрывающей их от круга прочей человеческой деятельности и превращающей их в последние и единственные конечные цели, они носят животный характер» [115, с. 91].

Конечно, это абстрактная модель, но подобного представления нельзя найти у русских философов, историков, даже писателей с их склонностью к преувеличениям. У русских иная «антропология» трудящегося человека. Труд (даже и на капиталиста или помещика) вовсе не вызывает у него «интеллектуального одичания» и не «подрывает мужество его характера». Рабочих и крестьян в России отличало развитое чувство достоинства и тяга к знаниям. Животными в своих человеческих функциях они себя не чувствовали.

Толстой настойчиво писал о знаменательном повышении нравственных запросов крестьянства. Он обращал внимание на то, что крестьяне перестали выносить телесные наказания, это стало для них нестерпимой нравственной пыткой, так что стали нередки случаи самоубийства из-за этих наказаний. [45] Наказы и приговоры крестьян 1905-1907 гг., затрагивающие темы человеческого достоинства, поражают своим глубоким эпическим смыслом — сегодня, в нашем нынешнем моральном релятивизме, даже не верится, что неграмотные сельские труженики на своих сходах могли так поставить и сформулировать вопрос.

Когда читаешь эти приговоры и наказания в совокупности, то видишь, что у крестьян требование свободы и гражданских прав приобрело экзистенциальный, духовный характер, речь велась о проблеме бытия, имевшей даже религиозное измерение. «Желаем, чтобы все перед законом были равны и назывались бы одним именем — русские граждане». Приговор схода крестьян дер. Пертово Владимирской губ., направленный во Всероссийский крестьянский союз (5 декабря 1905 г.) гласил: «Мы хотим и прав равных с богатыми и знатными. Мы все дети одного Бога и сословных различий никаких не должно быть. Место каждого из нас в ряду всех и голос беднейшего из нас должен иметь такое же значение, как голос самого богатого и знатного» [46, т. 2, с. 252].

Особый культурный тип представлял из себя молодой грамотный русский рабочий начала XX века. Это было замечательное культурно-историческое явление, и оно сыграло большую роль в революции. В нем Православие и Просвещение, слитые в русской классической культуре, соединились с идеалом *действия*, направленного на земное воплощение мечты о справедливости. Сохраняя космическое чувство крестьянина, рабочий внес в общинный идеал равенства вектор реального построения на нашей земле материальных оснований для Царства справедливости. Эта *действенность* идеала, означавшая отход от толстовского *непротивления злу насилею*, была важнейшей предпосылкой к тому, чтобы ответить на зло «детей Каина» вооруженным сопротивлением.[46]

Это был рабочий, который, с одной стороны, обладал большой тягой к чтению, которая всегда была характерна для пришедших из деревни рабочих. Отличие в том, что наш рабочий одновременно получил три типа литературы на пике их зрелости — русскую литературу «золотого века», оптимистическую просветительскую литературу эпохи индустриализма и столь же оптимистическую революционную литературу. Это сочетание во времени уникально. А. Богданов в 1912 г. писал, что в те годы в заводских рабочих библиотеках были, помимо художественной литературы, книги типа «Происхождение видов» Дарвина или «Астрономия» Фламариона — и они были зачитаны до дыр. В заводских библиотеках английских тред-юнионов были только футбольные календари и хроники королевского двора.

Сам взгляд на *труд* как на инструмент отчуждения и отупления человека был чужд русской культуре, здесь Маркс также вступал с ней в принципиальное противоречие. Более того, и в западных культурах представления Маркса принимались скептически. Язык марксистской политэкономии был неадекватен объекту. Это объясняли тем, что Маркс создавал ее на материале специфического хозяй-

ства Англии. Даже в отношении Германии модель Маркса годилась с большими натяжками, в отношении же России ее описание и предсказания были совершенно ложными. О. Шпенглер писал: «Он [Маркс] знал сущность труда только в английском понимании, как средство стать богатым, как средство, лишенное нравственной глубины, ибо только успех, только деньги, только ставшая видимой милость Бога приобретала нравственное значение... Такая этика владеет экономическими представлениями Маркса. Его мышление совершенно манчестерское... *Труд для него — товар*, а не «обязанность»: таково ядро его политической экономии... Марксизм — это капитализм рабочего класса. Вспомним Дарвина, который духовно так же близок Марксу, как Мальтус и Кобден. Торговля постоянно мыслилась как борьба за существование. В промышленности предприниматель торгует товаром «деньги», рабочий физического труда — товаром «труд»» [62, с. 78, 118-120].

Отношение к государству

Следующий важный элемент мировоззренческой матрицы русского народа — отношение к государству как высшей ценности, даже сакрализация государства (при наличии в то же время мятежных и анархических настроений). Об этом много написано и русскими философами разных направлений, и русофобами разных типов. Можно принять как факт, что государство и в царской России, и в СССР было *идеократическим*. Это был важный центр жизнеустройства и целеполагания народа, источник смыслов мировоззренческого уровня.

Бердяев признавал: «Социалистическое государство не есть секулярное государство, как государство демократическое, это — сакральное государство... Оно походит на авторитарное теократическое государство... Социализм исповедует мессианскую веру. Хранителями мессианской «идеи» пролетариата является особенная иерархия — коммунистическая партия, крайне централизованная и обладающая диктаторской властью» [174, с. 495]. [47]

Напротив, труды Маркса проникнуты крайним антигосударственным чувством, даже более жестким, чем неприязнь к общине. Это чувство подкреплялось присутствием марксизму *натурализмом*, который, уподобляя общество природной системе, подчиняющейся «объективным законам естественного развития», сводил на нет созидательную и организующую роль государства. Энгельс писал: «Столкновения бесчисленных отдельных стремлений и отдельных действий приводят в области истории к состоянию, совершенно аналогичному тому, которое господствует в лишенной сознания природе» [20,

с. 306].

Маркс высказывается о государстве в таких выражениях: «Централизованная государственная машина, которая своими вездесущими и многосложными военными, бюрократическими и судебными органами опутывает (обвивает), как удав, живое гражданское общество, была впервые создана в эпоху абсолютной монархии... Этот паразитический нарост на гражданском обществе, выдающий себя за его идеального двойника... Все революции только усовершенствовали эту государственную машину, вместо того чтобы сбросить с себя этот мертвящий кошмар... Коммуна была революцией не против той или иной формы государственной власти — легитимистской, конституционной, республиканской или императорской. Она была революцией против самого государства, этого сверхъестественного выкидыша общества» [107, с. 543-546].

Шпенглер так объяснял отношение Маркса к государству: «Истинный марксист настроен враждебно к государству совершенно по той же причине, что и виг: оно ставит преграды его беспощадной борьбе за свои частные деловые интересы... Маркс и в этом отношении превратился в англичанина: *государство не входит в его мышление*. Он мыслит при помощи образа *society* — безгосударственно. Как в политически-парламентарной жизни Англии, так и в хозяйственной жизни его мира существует только система двух независимых партий и ничего, что стояло бы *над* ними. Тут, следовательно, мыслима только борьба, без третьей стороны, только победа или поражение, только диктатура одной из двух партий. Диктатуру капиталистической, злой партии «Манифест» хочет заменить диктатурой пролетарской, доброй партии. Других возможностей Маркс не видит» [62, с. 118-120].

В представлении основоположников марксизма, пролетарская революция лишит государство его главных смыслов, оно «отомрет». Энгельс пишет: «Все социалисты согласны с тем, что политическое государство, а вместе с ним и политический авторитет исчезнут вследствие будущей социальной революции, то есть общественные функции потеряют свой политический характер и превратятся в простые административные функции, наблюдающие за социальными интересами» [175, с. 305].

Эта глава в учении Маркса нанесла тяжелый ущерб русскому революционному движению в тот период, когда пришедшим к власти большевикам пришлось заняться государственным строительством. Прежняя государственность была разрушена союзом либералов и меньшевиков. Все действия Советской власти по восстановлению армии, правоохранительных органов, правовой системы, вертикали государственного управления приводили к тяжелым дискуссиям и противодействию со ссылками

ми на заветы Маркса.

Среди марксистских движений большевики были единственной партией, которая после 1917 г. боролась за скорейшее восстановление правового, *государственного* характера репрессий — вместо партийного. Они боролись за *обуздание* революции. Это вызывало острую критику эсеров и меньшевиков. Они не возражали против внесудебных расстрелов в ВЧК, но подняли шумную кампанию протеста, когда в июне 1918 г. состоялся суд над адмиралом А. Щастным, который обвинялся в попытке передачи судов Балтфлота немцам и был приговорен к расстрелу. Лидер меньшевиков Мартов даже напечатал памфлет, где не стеснялся в выражениях: «Зверь лизнул горячей человеческой крови. Машина человекоубийства пущена в ход... Зачумленные, отверженные, палачи-людоеды...» и пр.

Очень резко выступили эсеры на V Съезде Советов. На чем же был основан их протест? Они протестовали против вынесения смертных приговоров путем *судопроизводства*, поскольку это «возрождает старую проклятую буржуазную государственность». Эта антигосударственная позиция была столь энергичной, что прокурор Крыленко отговаривался с помощью крючкотворства: мол, суд «не приговорил к смерти, а просто приказал расстрелять».

В 1919-1920 гг. крестьяне и горожане качнулись к большевикам во многом потому, что в них единственных была искра власти «не от мира сего» — власти *государственной*. И этот инстинкт государственности проснулся в большевиках удивительно быстро, контраст с меньшевиками и эсерами просто разительный. Подводя итог революции, Бердяев писал: «России грозила полная анархия, анархический распад, он был остановлен коммунистической диктатурой, которая нашла лозунги, которым народ согласился подчиниться» [87, с. 109].

Левая часть образованного слоя России в XIX веке испытывала сильные антигосударственные чувства.[48] Народники вели демонтаж государства при помощи террора как символического действия, подрывающего авторитет власти. Этот сдвиг интеллигенции был усилен влиянием на ее сознание марксизма, который, вплоть до 1907 г., своим авторитетом сильно укреплял позиции западников, особенно после дискредитации народников.

Подрыв имперского государства вели практически все западнические течения — и либералы, и революционные демократы, и, затем, социал-демократы. В целях обретения союзников в этой борьбе они вели непрерывную кампанию по дискредитации той модели межэтнического общежития, которое сложилось в России, поддерживали сепаратистские и антироссийские движения — в Польше и в

Галиции. Миф о «бесправии» украинцев использовался для нападок на царизм, но рикошетом бил и по государству вообще.

Воздействие символического образа российского государства как «тюрьмы народов» было очень сильным. Он разрушал самосознание русского народа («народ-угнетатель»!). Этот образ, абсолютно противоречащий реальности, был введен в обиход в конце XIX в., но выражения типа «великорусы — нация угнетающая» мы знаем уже из социал-демократической литературы.

По инерции разрушительная программа революционных и либеральных демократов, направленная против государства царской России, была продолжена идеологическими службами большевиков, хотя содержала в себе антигосударственные установки *общего* характера. Но тогда она воспроизвелась далеко не полностью. Уже с Октября 1917 г. в советской идеологии был силен державный национальный дух. Иван Солоневич отметил важную вещь: «Советская историография всех «эпох» советской политики внесла в русскую историографию очень много нового: она, во-первых, раскрыла все тайны и все архивы и вывернула наизнанку все грехи русского прошлого, а такие грехи, конечно, были. И, во-вторых, в последний период, в период «национализации», именно советская историография сделала очень много для того, чтобы отмыть русское прошлое от того презрения, которым его обливали почти все русские историки. Как ни парадоксально это звучит, именно советская историография — отчасти и литература — проделали ту работу, которую нам, монархистам, нужно было проделать давно: борьбу против преклонения перед Западной Европой, борьбу за самостояние русской государственности и русской культуры... Во всяком случае, привычного русского самоослепления в советской историографии нет. А наша старая историография, собственно, почти только этим и занималась» [149, с. 248].

В ходе строительства советского государства оно шаг за шагом становилось символом, который был понят и принят народом. Утверждение державных символов велось в острой борьбе с оппозицией в ВКП(б), которая, выступая с марксистских позиций видела в этом возрождение имперской государственности (см. [14, гл. 5]).

Но в полной мере антигосударственный пафос марксизма был мобилизован на первом этапе перестройки, когда команда Горбачева вела подрыв советской государственности под знаменем марксизма-ленинизма и лозунгом «Больше социализма!»

Сам Горбачев представлял себя героем, который сокрушил советское государство. В своей лекции в Мюнхене 8 марта 1992 г.: «Понимали ли те, кто начинал, кто осмелился поднять руку на тоталитарного

монстра, что их ждет? Понимали ли они масштаб того, на что они идут?» Думаю, нет в истории верховного правителя, который говорил бы такое о своем государстве, которому он присягал на верность и которое сам погубил, причем поехал сказать это в Германию — отчитаться. И чем он хвастается — своей государственной изменой: «Мои действия отражали рассчитанный план, нацеленный на обязательное достижение победы... Несмотря ни на что, историческую задачу мы решили: тоталитарный монстр рухнул!» [167, с. 193].

Какова же была философская база, подведенная под уничтожение государства? Тогда на арену вышла энергичная группа обществоведов-марксистов, которые получили трибуну для идеологической кампании против государства как формы организации общества. Эту кампанию можно с полным правом назвать оголтелой — государство было представлено как коллективный враг народа, причем враг принципиальный, непримиримый. В конце 80-х годов выпускались целые книги с перепевами этих идей Маркса, причем они прямо распространялись и на советское государство.

Например, убежденный марксист профессор МГУ А.П. Бутенко, давая в книге 1988 г. большую подборку выдержек из Маркса, которые утверждали паразитическую суть государства, добавлял: «Важно подчеркнуть, что такая тенденция — не особенность какого-либо определенного типа государства, а общая черта развития государства как такового» [176, с. 49]. Далее из этого делается вывод, что само существование государства указывает на то, что в таком обществе примирение классов невозможно. Следовательно, в СССР существуют непримиримые межклассовые противоречия, и перестройка должна перерасти в *революцию*. Бутенко пишет: «По Марксу, государство не могло бы ни возникнуть, ни держаться, если бы возможно было примирение классов. У мещанских и филистерских профессоров и публицистов выходит, — сплошь и рядом при благожелательных ссылках на Маркса! — что государство как раз примиряет классы» [176, с. 77]. А дальше — пересказ рассуждений Маркса о «казарменном коммунизме» и подведение к выводу, что советское государство из всех «паразитических наростов» самое паразитическое. Потому что строили его «наиболее обездоленные слои патриархального и полупатриархального крестьянства (да и сам рабочий — часто вчерашний крестьянин) и люмпенов, поскольку как раз эти слои в силу своей обездоленности и озлобленности старыми порядками готовы на отчаянно смелые, решительные действия, на самое беспощадное разрушение никогда им не принадлежавшей частной собственности» [176, с. 132]. Согласно Бутенко, крестьянин, рабочий и люмпен в России «не имели ничего» — ни дисциплины, ни привязанности к частной собственности, ни образо-

вания, ни культуры, — ибо все это несет людям только капитализм, а он в России не успел развиваться. Кажется, дикий взгляд, но у Бутенко он убедительно обоснован ссылками на Маркса.

Ключевым понятием в этой кампании был *тоталитаризм*, которые еще у «шестидесятников» стал синонимом советской государственности. При этом даже сталинизм превратился во всего лишь «частичного» врага, в выражение лишь одной ипостаси государства. Бутенко, писал о реформах Хрущева: «Антисталинизм — главная идея, мобилизационный стяг, использованный Хрущевым в борьбе с тоталитаризмом. Такой подход открывал определенный простор для борьбы против основ существующего социализма, против антидемократических структур тоталитарного типа, но его было совершенно недостаточно, чтобы разрушить все тоталитарные устои» [177].

Именно против «всех» государственных устоев, вплоть до детских садов, и был направлен антисоветский пафос. Л. Баткин в книге-манифесте «Иного не дано» задает риторические вопросы: «Зачем министр крестьянину — колхознику, кооператору, артельщику, единоличнику?.. Зачем министр заводу?.. Зачем ученым в Академии наук — сама эта Академия, ставшая натуральным министерством?» В своей атаке на государственность демократы оперировали понятиями марксизма, против которых в общественном сознании не возникало психологической защиты.

Одной из важнейших сил, скрепляющих людей в народ, является язык — как устный, так и письменность. Основа письменности — алфавит, в котором важно и соответствие звукам родного языка, и графика, написание букв, и их расположение, и история создания. Русские с самого начала писали на кириллице — с помощью алфавита, созданного монахами Кириллом и Мефодием. В отношении русского языка в 20-30-е годы в советском обществе велась глухая, но непримиримая борьба. Вплоть до начала 30-х годов шла кампания за перевод русского языка на латинский алфавит, ее поддерживал нарком просвещения А. Луначарский. Он опирался на доводы, почерпнутые из марксизма.

В своей статье 1930 г. А. Луначарский писал: «Графические формы современного русского алфавита отвечают более низкому уровню развития производительных сил, а следовательно, и техники чтения и письма дореволюционной царской России» [178, с. 37]. С другой стороны, он связывал кириллицу с догмой о реакционной сущности русского монархического государства: «С переходом на новую графику мы окончательно освобождаемся от всяких пережитков эпохи царизма в формах самой графики и принимаем интернациональную графику, вполне соответствующую интернациональному социалистическому содержанию нашей печати» [178, с. 40].

К счастью, время подобной демагогии уже кончалось, и статья эта была опубликована с пометкой, что она содержит спорные мысли. Тем не менее, она была напечатана, и это была статья наркома (министра). А. Луначарский пишет: «На этапе строительства социализма существование в СССР русского алфавита представляет собою безусловный анахронизм, — род графического барьера, разобщающий наиболее численную группу народов Союза как от революционного Востока, так и от трудовых масс и пролетариата Запада. Своими корнями этот алфавит все еще уходит вглубь дореволюционного прошлого. Национальные массы Советского Союза еще не забыли его русификаторской роли. Проклятие самодержавного гнета, миссионерской пропаганды, насильственной русификации и великорусского национал-шовинизма еще тяготеет над самой графической формой этого алфавита. Частичная, подготовленная еще до революции радикальной интеллигенцией и осуществленная советской властью реформа русской орфографии приспособила это орудие класовой письменности дореволюционной царской России к потребностям распространения массовой грамотности в годы военного коммунизма и нэп'а. Однако, в настоящее время, в момент, когда уже осуществляется генеральный план реконструкции страны, осуществляется строительство социализма, строительство новой социалистической культуры, естественно, что этот, даже исправленный, русский гражданский алфавит перестал удовлетворять наиболее активную, наиболее передовую часть советской общественности» [178, с. 36]. [49]

Свернуть всю эту кампанию удалось только после того, как была разгромлена, самыми жестокими методами, «оппозиция» в ВКП(б). Резкий поворот был совершен после XVII съезда ВКП(б) — в мае 1934 г. постановлением правительства и ЦК ВКП(б) введено преподавание истории в средней школе, следом — постановление о введении в начальной и неполной средней школе элементарного курса всеобщей истории и истории СССР. Было предписано «преодолеть левацкие ошибки М.Н. Покровского», образован исторический факультет МГУ.

Поворот, совершенный в 1934 г., дался непросто. Даже притом, что к этому времени созрел культ личности Сталина и его власть казалась незыблемой, отход от антирусской позиции Маркса и Энгельса был чреват опасным конфликтом с партийной верхушкой внутри СССР и с левой интеллигенцией Запада. Приходилось изоцряться и вести восстановление исторической памяти русских «с опорой на марксизм»!

Г.П. Федотов пишет в эмиграции (1937): «Не так давно «Правда» посвятила передовицу славе «великого русского народа». Поразительно, что начинается эта слава цитатой из Маркса: «Россия представ-

ляет собою передовой отряд революционного движения в Европе». Если бы Маркс выступал лишь в роли барда русской революции, это было бы в порядке вещей. Но через несколько строк уже противопоставляемый гитлеровскому германизму, бедный Маркс делается апологетом русского народа и русской государственности, жестоко им ненавидимой. Это очень искусный трюк, который сделали возможным усердные штудии Маркса в рязановско-бухаринский период русской революции. Как известно, в России опубликовали множество сочинений, черновиков и записок Маркса из разных периодов его жизни (особенно молодости), которые не имеют ничего общего со зрелым, сложившимся марксизмом. Это дает возможность — не в одной России — интерпретировать марксизм в таком духе, от которого сам Маркс пришел бы в бешенство. Приведенная на этот раз выдержка «Правды» побивает все рекорды...

Карл Маркс выступает на защиту Александра Невского. Доселе Александр Невский, как и все содержание национальной русской истории, интерпретировались в духе марксизма. Теперь Маркс интерпретируется в национальном духе. Недурно?.. Нельзя не видеть, что рождение нового национального сознания в России протекает в тяжких, болезненных формах. Это такие муки родов, которые заставляют вспомнить о кесаревом сечении» [179].

Отношение к религии

Маркс утверждал как постулат: «Критика религии — предпосылка всякой другой критики» [55, с. 414]. Если учесть, что все составные части марксизма проникнуты именно *критическим* пафосом, то можно сказать, что «критика религии — предпосылка всего учения Маркса».

Известно, что религиозные представления являются элементом центральной мировоззренческой матрицы любого народа, в том числе вполне современного и секуляризованного, входя в эту матрицу уже не в форме веры, а культуры, искусства, традиций и пр. В отношении же русского народа и его государства в XIX веке учение Маркса содержало системное отрицание, поскольку в мировоззренческой матрице этого народа присутствовала триада «самодержавие—православие—народность».

В принципе, если бы русские действительно вникли в учение Маркса как «критику религии», они бы вошли в конфликт с очень многими постулатами этого учения. Рассмотрим эти постулаты.

Маркс пишет о религии вообще: «Ее сущность выражает уже не *общность*, а *различие*. Религия стала выражением *отделения* человека от той *общности*, к которой он принадлежит, от себя самого

и других людей, — чем и была *первоначально*. Она является всего только абстрактным исповеданием особой превратности, *частной прихоти*, произвола. Так, бесконечное дробление религии в Северной Америке даже *внешним образом* придает религии форму чисто индивидуального дела. Она низвергнута в сферу всех прочих частных интересов и изгнана из политической общности как таковой» [180, с. 392].

Это представление религии не соответствует знаниям об этногенезе, то есть о происхождении этнических общностей. В общем случае религия никоим образом не становится «абстрактным исповеданием *частной прихоти*» и «чисто индивидуальным делом», не отделяет человека от общности, а совсем наоборот — *соединяет* его с нею. В отношении христианства эту проблему тщательно изложил М. Вебер (в книге «Протестантская этика и дух капитализма»), а в отношении ислама все приведенное выше утверждение Маркса является очевидно ошибочным. Сказать, что ислам «низвергнут в сферу всех прочих частных интересов и изгнан из политической общности как таковой», было бы просто нелепо. Что же касается Православия, то оно стоит на идее религиозного *братства* и *коллективного* спасения души, что передается в культуру как *этика любви*. Это — сила не изолирующая человека, а соединяющая его с ближними — вплоть до идеи *всечеловечности*.

Отвергая *активную* связывающую людей роль религии, Маркс представляет ее как производную от *материальных* отношений. Он пишет: «Уже с самого начала обнаруживается материалистическая связь людей между собой, связь, которая обусловлена потребностями и способом производства и так же стара, как сами люди, — связь, которая принимает все новые формы и, следовательно, представляет собой «историю», вовсе не нуждаясь в существовании какой-либо политической или религиозной нелепости, которая еще сверх того соединяла бы людей» [110, с. 28-29].

Это противоречит опыту всех времен, вплоть до современных исследований в этнологии, причем в отношении роли религии не только как средства господства («вертикальные» связи), но и как силы, связывающей людей в «горизонтальные» общности (этнос). Даже на пороге Нового времени Ф. Бэкон называл религию «главной связующей силой общества».

Именно в социологии религии возникло важнейшее понятие *коллективных представлений*. Религиозные представления не выводятся из личного опыта, они вырабатываются только в совместных размышлениях и становятся первой в истории человека формой *общественного* сознания. Религиозное мышление *социоцентрично*. Даже самая примитивная религия является символическим выраже-

нием социальной реальности — посредством нее люди осмысливают свое общество как нечто большее, чем они сами.

Маркс и Энгельс считают религиозную составляющую общественного сознания его *низшим* типом, даже относят его к категории животного «сознания» (само слово сознание здесь не вполне подходит, поскольку выражает атрибут животного). В их совместном труде «Немецкая идеология» сказано: «Сознание... уже с самого начала есть общественный продукт и остается им, пока вообще существуют люди. Сознание, конечно, вначале есть всего лишь осознание *ближайшей* чувственно воспринимаемой среды... в то же время оно — осознание природы, которая первоначально противостоит людям как совершенно чуждая, всемогущая и непреступная сила, к которой люди относятся совершенно по-животному и власти которой они подчиняются, как скот; следовательно, это — чисто животное осознание природы (обоожествление природы)» [110, с. 29]. [50]

Обожествление как специфическая операция человеческого сознания трактуется Марксом и Энгельсом как «чисто животное осознание». Однако никаких признаков религиозного сознания у животных, насколько известно, обнаружить не удалось. Эта метафора есть оценочная характеристика — не научная, а идеологическая. Это — биологизация человеческого общества, перенесение на него эволюционистских представлений, развитых Дарвином для животного мира.

Энгельс пишет: «Религия возникла в самые первобытные времена из самых невежественных, темных, первобытных представлений людей о своей собственной и об окружающей их внешней природе» [1, с. 313]. Каковы основания, чтобы так считать? Никаких. Даже наоборот, духовный и интеллектуальный подвиг первобытного человека, сразу создавшего в своем воображении сложный религиозный образ мироздания, следовало бы поставить выше подвига Вольтера — как окультуривание растений или приручение лошади следует поставить выше создания атомной бомбы.

Получив возможность «коллективно мыслить» с помощью языка, ритмов, искусства и ритуалов, человек сделал огромное открытие для познания мира, равноценное открытию науки — он разделил видимый реальный мир и невидимый «потусторонний». Оба они составляли неделимый Космос, оба были необходимы для понимания целого, для превращения хаоса в упорядоченную систему символов, делающих мир *домом* человека. Причем эта функция религиозного сознания не теряет своего значения от самого зарождения человека до наших дней — об этом говорит М. Вебер в своем труде «Протестантская этика и дух капитализма».

Обожествление природы не преследовало никаких «скотских» производственных целей, это был творческий процесс, отвечающий *духовным* потребностям. К. Леви-Стросс считал, что мифологическое мышление древних основано на тех же интеллектуальных операциях, что и наука («Неолитический человек был наследником долгой научной традиции»). Первобытный человек оперирует множеством абстрактных понятий, применяет к явлениям природы сложную классификацию, включающую сотни видов. В «Структурной антропологии» Леви-Стросс показывает, что первобытные религиозные верования представляли собой сильное интеллектуальное орудие освоения мира человеком, сравнимое с позитивной наукой. Он пишет: «Разница здесь не столько в качестве логических операций, сколько в самой природе явлений, подвергаемых логическому анализу... Прогресс произошел не в мышлении, а в том мире, в котором жило человечество» [181].

Функцией религии, вопреки представлениям Маркса и Энгельса, является вовсе не утверждение невежественных представлений, а *рационализация* человеческого отношения к божественному. При этом «рационализация отношения к божественному» мобилизует и присущие каждому народу видение *истории* и *художественное* сознание. Возникает духовная структура, занимающая исключительно важное место в центральной мировоззренческой матрице народа. Тютчев писал о православных обрядах: «В этих обрядах, столь глубоко исторических, в этом русско-византийском мире, где жизнь и обрядность сливаются, и который столь древен, что даже сам Рим, сравнительно с ним, представляется нововведением, — во всем этом для тех, у кого есть чутье к подобным явлениям, открывается величие несравненной поэзии... Ибо к чувству столь древнего прошлого неизбежно присоединяется предчувствие неизмеримого будущего» (см. [182, с. 277]).

Создавая свою модель исторического процесса (исторический материализм), Маркс и Энгельс на первый план ставили материальное производство и связанные с ним отношения — материальное бытие. Духовная сфера человека ставилась на гораздо более низкий уровень. Не будем здесь говорить о познавательной ценности этой модели для решения конкретных задач марксизма. Важно то, что положения модели начинали «жить своей жизнью» и восприниматься как общезначимые (да и сами Маркс и Энгельс так их понимали). При этом они резко искажали реальность.

Маркс и Энгельс пишут: «Даже туманные образования в мозгу людей, и те являются необходимыми продуктами, своего рода испарениями их материального жизненного процесса... Таким образом, мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и соответствующие им формы сознания утрачи-

вают видимость самостоятельности. У них нет истории, у них нет развития: люди, развивающие свое материальное производство и свое материальное общение, изменяют вместе с этой своей действительностью также свое мышление и продукты своего мышления. Не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание» [110, с. 25].

Это принижение роли идеологии, морали, религии и «и соответствующих им форм сознания» и их якобы детерминированность развитием материального производства очень дорого обошлось народу России — и в процессе революции, и особенно на последних этапах советского периода. Противоречие между марксизмом как принятой идеологией и религиозный взглядом на бытие как важной частью мировоззрения русских людей (даже атеистов), закладывало основу культурного и духовного кризиса. В этом смысле марксизм мог быть принят без конфликта только городским человеком индустриального общества Запада. О. Шпенглер писал: «Материалистическое понимание истории, которое признает экономическое состояние причиной (в физическом смысле слова), а религию, право, нравы, искусство и науку лишь функциями экономики, несомненно в нашей поздней стадии развития обладает какой-то убедительностью, так как оно обращается к мышлению безрелигиозных и лишенных традиций людей больших городов» [62, с. 125-126].

Но даже если отвлечься от конфликта в восприятии. Установка Маркса в принципе искажает реальность. Религия вовсе не является продуктом «производственных отношений», тезис Маркса подгоняет действительные отношения к своей модели. М. Вебер специально подчеркивает: «Религиозные идеи *не* могут быть просто *дедуцированы* из экономики. Они в *свою очередь*, и это совершенно бесспорно, являются важными пластическими элементами «национального характера», полностью сохраняющими автономность своей внутренней закономерности и свою значимость в качестве движущей силы» [160, с. 266]. Сила того удара, который в ходе революции в России был нанесен по «важным пластическим элементам «национального характера», во многом был обусловлен установками марксизма, которым следовали революционеры.

Маркс различает разные типы религиозных воззрений («первобытные» и «мировые» религии) лишь по степени их сложности, которая, как он считал, соответствует сложности производственных отношений. Религия предстает просто как инструмент «общественно-производственных организмов», которые или выбирают наиболее подходящее для них орудие из имеющихся в наличии, или быстренько производят его. Маркс пишет о капиталистической формации: «Для общества товаропроизводителей...

наиболее подходящей формой религии является христианство с его культом абстрактного человека, в особенности в своих буржуазных разновидностях, каковы протестантизм, деизм и т. д.» [100, с. 89].

А что же *докапиталистические* формации с их общинностью и внеэкономическим принуждением, как это было в России? Им, по мнению Маркса, видимо, соответствуют язычество, кикиморы и лешие. Вот как он видит дело: «Древние общественно-производственные организмы несравненно более просты и ясны, чем буржуазный, но они покоятся или на незрелости индивидуального человека, еще не оторвавшегося от пуповины естественнородовых связей с другими людьми, или на непосредственных отношениях господства и подчинения. Условие их существования — низкая ступень развития производительных сил труда и соответственная ограниченность отношений людей рамками материального процесса производства жизни, а значит, ограниченность всех их отношений друг к другу и к природе. Эта действительная ограниченность отражается идеально в древних религиях, обожествляющих природу, и народных верованиях» [100, с. 89-90].

С этим никак нельзя согласиться. Какая пуповина, какая «ограниченность отношений людей рамками материального процесса производства жизни!» В ходе собирания русского народа за тысячу лет сменилось множество формаций, уже по второму кругу начали сменяться — от социализма к капитализму — и все при христианстве. А в просвещенной Литве ухитрились до XV века сохранять свои «древние религии и народные верования». Куда реалистичнее диалектическая модель взаимодействия производственных отношений, этногенеза и религии, предложенная Максом Вебером.

Маркс писал свои главные труды на материале Запада и для Запада. Поэтому и рассуждения на темы религии проникнуты евроцентризмом. Даже когда речь у него идет о религии вообще, неявно имеется в виду именно *христианство*. Маркс прилагает к нему «формационный» подход, постулируя существование некоего правильного пути развития. Протестантская Реформация выглядит необходимой «формацией» в развитии религии (подобно тому, как капитализм оказывается необходимой стадией развития производительных сил и производственных отношений). По мнению Энгельса, протестантизм является даже *высшей* формацией христианства. Он пишет, выделяя курсивом всю эту фразу: «*Немецкий протестантизм — единственная современная форма христианства, которая достойна критики*» [183, с. 578].

Для нас важно, что христианство во всех его ветвях сыграло важнейшую роль в духовном развитии почти всех европейских народов, включая народы России. Марксизм, став с конца XIX века наиболее

авторитетным для российской интеллигенции обществоведческим учением, а затем и основой официальной идеологии СССР, сильно повлиял на наши представления о роли религии в формировании, угасании, мобилизации культуры, то есть всех общественных процессов.

Здесь снова надо вернуться к мысли Маркса о том, что религия является продуктом *производственных* отношений. Он пишет: «Религия, семья, государство, право, мораль, наука, искусство и т. д. суть лишь особые виды производства и подчиняются его всеобщему закону» [115, с. 117]. Из этого следует, например, что активной роли в становлении национальных отношений, которые явно *не подчиняются* «всеобщему закону производства», религия не играет. Это — ошибочная установка, которая лишила советское общество важного знания.

Более того, по мнению Маркса религия не оказывает активного влияния и на становление человека как личности, даже вне зависимости от его национального сознания. В разных вариантах он повторяет тезис: «не религия создает человека, а человек создает религию» [55, с. 252]. Это положение — одно из оснований всей его философии, пафосом которой является *критика*. Во введении к большому труду «К критике гегелевской философии права» он пишет: «Основа иррелигиозной критики такова: человек создает религию, религия же не создает человека» [55, с. 414].

В рамках нашей темы это положение принять нельзя. Религия есть *первая* и особая форма общественного сознания, которая в течение тысячелетий была господствующей формой. Как же она могла не «создавать человека»? Реальный человек всегда погружен в национальную культуру, развитие которой во многом предопределено религией. Русский человек «создан православием», как араб-мусульманин «создан» исламом.

В зависимости от того, как осуществлялось изменение религиозного ядра народного мировоззрения, предопределялся ход истории на века. Раскол на суннитов и шиитов на раннем этапе становления ислама до сих пор во многом предопределяет состояние арабского мира. Последствия религиозных войн порожденных Реформацией в Европе, не изжиты до сих пор. Глубоко повлиял на ход истории России и раскол русской Православной церкви в XVII веке.

Религия во все времена, вплоть до настоящего времени, оказывала огромное прямое и косвенное влияние на *искусство*. Если рассматривать искусство как особую форму представления и осмысления мира и человека в художественных образах, то игнорирование роли религии сразу резко ослабляет познавательные возможности обществоведения. Песни и былины, иконы и картины, архитектура и

театр — все это сплачивает людей одного народа общим эстетическим чувством, общим невыразимым переживанием красоты.

Позиция Маркса и Энгельса в отношении к религии и церкви («гадине», которую надо раздавить) выросла из представлений Просвещения (конкретнее, вольтеровских представлений). Эту генетическую связь можно принять как факт — вплоть до семантического сходства (метафора религии как *опиума* была использована до Маркса Вольтером, Руссо, Кантом, Б.Бауэром и Фейербахом). Предметом представлений Вольтера было именно *христианство*. По его словам, христианство основано на переплетении «самых пошлых обманов, сочиненных подлейшей сволочью».

Энгельс пишет о христианстве: «С религией, которая подчинила себе римскую мировую империю и в течение 1800 лет господствовала над значительнейшей частью цивилизованного человечества, нельзя разделаться, просто объявив ее состряпанной обманщиками бессмыслицей... Ведь здесь надо решить вопрос, как это случилось, что народные массы Римской империи предпочли всем другим религиям эту бессмыслицу, проповедуемую к тому же рабами и угнетенными» [184, с. 307].

Здесь Энгельс преувеличивает роль религии в формировании общественного сознания даже буржуазного общества XIX века: «Это лицемерие [современного христианского миропорядка] мы также относим за счет религии, первое слово которой есть ложь — разве религия не начинается с того, что, показав нам нечто человеческое, выдает его за нечто сверхчеловеческое, божественное?.. Мы знаем, что вся эта ложь и безнравственность проистекает из религии, что религиозное лицемерие, теология, является прототипом всякой другой лжи и лицемерия» [185, с. 591].

Такое же полное отрицание имеет место и когда речь идет об отношении между религией и социальными противоречиями. Маркс пишет: «На социальных принципах христианства лежит печать пронырливости и ханжества, пролетариат же — революционер» [186, с. 205].

Обе части этого утверждения не подтверждаются ни исторически, ни логически. Никакой печати пронырливости на социальных принципах христианства найти нельзя — достаточно прочитать Евангелие. В чем пронырливость Томаса Мюнцера и всей крестьянской войны в Германии, которая шла под знаменем «истинного христианства»? В чем видна пронырливость русских крестьян, революция которых вызрела под влиянием «народного православия»? Разве утверждение «Земля — Божья!» является выражением ханжества? Пронырливости нельзя найти и в «Философии хозяйства» С. Булгакова, как и вообще в его трудах, где он обсуждает социальные принципы христианства. Где признаки

пронзырливости в теологии освобождения в Латинской Америке?

Мнение о революционности западного пролетариата, противопоставленной предполагаемому ханжеству социальных принципов христианства, ничем не подкреплено. Все революции, окрашенные христианством, всегда имели *социальное* измерение, а вот классовая борьба западного пролетариата в большинстве случаев сводилась к борьбе за более выгодные условия продажи рабочей силы, что с гораздо большим основанием можно назвать пронзырливостью.

Перейдем непосредственно к проблеме религиозного сознания в революциях. Революции такого масштаба, как русская, решают главные проблемы бытия, а потому и не могут не быть движениями *религиозными*. Де Токвиль писал: «Французская революция является политической революцией, употребившей приемы и, в известном отношении, принявшей вид революции религиозной... Она проникает на далекие расстояния, она распространяется посредством проповеди и горячей пропаганды, она воспламеняет страсти, каких до того времени никогда не могли вызвать самые сильные политические революции... Она сама стала чем-то вроде новой религии, не имевшей ни Бога, ни культа, ни загробной жизни, но тем не менее наводнившей землю своими солдатами, своими апостолами и мучениками» [187].

Русская революция с точки зрения социолога, продолжающего линию Де Токвиля, также является революцией *религиозной*. Марксизм, низводя религиозное сознание на уровень «пронзырливости и ханжества», вступал в глубокий духовный конфликт с «солдатами, апостолами и мучениками» русской революции. Он омрачал, озлоблял их душу и расщеплял сознание. Она затрудняла и понимание происходящего процесса.

Коммунистическое учение того времени в России было в огромной степени *верой*, особой религией, но именно эту сторону сознания приходилось подавлять и репрессировать, следуя учению марксизма. М.М. Пришвин записал в своем дневнике 7 января 1919 г. «Социализм революционный есть момент жизни религиозной народной души: он есть прежде всего бунт масс против обмана церкви, действует на словах во имя земного, материального изнутри, бессознательно во имя нового бога, которого не смеет назвать и не хочет, чтобы не смешать его имя с именем старого Бога» [6].

Революционный подъем породил совершенно необычный в истории культуры тип — *русского рабочего* начала XX века. Этот русский рабочий, ядро революции, был прежде всего *культурным типом*, в котором Православие и Просвещение, слитые в нашей классической культуре, соединились с идеалом

действия, направленного на земное воплощение мечты о равенстве и справедливости.

Сохраняя космическое чувство крестьянина и его идущее от Православия эсхатологическое восприятие времени, рабочий внес в общинный идеал равенства и справедливости вектор реального построения на нашей земле материальных оснований для Царства справедливости. Эта *действенность* идеала, означавшая отход от толстовского *непротивления злу насилеи*, была важнейшей предпосылкой к тому, чтобы ответить на мятеж белых («детей Каина») вооруженным сопротивлением.[51]

Революционное движение русского рабочего и стоявшего за ним общинного крестьянина было «православной Реформацией» России. В нем был силен мотив жертвенности.

Историк А.С. Балакирев говорит об «атмосфере напряженных духовно-религиозных исканий в рабочей среде», которая отражена в исторических источниках того времени. Он пишет: «Агитаторы-революционеры, стремясь к скорейшей организации экономических и политических выступлений, старались избегать бесед на религиозные темы, как отвлекающих от сути дела, но участники кружков снова и снова поднимали эти вопросы. «Сознательные» рабочие, ссылаясь на собственный опыт, доказывали, что без решения вопроса о религии организовать рабочее движение не удастся. Наибольшим успехом пользовались те пропагандисты, которые шли навстречу этим запросам. Самым ярким примером того, в каком направлении толкали они мысль интеллигенции, является творчество А.А. Богданова» [188].

Эти духовные искания рабочих и крестьян революционного периода отражались в культуре. Здесь виден уровень сплоченности и накал чувства будущих «красных». Исследователь русского космизма С.Г. Семенова пишет: «Никогда, пожалуй, в истории литературы не было такого широчайшего, постигнута низового поэтического движения, объединенного общими темами, устремлениями, интонациями... Революция в стихах и статьях пролетарских (и не только пролетарских) поэтов... воспринималась не просто как обычная социальная революция, а как грандиозный катаклизм, начало «онтологического» переворота, призванного пересоздать не только общество, но и жизнь человека в его натурально-природной основе. Убежденность в том, что Октябрьский переворот — катастрофический прерыв старого мира, выход «в новое небо и новую землю», было всеобщим» [189].

Великим еретиком и богостроителем был М. Горький, которого считают одним из основателей советского общества. Религиозными мыслителями были многие деятели, принявшие участие в создании культуры, собиравшей советский народ — Брюсов и Есенин, Клюев и Андрей Платонов, Вернадский и Циолковский. В своей статье о религиозных исканиях Горького М. Агурский пишет, ссылаясь

на исследования русского мессианизма, что «религиозные корни большевизма как народного движения уходят в полное отрицание значительной частью русского народа существующего мира как мира неправды и в мечту о создании нового «обо женного» мира. Горький в большей мере, чем кто-либо, выразил религиозные корни большевизма, его *прометеевское богоборчество*» [190].

Религиозным чувством были проникнуты и революционные рабочие и крестьяне России, и революционная интеллигенция. Бердяев писал: «Социальная тема оставалась в России религиозной темой и при атеистическом сознании. «Русские мальчишки», атеисты, социалисты и анархисты — явление русского духа. Это очень хорошо понимал Достоевский» [191].

Да и *антицерковный* радикализм деревенских комсомольцев 20-х годов (с которым, кстати, даже боролась партия) на деле был всплеском именно религиозного чувства, просто этот факт сейчас выгодно замалчивать. А Иван Солоневич писал: «Комсомольского безбожия нельзя принимать ни слишком всерьез, ни слишком буквально. У русской молодежи нет, может быть, веры в Бога, но нет и неверия. Она — как тот негр из киплинговского рассказа, для которого Богом стала динамомашина. Да, суррогат — но все-таки не безверие. Для комсомольца Богом стал трактор — чем лучше динамомашини? Да и в трактор наш комсомолец верит не как в орудие его личного будущего благополучия, а как в ступеньку к какому-то все-таки универсальному «добрру». Будучи вздут — он начнет искать других ценностей, но тоже универсальных.

Я бы сказал, что русский комсомолец, как он ни будет отбрыкиваться от такого определения, если и атеистичен, то атеистичен тоже по-православному. Если он и делает безобразия, то не во имя собственной шкуры, а во имя «мира на земли и благоволения в человеках» [149, с. 455].

Либерал М.М. Пришвин, тяжело переживая крах февральских иллюзий, так выразил суть Октябрьской революции: «горилла поднялась за правду». Но что такое была эта «горилла»? 31 октября 1917 г. он выразил ее смысл почти в притче. При нем возник в трамвае спор о правде (о Керенском и Ленине) — почти до драки. И кто-то призвал спорщиков: «Товарищи, мы православные!» И Пришвин признал, что советский строй («горилла») — это соединение невидимого града православных с видимым градом на земле товарищей: «В чистом виде появление гориллы происходит целиком из сложения товарищей и православных» [6].

Советский проект (представление о *благой жизни*) выработывался, а Советский Союз строился людьми, которые находились в состоянии *религиозного подъема*. В разных формах многие мыслители

Запада, современники русской революции высказывали важное утверждение: Запад того времени был безрелигиозен, Советская Россия — глубоко религиозна. Английский экономист Дж. Кейнс, работавший в 20-е годы в России, писал: «Ленинизм — странная комбинация двух вещей, которые европейцы на протяжении нескольких столетий помещают в разных уголках своей души, — религии и бизнеса». Позже немецкий историк В. Шубарт в книге «Европа и душа Востока» (1938) писал: «Дефицит религиозности даже в религиозных системах — признак современной Европы. Религиозность в материалистической системе — признак советской России».

Эта «надконфессиональная» религиозность, присущая в тот момент всем народам СССР, соединяла их в советский народ и служила важной силой строительства государства. Сейчас, когда слегка утихли перестроечные страсти, в «Независимой газете» читаем признания такого типа: «В первые два-три десятилетия после Октябрьской революции (по крайней мере до 1937 г.) страна воспринимала себя в качестве *цитадели абсолютного добра*, а в религиозном смысле — превратилась в главную силу, противостоящую безбожному капитализму и творящую образ будущего» [151].

Таким образом, в ходе революционного процесса в России существовал глубокий скрытый конфликт между марксизмом и мировоззренческими установками русского революционного народа. Но помимо этого, возникло и продолжалось в течение всего советского периода противостояние между марксизмом и верующей частью населения России.

К концу 30-х годов был в основном исчерпан политический конфликт советского государства с церковью, возникший в 1918 г. Отойдя от политики и перестав быть идеологической инстанцией, церковь продолжала выполнять свои духовные функции по соединению народа и легитимации государственности. Особенно важными стали эти функции во время войны. В 1943 г. Сталин встречался с церковной иерархией и церкви было дано новое, национальное название — Русская православная церковь (до 1927 г. она называлась *Российской*). В 1945 г. на средства правительства было организовано пышное проведение собора с участием греческих иерархов. После войны число церковных приходов увеличилось с двух до двадцати двух тысяч.[52]

Тем не менее, атеистическая пропаганда 20-30-х годов, характер которой был во многом задан именно установками марксизма, проложил важную линию раскола в советском обществе, которая была использована во время перестройки. Значительная часть верующих советских людей в результате этой пропаганды ощутила себя «отделенной от государства» (какая-то часть граждан и буквально —

вследствие запрета верующим на пребывание в рядах единственной правящей партии).

Опираясь, по выражению Ленина, на «краеугольный камень всего миросозерцания марксизма в вопросе о религии», под которым лежал призыв Вольтера «Раздавить гадину!», марксисты организовали в СССР большой поход под лозунгом «Борьба с религией — борьба за социализм». Взглянем на дело глазами этой части народа — верующих, которые не были революционерами, но приняли советскую власть и стали лояльными гражданами СССР.

Советские марксисты приняли унаследованное Марксом от просветителей вольтеровское представление о религии как о «вздохе угнетенной твари». Так рассмотрим дело со стороны «угнетенной твари». Маркс пишет: «Религиозное отражение действительного мира может вообще исчезнуть лишь тогда, когда отношения практической повседневной жизни людей будут выражаться в прозрачных и разумных связях их между собой и природой. Строй общественного жизненного процесса, т.е. материального процесса производства, сбросит с себя мистическое туманное покрывало лишь тогда, когда он станет продуктом свободного общественного союза людей и будет находиться под их сознательным планомерным контролем. Но для этого необходима определенная материальная основа общества» [100, с. 90].

Не будем даже обращать внимания на явные натяжки в этой формуле Маркса (например, на сведение «общественного жизненного процесса» к «материальному процессу производства») и на явную утопичность полной рационализации «отношений практической повседневной жизни людей». Для нашего вопроса достаточно признания Марксом того факта, что *вплоть до создания* «определенной материальной основы общества» (на деле именно неопределенной) «религиозное отражение действительного мира» исчезнуть *не может*. Ясно, что исчезнуть не может потому, что является необходимой, жизненно важной частью общественного сознания. Это — деталь в общественном механизме, которая нам не нравится, но функцию которой мы признаем необходимой (даже если не вполне ее понимаем).

Если так, то какое же право имели марксисты, придя к власти в обществе, где этой «определенной материальной основы» явно не было и в ближайшие годы не предвиделось, вести борьбу на уничтожение против жизненно важной части общественного организма? Какое право они имели «давить гадину» и хватать «угнетенную тварь» за горло, чтобы не дать ей сделать «вдох»? Они разве уже освободили «тварь» от угнетения «материальной основой общества»?

Нет, им просто были близки и понятны метафоры про «тварь», невежество, дикость и мракобесие религии, а оговорки, сделанные вполголоса, они не читали. И это понятно, потому что пафос и художественная сила метафор Маркса многократно превосходили силу произносимых вполголоса оговорок.

Конрад Лоренц писал в 1966 г.: «Молодой «либерал», достаточно поднаторевший в критическом научном мышлении, но обычно не знающий органических законов, которым подчиняются общие механизмы естественной жизни, и не подозревает о катастрофических последствиях, которые может вызвать произвольное изменение [культурных норм], даже если речь идет о внешне второстепенной детали. Этому молодому человеку никогда бы не пришло в голову выкинуть какую либо часть технической системы — автомобиля или телевизора — только потому, что он не знает ее назначения. Но он запросто осуждает традиционные нормы поведения как предрассудок — нормы как действительно устаревшие, так и необходимые. Покуда сформировавшиеся филогенетически нормы социального поведения укоренены в нашей наследственности и существуют, во зло ли или в добро, разрыв с традицией может привести к тому, что все культурные нормы социального поведения угаснут, как пламя свечи» [192].

В первой половине XX века наши марксисты «с научным мышлением», а в конце XX века их дети, ставшие «либералами», приложили огромные усилия, чтобы разрушить культурное ядро общества. В первом случае объектом разрушения была религиозная компонента этого ядра. Это причиняло людям массовые страдания.

Кстати, даже после той катастрофы, что произошла в СССР в 90-е годы, многие наши марксисты не обнаруживают рефлексии и не чувствуют ответственности. Достаточно указать им на высказывания самого Маркса — и они тебя считают мракобесом. «Угнетенной твари» открыто отказывают в праве на «вздых».

Взглянем на эти установки Маркса не с точки зрения «угнетенной твари», а от культуры в целом. Нам известно из самого же марксизма, что почти две тысячи лет, до недавнего времени, именно религиозное сознание было главным «двигателем» даже в художественном самовыражении человека. Пробегите в уме, неужели искусство — это «вздых угнетенной твари»? Неужели так можно назвать средневековые соборы, иконы Рублева или музыку Баха? Неужели «угнетенная тварь» вздыхает в деле Сергия Радонежского, крестовых походах, шиитских гимнах, бунте Лютера или Аввакума?

Не наоборот ли? Похоже, что именно в «прозрачных и разумных связях» тотальной купли-продажи человек и движется к состоянию «угнетенной твари», все более и более заменяющей ценность ценой. И это может происходить без всякой эксплуатации. Борьба против нее в России как раз и была религиозным делом («святым народным делом»), а дальнейший путь по траектории марксизма грозил нам выхолащиванием души.

Общий вывод из этой главы сводится к следующему. Часто говорят, что марксизм не мог нанести большого вреда советскому строю, потому что изучали его формально и он не проник глубоко в сознание, не деформировал его. Это заблуждение, и многие из нас впадают в него только потому, что существовали (и существуют) в культурной среде, «пропитанной» марксизмом. В момент кризиса или при столкновении с иной культурной средой деформации нашего сознания сразу проявлялись.

Вот как в книге глубоко мною уважаемого Б.П. Курашвили «Историческая логика сталинизма» [193] дана трактовка советской истории. Эта книга — прекрасно выполненное, новаторское изложение фактов и событий. Книга Курашвили — одно из лучших произведений российской левой печати, она написана автором, который глубоко переживал поражение советского социализма. На мой взгляд, в этой книге отразилась драма человека, который разрывался между реальностью и учением марксизма. Здесь я хочу сказать именно об аксиомах марксизма, из которых автор исходит в своей трактовке. Они совершенно не вяжутся с фактами, которые он излагает.

Первая аксиома утверждает, что существуют «объективные законы общественного развития». Все, что соответствует объективному закону, — хорошо, а все, что в него не укладывается, — это искривление. От этого нарушения законов все наши беды. К числу объективных законов относятся аксиомы Маркса о том, что революция может быть успешной только в странах, где капитализм развился в полной мере и уже стал сдерживать прогресс производительных сил.

Исходя из этого Курашвили и оценивает русскую революцию. По его мнению, она в России произошла, по «не вполне по объективным законам... Социалистическая революция в капиталистически недостаточно развитой стране была отягощена первородным грехом волюнтаризма... Рождение социализма в России было в известном смысле одним из исторических зигзагов» [193, с. 214-215].

Следуя этой аксиоме Маркса, Курашвили вынужден идти против фактов и логики: можно ли считать установку Маркса объективным законом, если все социалистические революции происходили не в странах с развитым пролетариатом, а в крестьянских странах (Россия, Китай, Вьетнам, Куба)? Не

только вся рота идет не в ногу, но даже ни одного прапорщика нет, что шел бы в ногу.

Военный коммунизм, согласно Курашвили, это «авторитарно-утопический социализм. В целом, увы, несостоятельный» [193, с. 10]. Это противоречит здравому смыслу и историческим фактам. Военный коммунизм есть «дитя капитализма, а не социализма», как выражался А. Богданов. Его доктрина была разработана и успешно реализована на практике якобинцами в гораздо более жестких формах, нежели в России в 1918-1920 гг. В военном коммунизме организуется только *распределение* наличных ресурсов, в то время как главное в социализме — организация *производства*.

В России многое было взято из опыта военного коммунизма в Германии во время Первой Мировой войны. Главное в военном коммунизме — насильственное изъятие излишков хлеба у крестьян и его уравнительное, внерыночное распределение среди горожан для спасения их от голодной смерти, поскольку рыночное распределение разрушено войной. Что здесь *утопического*? И почему же он «увы, несостоятельный»? Он спас миллионы горожан и дал похлебку для Красной Армии. А в Отечественную войну карточная система — тоже «увы, несостоятельна»?

На втором этапе построения советской системы, по мнению Курашвили, ущерб от первого нарушения объективных законов (революция в крестьянской стране) был как-то преодолен, но затем «в закономерное течение революционного процесса мощно вмешался внешний фактор. Общество было искусственно возвращено в подобие первой фазы революции, ибо других способов форсированного развития не было видно... Сложилась теоретически аномальная, противоестественная, но исторически оказавшаяся неизбежной модель нового общественного строя — авторитарно-мобилизационный социализм с тоталитарными извращениями» [193, с. 12].

Здесь попытка связать марксизм с фактами разрушает логику. Как может быть *противоестественным* общественный строй, который «исторически оказался неизбежным»? Курашвили ставит на реально существовавшем советском строе клеймо противоестественного только потому, что по шаблонам марксизма он оказывается «теоретически аномальным». Логичнее признать в таком случае негодной именно теорию (как минимум, в приложении к данному конкретному объекту).

Теория, которой следует Курашвили, представляет внешний фактор — грядущую мировую войну — досадной помехой «закономерному течению». Может ли быть правильным «закон», который не учитывает факторы такого масштаба? Почему выбор пути индустриализации, который *единственный* давал возможность спасения (по словам Курашвили, «других способов не было видно»), назван «искус-

ственным»? Ясно, что любое решение в обществе есть нечто искусственное, а не природное, так что здесь это слово несет отрицательный смысл и означает, что советское государство нарушило «объективный закон». Что же это за закон такой, который предписывает России гибель? Чуть от гибели уклонился — нарушитель.

В оценке советского социализма Курашвили следует штампам, которыми Маркс определял «казарменный коммунизм»: «Да, социализм был примитивным, недемократичным, негуманным, общественная собственность приобрела форму государственно-бюрократической... Должная дифференциация доходов в зависимости от реальных результатов труда не обеспечивалась и уступала место уравнивательным тенденциям» [193, с. 14, 17]. Исходя из каких «объективных нормативов» даны эти оценки? Как мог примитивный проект породить Стаханова, Королева и Жукова? По каким меркам определена «негуманность»? Ведь нет же гуманности внеисторической. Гуманизм христианства на Западе привел в Реформации к учению о делении человечества на избранных и отверженных, гуманизм Просвещения породил империализм, обесценивший человеческую жизнь, гуманизм XX века — обернулся большой войной, а потом Вьетнамом, Ираком, Сербией. Какое расслоение общества по доходам надо считать «должным»? Без конкретной меры, примененной к большому перечню показателей, дать оценку жизнеустройству большой страны нельзя, эта оценка вырождается в идеологическое клише.

Что же до послесталинского периода, оценка Курашвили уничтожающая: «Авторитарно-бюрократический социализм — это незаконное, исторически случайное, «приблудное» дитя советского общества. Тягчайший грех этой уродливой модели...» и т.д. [193, с. 17]. Ну как же можно было не убить этого ублюдка — вот на какую мысль наталкивает читателя эта оценка.

Все эти идеологические штампы, которые Курашвили почти буквально берет из формулировок Маркса, находятся в очевидном противоречии со всем содержанием книги. Если учесть, что В.П. Курашвили, высокообразованный человек, преданный социализму и советскому строю, все же мыслил и чувствовал в рамках этого неразрешимого противоречия, показывает, какое глубокое воздействие оказали установки Маркса на советскую интеллигенцию. Когда антисоветский проект был узаконен политически во времена Горбачева, очень у многих людей упал камень с души — противоречие было разрешено на антисоветской основе. Но для страны и народа в целом это означало «погружение в бездну».

Заключение. Зачем все это ворошить сегодня

Что же побудило к написанию этой работы сегодня?

Всякая общественная теория при переносе ее в идеологию подвергается чистке, упрощению и адаптации. Так произошло и с марксизмом, который был взят за основу советской официальной идеологии. Марксизм был адаптирован к идеалам и нормам русской культуры, а также к потребностям укрепления и развития многонационального советского государства. Для этого марксизм пришлось «очистить» от жесткого евроцентризма, а также уходящих корнями в Ветхий Завет и протестантизм представлений об избранных и отвергнутых народах. А поскольку рассуждения Маркса и Энгельса на эти темы были связаны конкретно с крайне отрицательным отношением к славянам, русским и «азиатам», то из «советского марксизма» пришлось изъять весь пласт марксистской доктрины *народов*.

Мы получили в качестве интеллектуального инструмента деформированный, в важном смысле *выхолощенный* марксизм. Вероятно, для первой половины советского периода это было меньшим злом, но злом достаточным, чтобы резко ослабить советское общество в послевоенный период. Мы перестали понимать действия Запада в его холодной войне против СССР.

Эффект от рассмотренных выше трудов Маркса и Энгельса был в *советское время* незаметен — мало кто в СССР читал полное собрание сочинений. Но часть интеллектуальной политической элиты, из которой выросли кадры перестройки, читала Маркса и Энгельса очень внимательно.

Поколение стариков «знало общество, в котором мы живем» — не из учебников марксизма, а из личного опыта. Это знание было неявным, неписаным, но оно было им настолько близко и понятно, что казалось очевидным и неустрашимым. Систематизировать и «записать» его казалось ненужным — и оно стало недоступным. Новое поколение номенклатуры уже не было детьми общинных крестьян, носителей и творцов советского проекта. Это уже были дети интеллигенции.

Но и те, кто рекрутировался через комсомол из рабочих и крестьян, воспитывался в школе, вузе, а некоторые в партийных школах и академиях так, что марксизм вытеснил у них то неявное знание, которое они еще могли получить в семье. В.В. Розанов сказал, что российскую монархию убила русская литература. Это гипербола, но в ней есть зерно истины. По аналогии можно сказать, что СССР убила Академия общественных наук при ЦК КПСС и сеть ее партийных школ.

Вот, в 50-е годы на философском факультете МГУ вместе учились Мамардашвили, Зиновьев, Грушин, Щедровицкий, Левада. Теперь об этой когорте пишут: «Общим для талантливых молодых философов была смелая цель — вернуться к подлинному Марксу» [194]. Что же могла обнаружить у «подлинного Маркса» эта талантливая верхушка наших философов? Жесткий евроцентризм, крайнюю русофобию, доказательство «неправильности» всего советского жизнеустройства и отрицание «грубого уравнительного коммунизма» как реакционного выкидыша цивилизации, тупиковой ветви исторического развития. А также смелую мысль, делящую народы на прогрессивные западные и реакционные славянские.

Сталинское руководство, не имея возможности отцепиться от марксизма, спрятало от советского общества все эти идеи, сфабриковав для внутреннего пользования вульгарную, очищенную версию марксизма. Но уже к 60-м годам талантливые философы, «вернувшиеся» к Марксу, раскопали все эти антисоветские заряды и запустили их в умы трудовой советской интеллигенции. Начиная с 60-х годов XX века и в самом СССР вырос новый слой таких образованных марксистов, они посчитали советский строй неприемлемым искажением и профанацией марксизма — и стали готовить свой *антисоветский проект*, который и осуществили при поддержке «прогрессивных народов Запада».

В формулы марксизма антисоветская часть нашей элиты «подставила» в качестве реакционного народа, который прогрессивные нации имеют право стереть с лица земли, *советский народ*. Его и было решено демонтировать, освобождая жизненное пространство и ресурсы для цивилизации. Мы же, если не вникнем в те свойства методологии Энгельса, которые послужили интеллектуальным инструментом для антисоветских сил, не выберемся из этой ловушки.

В какой мере труды Маркса и Энгельса середины XIX века ответственны за то, что поколения партийной элиты СССР середины XX века собирали все интеллектуальные средства, помогающие им в их антисоветском проекте? Если бы инструменты, изготовленные Марксом и Энгельсом, остались втуне, они нас сейчас не интересовали бы. Но поскольку они *работают* и сегодня, надо их изучать, а роль в этом лично Маркса и Энгельса никакого значения не имеет.

Дж.-М. Кейнс, один из крупных мыслителей XX века, сказал: «Идеи экономистов и политических философов, правы они или нет, гораздо более могущественны, чем это обычно осознается. На самом деле вряд ли миром правит что-либо еще. Прагматики, которые верят в свою свободу от интеллектуального влияния, являются обычно рабами нескольких усопших экономистов».

Значит, мы должны знать, в какую сторону толкают мир те идеи «нескольких усопших экономистов политических философов», о которых говорилось выше. При подготовке этой работы не имело существенного значения возмущение тем высокомерием, с которым Энгельс высказывался о множестве народов, а также его русофобией. Дело прошлое, обижаться на такие вещи глупо, никто не стал бы из-за этого корпеть над книгами и сочинять тексты.

Выше говорилось о том, как высоко оценивал А. Грамши роль присущего марксизму механистического детерминизма в придании оптимизма трудящимся в их борьбе против угнетения. Но затем он выдвинул прямо касающуюся нас мысль о том, что после завоевания власти тот же самый фатализм истмата начинает играть принципиально негативную роль. Грамши продолжает: «Но когда «подчиненный» становится руководителем и берет на себя ответственность за массовую экономическую деятельность, то этот механизм становится в определенном смысле громадной опасностью... Фатализм является не чем иным, как личиной слабости для активной и реальной воли. Вот почему надлежит всегда развенчивать бессмысленность механистического детерминизма, который, будучи объясним как наивная философия массы, и лишь как таковой представляющий элемент внутренней силы, с возведением его в ранг осознанной и последовательной философии со стороны интеллигенции становится причиной пассивности, дурацкого самодовольства» [4, с. 54-55].

И Грамши записал в «Тюремных тетрадах» такое замечание: «Что касается исторической роли, которую сыграла фаталистическая концепция философии практики, то можно было бы воздать ей заупокойную хвалу, отметив ее полезность для определенного исторического периода, но именно поэтому утверждая необходимость похоронить ее со всеми почестями, подобающими случаю» [4, с. 60]. [53]

Однако предложение Грамши «похоронить истмат со всеми подобающими почестями» не прошло. Марксисты укрепились как жреческая каста и в СССР, и на Западе. Неолиберальная волна на их статусе никак не сказалась, потому что марксисты с ней оказались вполне совместимы — пролетарская революция не созрела, советский строй был реакционным, надо способствовать развитию производительных сил в рамках капитализма. Борьба за интересы трудящихся, на их взгляд, более эффективна в рамках социал-демократии, а небольшие реликтовые компартии везде содержатся как «бронепоезд на запасном пути» — чтобы никто не тревожился из-за отсутствия носителей «и этой альтернативы».

Положение постсоветского пространства иное — здесь ведется не классовая борьба, а происходит «демонтаж» бывшего советского народа как «реакционного» и таящего риски и для Запада, и для «новых русских». В отношении этой разновидности гражданской войны люди, мыслящие в категориях марксизма (даже если они об этом не задумываются), представляют собой очень неоднородную общность. В культурном слое России через изучение марксизма прошла практически вся интеллигенция. Она разделилась на такие части: 1) освоили сущность и ее отвергли (до революции они уходили в народничество, в религиозную философию, в левый либерализм); 2) освоили сущность и ее приняли (как до революции меньшевики, бундовцы, троцкисты); 3) интуитивно отвергли сущность (не влезая в нее), но оценили полезность «прикрытия» и использовали ее в политической практике (как верхушка большевиков при Сталине); 4) не вникали в сущность, выбирая свою позицию исходя из актуальных политических предпочтений — большинство.

Нередко спрашивают: разве нанесло принятие марксизма как руководящего учения в советском проекте реальный вред России и самому советскому проекту? Я считаю, что перестройка однозначно ответила на этот вопрос. Мы стоим перед фактом, который невозможно отрицать: советское обществоведение, в основу которого была положена марксистская методология, оказалось несостоятельно в предсказании и объяснении кризиса советского общества. Речь идет о фундаментальных ошибках, совершенных большим интеллектуальным сообществом, так что объяснять эти ошибки глупостью, продажностью или предательством отдельных членов или клика в среде партийной интеллигенции невозможно. Те методологические очки, через которые она смотрела на мир, фатальным образом искажали реальность. Идеологический конформизм интеллигенции мог так легко проявиться потому, что теория марксизма не налагала запрета на смену идеалов.

Предпосылки нашей катастрофы закладывались с самого зарождения революционного движения конца XIX века. Русские марксисты — и легальные, перешедшие к кадетам, и революционные — следовали фундаментальным положениям марксизма относительно крестьянства, необходимости этапа развития капитализма и природы пролетарской революции. Считать, что все эти положения для теории марксизма несущественны, никак нельзя. Если бы кто-то пытался их изъять из истмата, это грозило бы обрушить всю конструкцию — потому-то марксисты так ополчились на народников, а в 1902 г. на эсеров.

Большевики были единственной марксистской партией, которая пересмотрела эти положения после революции 1905-1907 гг. (не во всем, но в существенной части). Остальные, включая эсеров, продолжали им следовать даже после Октября 1917 г. Исходя из этих положений они и считали октябрьскую революцию «незаконной», вредной, антиреволюционной и т.д. Только общей верой в теорию марксизма можно объяснить и тот факт, что даже эсеры, наследники народников, сдались и отказались от своей же аграрной программы, считая антикапиталистическую революцию в России преждевременной.

В марксизме и в русском коммунизме были общие черты, которые делали возможным их взаимодействие, но в то же время создавали и предпосылки для конфликта. В обеих доктринах подспудным основанием являлся *хилиазм* — вера в возможность построения тысячелетнего земного Царства Божия. Однако в хилиазме марксизма и русского коммунизма есть большие различия. С.Н. Булгаков посвятил этому большую работу «Апокалиптика и социализм» [195], в которой показывает, что в марксизме воплощены принципы иудейской апокалиптики с ее верой в «объективные законы», а в русском социализме сильнее крестьянский «народный хилиазм» и новозаветная эсхатология. В марксизме обретение нового царства происходит как катастрофа, как *разрушение* старого мира — при непосредственной помощи избранному народу (пролетариату) со стороны Бога через Откровение (сам марксизм). В советском проекте революция (нахождение града Китежа) есть *очищение* того, что таится в нынешнем мире (общине). В марксизме сильны аллюзии к Ветхому завету, в русском коммунизме — нет (указание на эти аллюзии и сейчас вызывает у наших марксистов сильное раздражение).

Вплоть до 60-х годов XX века симбиоз советского строя и марксизма был одинаково необходим «обеим сторонам». Без этого симбиоза марксизм стал бы достоянием истории. Но, спасенный и отогретьный на груди русского коммунизма, марксизм как интеллектуальное течение позже стал одним из соучастников его убийства. Критический анализ методологического оснащения доктрины марксизма является для постсоветского общества абсолютно необходимым, а для интеллигенции он представляет профессиональный долг. Этот анализ тем более актуален, что как правящая элита, так и оппозиция в РФ продолжают, хотя частью бессознательно, в своих умозаключениях пользоваться инструментами марксизма — смена идеологических клише «победившей» частью общества на это никак не влияет.

Как можно молчать о таком важном явлении, как *антисоветский марксизм* 60-80-х годов на Западе и у нас? Вот, потерпел крах советский проект — ликвидирован СССР, социалистический лагерь, про-

изошла социальная катастрофа в большей части мира. Как на это реагировали западные марксисты? Пьетро Инграо, один из руководителей итальянской компартии, знаменем которой был советский флаг, пишет в 1992 г.: «На Востоке насильственно возникла система социально-политических режимов, которые радикально отличаются от моделей, принятых на Западе. Я отвергаю идею, будто эти деспотические режимы, называемые «реальным социализмом», имели хоть какое-то сходство с гипотезой коммунистического общества... Все мы приветствовали мирное вторжение демократического начала, которое нанесло удар по диктаторским режимам. Символом этого было падение берлинской стены» [196, с. 19-20].

Что же приветствовали итальянские коммунисты? Какую демократию? Почему же «вторжение демократии» мирное — они не читали газет? И кто же был диктатором, по которому демократия нанесла удар — Горбачев? Ради каких ценностей марксисты приветствовали разрушение основ жизни множества народов? Оказывается, вон что: мы жили неправильно, не соответствовали марксистской гипотезе. Инграо разъясняет: «Не думаю, чтобы в моей стране имелись серьезные левые силы, которые считали бы, что в СССР делалась попытка построить социалистический строй. Думаю, что для наиболее продвинутых сил западного коммунизма было ясно, что режимы Востока были очень далеки от социализма, во всяком случае были чем-то другим» [196, с. 33]. А раз чем-то другим, то пусть подышают.

Не лучше обстояло дело и в СССР. Ведь антисоветская доктрина советского государства *как эксплуататора* не просто стала частью полуофициальной, а потом и официальной идеологии, но она была внедрена в массовое сознание. Это влияние марксизма настолько актуально, что его наличие даже сегодня остается важной причиной, по которой у нас не может сложиться дееспособной интеллектуальной оппозиции нынешнему режиму.

Человек берет книгу едва ли не самого виднейшего интеллектуала оппозиции Б.П. Курашвили — и почти на каждой странице читает марксистские обвинения в адрес советской революции. В «Советской России» то же самое, в Интернете — Б. Кагарлицкий и А. Тарасов. Более того, даже обвинения «патриотов» во многом выводятся из марксизма. Так, главная идея И.Р. Шафаревича («два пути к одному обрыву») сводится к тому, что *политэкономически* советский строй и капитализм — якобы одно и то же. Откуда это у него, ведь это явная ошибка! Из марксистской политэкономии.

XX век — это несколько исторических периодов в жизни России, периодов критических. Суть каждого из них была в столкновении противоборствующих сил, созревавших в течение веков. В разных

формах эти силы будут определять и нашу судьбу в XXI веке. Но весь XX век Россия жила в силовом поле большой мировоззренческой конструкции, называемой *русский коммунизм*. Знать ее корни и ее суть необходимо всем, кто собирается жить в России, а уж тем более тем, кто желает Россию укреплять. Русский коммунизм возник и развивался в постоянном взаимодействии, диалоге и острых разногласиях с марксизмом. Если об этих разногласиях не знать, мы русского коммунизма не поймем. А он никуда не делся, он просто развивается и ищет свой новый язык.

Раскол *социалистов* по их отношению к установкам марксизма в ходе революционного процесса в конце привел к Гражданской войне, все «западники» объединились (под рукой самого Запада) против большевиков-«азиатов». После Гражданской войны демобилизовался миллион младших и средних командиров, родом из деревень и малых городов центральной России — «красносотенцы». Они заполнили госаппарат, рабфаки и университеты, послужили опорой сталинизма. Конфликт между «почвенной» и «космополитической» частями коммунизма кончился кровавыми репрессиями, тонкая прослойка «космополитов» была почти сожрана, с огромными потерями для страны. Но в благополучный сытый период 70-80-х годов возродилась уже как сознательный враг — и взяла реванш. Теперь в основном в виде «оборотней» типа Гайдара.

Поскольку главные общественные процессы протекают в сфере *социально-экономических* и в сфере *национальных* отношений, критическому анализу должны быть подвергнуто прежде всего методологическое оснащение марксизма именно в этих сферах. На это и направлена данная работа.

Как показал опыт, эффективные программы по мобилизации или, наоборот, разрушению обществ проводятся путем обращения не к классовым понятиям, а к понятиям *этничности* (племя, народ, нация). Раньше это казалось просто обыденным фактом «низкого» уровня, вынужденной уступкой низкому классовому сознанию людей или даже демагогией правящих слоев. Однако чтение трудов Маркса и Энгельса неожиданно показало, что когда они берутся объяснять события, угрожающие, по их мнению, западной цивилизации (как, например, подавление русскими войсками революции 1848 г. в Венгрии), они отставляют в сторону свой аппарат классового анализа и переходят на жесткий язык этнических понятий. Это и есть действительный методологический инструментальный западной элиты в ее программах мироустройства. Не зная этого и пытаясь применить к реальности аппарат классового подхода, мы в этой «войне народов» оказываемся намного слабее, чем могли бы быть.

Последняя кампания холодной войны, которая привела к поражению СССР, это показала красноречиво. Она вся была проведена с упором на этнические категории и мотивы. В одних случаях растревлялись, гипертрофировались и актуализировались национальные противоречия в прямом смысле слова. В других случаях применялась манипуляция с демократическими ценностями — демагоги обращались к *демосу*, то есть, опять-таки к «народу», а не классу. Перестройка представлялась как война двух народов — *демоса* и *совков*. С прямым обращением к квазиэтническим категориям выходили на площадь актеры и режиссеры «оранжевых» революций, а сами эти революции представлялись битвой «прогрессивного» и «реакционного» народов. Тут есть прямое подобие битве «революционных» народов 1848 года с реакционными *славянами* у Энгельса или даже битве революционного народа Германии с реакционным большинством населения, которое в силу своей реакционности лишается статуса *частиц народа*).

Накопилось достаточно свидетельств того, что под прикрытием отвлекающей стрельбы классовыми («формационными») понятиями вроде «рынка» или «капитализма» политтехнологи Запада и их службы на постсоветской территории ведут работу по демонтажу наших «реакционных» народов и по сборке новых «демосов», по своим качествам соответствующих целям метрополии. Изучение работ Энгельса, пылящихся в архиве, укрепило уверенность в том, что здесь — важная и актуальная для нас область обществоведения.

Новое поколение, которое уже относится к марксизму рационально, как к научному методу с ограниченной сферой применения, имеет благоприятные возможности, чтобы использовать ценные познавательные средства марксизма и в то же время учитывать без больших эмоций и иррационального отторжения наличие в нем ошибочных и антирусских установок.

Литература

1. Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Соч., т. 21, с. 310.
2. Ф. Энгельс. Соч., т. 41.
3. От марксизма к идеализму. Сборник статей (1896-1903). СПб., 1903. — Цит. в: А.А.Соболевская. Уроки о. Сергия Булгакова: поиски путей социально-экономического устройства России. «Преодоление времени». М.: МГУ, 1998. с. 373.
4. А. Грамши. Искусство и политика. М.: Искусство. 1991.
5. Д. Поспеловский. Русская православная церковь: испытания начала XX века. — Вопросы истории. 1993, № 1.
6. М.М. Пришвин. Дневники. 1914- 1917. М.: Московский рабочий. 1991.
7. В.В. Крылов. Теория формаций. М.: Наука. 1997.
8. М.А. Сажина. Актуальность марксизма для современной экономической науки: марксизм и институционализм. — В кн. Постигание Маркса. М.: МГУ. 1998.
9. М. Агурский. Идеология национал-большевизма. М.: Алгоритм. 2003.
10. Ю.В. Ключников. Наш ответ. — «Смена вех». 1921, № 4.
11. Э.А. Баграмов. Национальный вопрос в борьбе идей. М.: Политиздат. 1982.
12. Ф. Энгельс. Борьба в Венгрии. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд., т. 6, с. 175-186.
13. В.И. Дашичев. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки, документы и материалы. М. 1973, т. 1.
14. С.Г. Кара-Мурза. Демонтаж народа. М.: Алгоритм. 2007.
15. Ю.В. Бромлей. Очерки теории этноса. М.: Наука. 1983.
16. Ф. Энгельс. Демократический панславизм. Соч., т. 6, с. 305-306.
17. Ф. Энгельс. Революционное движение. Соч., т. 6, с. 159.
18. К. Маркс. Британское владычество в Индии. Соч., т. 9.
19. Э.В. Саид. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб.: Русский Мир. 2006. С. 241-247.
20. Ф. Энгельс. Соч., т. 35.
21. В. Шубарт. Европа и душа Востока — Общественные науки и современность, 1992, № 6.

22. Преступные цели — преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР (1941 — 1944 гг.). М. 1968, с. 46.
23. Ф. Бродель. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. М.: Языки славянской культуры. 2002. С. 468.
24. М.А. Бакунин. Кнуто-германская империя и социальная революция. — В книге: М.А.Бакунин. Философия, социология, политика. М., «Правда», 1989, с.188-290.
25. А.А. Галкин, П.Ю. Рахшмир. Консерватизм в прошлом и настоящем. М.: Наука. 1987.
26. К. Маркс. Соч., т. 31.
27. Ф. Энгельс. Происхождение частной собственности, семьи и государства. Соч., т. 21.
28. Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. Соч., т. 20, с. 186.
29. E. Bernstein. La socialdemocracia y los disturbios turcos. — Цит. по: A.Cheroni. La ciencia enmascarada. Montevideo: Universidad de la República, 1994. P. 89-90.
30. Ф. Энгельс. «КГ»[Inische zeitung] о борьбе мадьяр. Соч., т. 6, с. 324-325.
31. Ф. Энгельс. Соч., т. 27, с. 240-241.
32. К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 18.
33. К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 19.
34. К. Маркс. Речь на польском митинге в Лондоне 22 января 1867 года. Соч., т. 16.
35. Ф. Энгельс. Эмигрантская литература. Польская прокламация. Соч., т. 18, с. 506, 508.
36. К. Маркс. Соч., т. 30.
37. Ф. Энгельс. Революционное восстание в Пфальце и Бадене. Соч., т. 6, с. 568-570.
38. Ф. Энгельс. Германия и панславизм. Соч., т. 11, с. 202-208.
39. Ф. Энгельс. Какое дело рабочему классу до Польши? Соч., т. 16, с. 160.
40. Ф. Энгельс. Революция и контрреволюция в Германии. Соч., т. 8, с. 103-107.
41. К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии. Соч., т. 4.
42. Ф. Энгельс. К итальянскому читателю. Предисловие к итальянскому изданию «Манифеста коммунистической партии» 1893 года. — Соч., т. 22
43. К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 6, с. XIII.
44. К. Маркс. Буржуазия и контрреволюция. Соч., т. 6, с. 109-134.
45. Ф. Энгельс. Положение рабочего класса в Англии. Соч., т. 2.

46. Л.Т. Сенчакова. Приговоры и наказания российского крестьянства. 1905-1907. Т. 2. М.: Ин-т российской истории РАН. 1994.
47. Н.И. Ульянов. Басманный философ. — «Вопросы философии». 1990. № 8.
48. В.В. Кожин. Победы и беды России. Русская культура как порождение истории. М.: Алгоритм. 2002, с. 418.
49. А. Филошкин. Когда Россия стала считаться угрозой Западу? Ливонская война глазами европейцев. — «Россия-XXI». 2004, № 3.
50. Вольтер. История Карла XII, короля Швеции, и Петра Великого, императора России. — СПб.: Лимбус Пресс, 1999.
51. А. Строев. Россия глазами французов XVIII — начала XIX века. — www.ruthenia.ru/logos/number/1999_08/1999_8_02.htm.
52. Ю.Я. Орлов. Крах немецко-фашистской пропаганды в период войны против СССР. М., 1985. С. 98 — 99.
53. Ю. Бокарев. «Открытое общество» и его друзья. — «Россия — XXI». 1996, № 5-6.
54. Л. Люкс. О возникновении русофобии на Западе. ПОЛИС, 1993, № 1.
55. К. Маркс. К критике гегелевской философии права. Соч., т.1.
56. В.В. Кожин. Загадочные страницы истории XX века. М.: Прима В. 1995, с. 177.
57. А.И. Миллер. Формирование наций у восточных славян в XIX в. — «Русский исторический журнал». 1999, № 4.
58. Ф. Энгельс. Армии Европы. 3. Русская армия. Соч., т. 11.
59. С.Б. Веселовский. Из старых тетрадей. М.: АИРО-XX. 2004.
60. В.И. Ленин. Русские и негры. Соч., т. 22, с. 345.
61. Г.Н. Новиков. Об архиве А.Ф. Керенского в Техасе. «Новая и новейшая история», 1993, № 1.
62. О. Шпенглер. Пруссачество и социализм. М.: Праксис. 2002.
63. Л. Вульф. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 2003.
64. Карл Маркс. Разоблачения дипломатической истории XVIII века. // Вопросы истории. 1989. № 4.
65. Ж.-Ж. Руссо. Об общественном договоре. М., 1938. С. 38-39.

66. Т.В. Партаненко, В.А. Ушаков. Образ России в революционной Франции («Завещание Петра Великого»). — В кн.: Великая французская революция, империя Наполеона и Европа. СПб., 2006. — <http://www.history.ru/biblioth/novhist/mono/revun/010.htm>.
67. А. Панарин. Народ без элиты. М.: Алгоритм-ЭКМО. 2006.
68. В.К. Волков. К вопросу о происхождении терминов «пангерманизм» и «панславизм» — В кн.: «Славяно-германские культурные связи и отношения». — М., 1969.
69. К. Маркс. Первое воззвание о франко-прусской войне. Соч., т. 17.
70. Дж. Грей. Поминки по Просвещению, М.: Праксис. 2003.
71. К. Маркс. Соч., т. 34.
72. Данилевский Н.Я. Сборник политических и экономических статей. СПб., 1890. С. 32.
73. К. Маркс. Соч., т. 32.
74. В.И. Ленин. Социализм и война. Соч., т. 26.
75. В.И. Ленин. О национальной гордости великороссов. Соч., т. 26, с. 109.
76. В.И. Ленин. Украина. Соч., т. 32., с. 342.
77. К. Маркс. Соч., т. 11.
78. Ф. Энгельс. Соч., т. 21.
79. К. Маркс, Ф. Энгельс. Русская нота. Соч., т. 5, с. 310-311.
80. Д. Конторер. Враг у ворот: юбилейные размышления. — «Россия XXI», 2005, № 4.
81. Ф. Энгельс. Внешняя политика русского царизма. Соч., т. 22.
82. http://www.proriv.ru/articles.shtml/stalin?stalin_pismo2.
83. Н.В. Романовский. Сталин и Энгельс: забытый эпизод кануна Великой Отечественной. — СОЦИС. 2005, № 5.
84. Э. Кисс. Национализм реальный и идеальный. Этническая политика и политические процессы. — В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука. 1994.
85. К. Маркс. Конспект книги Бакунина «Государственность и анархия». Соч., т. 18, с. 579-624.
86. Н.С. Трубецкой. Европа и человечество. София, 1920 — http://hrono.rspu.ryazan.ru/libris/evro_chelov.html.
87. Н.А. Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука. 1990.
88. Ф. Энгельс. О социальном вопросе в России. Соч., т. 18.

89. Ф. Энгельс. Соч., т. 29.
90. В.М. Чернов. Перед бурей. Воспоминания. Нью-Йорк, 1953, с. 334-335.
91. В.И. Ленин. Русская революция и гражданская война. Соч., т. 34.
92. А. Иоффе (В.Крымский). Крах меньшевизма. Пг., 1917, с. 23.
93. Г.В. Плеханов. Год на родине. Полное собрание статей и речей 1917-1918 гг. Париж, 1921. Т. 1, с. 26.
94. М.И. Либер. Социальная революция или социальный распад. Харьков. 1919, с. 16, 17.
95. Н.И. Бухарин. Избранные сочинения. М.: Политиздат, 1988. С. 277-314.
96. К. Янг. Диалектика культурного плюрализма: концепция и реальность. — В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука. 1994.
97. С.Земляной. Двойники власти. — «Политический журнал», 2005, № 8.
98. Н. Коровицына. С Россией и без нее: восточноевропейский путь развития. М.: Алгоритм — ЭКСМО. 2003.
99. П.А. Сорокин. Причины войны и условия мира. — СОЦИС, 1993, № 12.
100. К. Маркс. Капитал. Соч., т. 23.
101. В.И. Ленин. Империализм как высшая стадия капитализма. Соч., 5-е изд., т. 27.
102. Т. Шанин. Революция как момент истины. М.: Весь мир, 1997.
103. Л. Люкс. Коммунистические теоретики о фашизме: озарения и просчеты. ПОЛИС. 1991, № 4, с. 74-85.
104. В.И. Ленин. О праве наций на самоопределение. Соч., т. 25, с. 255-320.
105. К. Маркс. Президенту Соединенных Штатов Америки Аврааму Линкольну. Соч., т. 16, с. 18.
106. К. Маркс. Соч., т. 29.
107. К. Маркс. Гражданская война во Франции. Соч., т. 17.
108. Ф. Энгельс. Соч., т. 39.
109. А.В. Бузгалин, А.И. Колганов. Сталин и распад СССР. М.: УРСС. 2003.
110. К. Маркс, Ф. Энгельс. Немецкая идеология. Соч., т. 3.
111. И. Валлерстайн. Россия и капиталистический мир-экономика, 1500-2010. — «Свободная мысль». 1996, № 5.
112. В.Ж. Келле, М.Я. Ковальзон. Исторический материализм. М.: Высшая школа. 1969, с. 19.
113. <http://www.vz.ru/society/2006/4/16/30163.html>

114. Феномен Сталин. М.: Изд-во МГУ. 2003.
115. К. Маркс. Экономико-философские рукописи 1844 г. Соч., т. 42.
116. Э.В. Ильенков. Философия и культура. М.: Политиздат. 1991. — <http://caute.net.ru/ilyenkov/texts/phc/marxww.html>
117. В.А. Бирюков. Драма великого учения. — В кн. «Постижение Маркса». М.: МГУ. 1998, с. 296.
118. К. Маркс. Экономические рукописи 1857-1859 годов. (Первоначальный вариант «Капитала»). Соч., т. 46, ч. 1.
119. А. Степанов, А. Уткин. Геоисторические особенности формирования российского военно-государственного общества. — «Россия-XXI». 1996, № 9-10.
120. К. Маркс. Конспект книги М.Ковалевского «Общинное землевладение». Соч., т. 45, с. 219-220.
121. В.И. Ленин. Аграрный вопрос и силы революции. Соч., т. 15, с. 204.
122. В.И. Ленин. Соч., т. 47.
123. В.И. Ленин. Л.Н. Толстой. Соч., т. 20, с. 21.
124. Л.Н. Андреев. Верните Россию. М., 1994. С. 180.
125. А.М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах. Т. 24. М., 1953. С. 286.
126. А. Gramsci. UtopГ-a. — In: A. Gramsci. AntologГ-a. МГ©xico: Siglo XXI Eds. 1984.
127. А. Баумгартен. Право на ассимиляцию — left.ru/2005/1/baumgarten_urquhart118.html
128. E. Hobsbawm. IntroducciГin. In: K. Marx, E. Hobsbawm. Formaciones econГimicas precapitalistas. Barcelona. 1984.
129. К. Маркс. Письмо в редакцию «Отечественных записок». Соч., т. 19, с. 116-121.
130. К. Маркс и Ф. Энгельс. Предисловие ко второму русскому изданию «Манифеста коммунистической партии». Соч., т. 19, с. 304-305.
131. Ф. Энгельс. Соч., т. 38.
132. А.В. Чаянов. Крестьянское хозяйство. М.: Экономика, 1989.
133. В.В. Кабанов. Пути и бездорожье аграрного развития России в XX веке. — Вопросы истории, 1993, № 2.
134. К. Маркс. наброски ответа на письмо В.И. Засулич. Соч., т. 19, с. 400-421.
135. Ф. Энгельс. Послесловие к работе «О социальном вопросе в России». Соч., т. 22, с. 438-453.
136. Э. Вольф. Незнакомец*

137. A. Gramsci. La revoluciГin contra «El Capital». — In: A. Gramsci. AntologГ-a. MГ©xico: Siglo XXI Eds. 1984. P. 34-37.
138. Ф. Энгельс. Савойя, Ницца и Рейн. Соч., т. 13. С. 635-636.
139. Ф. Энгельс. Исключительный закон против социалистов в Германии. — Положение в России. Соч., т. 19, с. 158.
140. Ф. Энгельс. Соч., т. 34.
141. В.И. Ленин. Письма из далека. Соч., т. 31, с. 15.
142. А. Ненароков, Д. Павлов. Политическое завещание П.Б.Аксельрода. — «Россия XXI». 1999, № 6.
143. В.И. Ленин. Итоги дискуссии о самоопределении. Соч., т. 30.
144. В.И. Ленин. Соч., т. 35.
145. Н.А. Нарочницкая. Мы должны стать нацией. — «Наше время». 2007, № 33.
146. В.И. Ленин. Соч., т. 41, с. 164.
147. В.И. Ленин. Соч., т. 33, с. 72, 147.
148. С.Н. Булгаков. Неотложная задача (о Союзе христианской политики). — В кн.: Христианский социализм. Новосибирск: Наука. 1991.
149. И.Л. Солоневич. Народная монархия. М.: ЭКСМО-Алгоритм. 2003.
150. С.В. Чешко. Распад Советского Союза. Этнополитический анализ. М., 1996.
151. С.В. Кортунов. Судьба русского коммунизма. — «НГ-сценарии». 4.11.1997.
152. В.И. Ленин. К пересмотру партийной программы. Соч., т. 34.
153. В.И. Ленин. Социалистическая революция и право наций на самоопределение. Соч., т. 27.
154. В.И. Ленин. Крах II Интернационала. Соч., т. 26.
155. В.И. Ленин. Война и российская социал-демократия. Соч., т. 26.
156. В.И. Ленин. Соч., 5-е изд., т. 51.
157. В.Н. Ипатьев. Жизнь одного химика. Нью-Йорк, 1945. Т. 1, с. 35-36.
158. В.И. Ленин. О поражении своего правительства в империалистской войне. Соч., т. 26.
159. И.А. Анфертьев. М.Н. Рютин — инициатор создания «Союза марксистов-ленинцев» — «Клио. Журнал для учёных». 2003, № 3.
160. М. Вебер. Протестантская этика и дух капитализма. — В кн.: М.Вебер. Избранные произведения. М.: Прогресс. 1990.

161. В.Т. Рязанов. Экономическое развитие России. XIX-XX вв. СПб.: Наука. 1998.
162. Ф. Энгельс. Может ли Европа разоружиться. Соч., т. 22.
163. В.И. Ленин. Аграрная программа русской социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов. Соч., т. 16.
164. Э. Карр. История Советской России. Т. 2. М.: Прогресс. 1990.
165. Д.И. Розенберг. Комментарии к «Капиталу» Маркса. М.: Экономика. 1983.
166. Г. Маркузе. Разум и революция. Гегель и становление социальной теории. СПб.: Изд-во «Владимир Даль». 2000, с. 362.
167. М. Горбачев. Декабрь-91. Моя позиция. М.: Изд-во «Новости», 1992.
168. В.А. Анучин. «Географический фактор в развитии общества. М., 1982.
169. Л. Хеймсон. Меньшевизм и эволюция российской интеллигенции. — Россия-XXI. 1995, № 7-8.
170. „Известия ЦК КПСС«, 1989, № 1, с 246.
171. Н.И. Бухарин. Избранные труды. Л.: Наука. 1988.
172. Перестройка: двадцать лет спустя. М.: Русский путь. 2005.
173. Л.Н. Толстой. Стыдно. — Собр. Соч., т. 16. М.: Художественная литература, 1964.
174. Н.А. Бердяев. Философия неравенства. — *Собрание сочинений. Т. 4. Париж: YMCA-Press, 1990.* — http://www.klv.lg.ua/fn_09.html (Издано в России — М.: АСТ. 2006).
175. Ф. Энгельс. Об авторитете. Соч., т. 18.
176. А.П. Бутенко. Власть народа посредством самого народа. М.: Мысль. 1988.
177. А.П. Бутенко — «Общественные науки и современность», 1995, № 5.
178. А. Луначарский. Латинизация русской письменности. — «Культура и письменность Востока». 1930, № 6.
179. Г.П. Федотов. Александр Невский и Карл Маркс. — «Вопросы философии». 1990, № 8.
180. К. Маркс. К еврейскому вопросу. Соч., т. 1.
181. В.Р. Кабо. Проблемы первобытной религии в современной западноевропейской этнологии. — В кн. Этнологическая наука за рубежом. М.: Наука. 1991.
182. В.В. Кожин. Федор Тютчев. — М.: Алгоритм, 2000.
183. Ф. Энгельс. Из второй рукописи «Заметок о Германии». Соч., т. 18.
184. Ф. Энгельс. Бруно Бауэр и первоначальное христианство. Соч., т. 19.

185. Ф. Энгельс. Положение Англии. Соч., т. 1.
186. К. Маркс. Коммунизм газеты «Rheinischer Beobachter». Соч., т. 4.
187. А. де Токвиль. Старый порядок и революция. Гл. III. — <http://liberte.newmail.ru/Books/Тосц1.-html#Гл3>.
188. А. Балакирев. Русские коммунистические утопии и учение Н.Ф.Федорова. — Россия XXI, 1996, № 1-2, 3-4.
189. С.Г. Семенова. Преодоление трагедии. «Вечные вопросы» в литературе. М., 1989.
190. М. Агурский. Великий еретик (Горький как религиозный мыслитель). — Вопросы философии. 1991, № 8.
191. Н. Бердяев. Русская идея. — «Вопросы философии». 1990, № 1.
192. К. Lorenz. La acciГin de la Naturaleza y el destino del hombre. Madrid: Alianza. 1988.
193. Б.П. Курашвили. Историческая логика сталинизма. М.: Былина. 1996.
194. Л. Апсите. Предисловие к лекции Мераба Мамардашвили. — Альманах «Русский мир и Латвия». № 6. Рига. 2006.
195. С.Н. Булгаков. Апокалиптика и социализм. М.: Наука. 1993.
196. P. Ingraо. Perspectivas del socialismo en Europa. — в кн. « Perspectivas del socialismo hoy». Vol. 1. Madrid: FIM, 1992.

Примечания

1

В официальном советском обществоведении эти наблюдения квалифицировались как вздор и клевета на коммунизм.

2

Противоречивому процессу «национализации коммунизма» в период революции и первые послереволюционные годы посвящена книга М. Агурского «Идеология национал-большевизма». Он, в частности пишет, как это удивляло старых работников партии. В речи на X съезде партии один из руководителей украинской парторганизации, В. Затонский, жаловался: «Национальное движение выросло также и в Центральной России... И сейчас мы можем наблюдать, как наши товарищи с гордостью, и небезосновательно, считают себя русскими, а иногда даже смотрят на себя прежде всего как на русских» [9].

3

Эта статья опубликована в 1849 г. в газете «Neue Rheinische Zeitung», главным редактором которой был Маркс, а Энгельс — редактором. Маркс был определенно согласен с принципиальными положениями статьи. Это выразилось во множестве его собственных работ и писем.

4

Удивительное терминологическое совпадение. В августе 1945 г., рассуждая о планах освоения славянских земель после разгрома СССР, Гитлер предлагал построить сеть военных баз, которые должны

были способствовать созданию «все более мощного национального немецкого клина в покоренном... пространстве» [13, с. 67].

5

Домарксистская русская интеллигенция тоже находилась под влиянием немецкой философии. Так, представления о народах Н.Я. Данилевского вполне созвучны Гегелю и Энгельсу. Народы, создающие культурно-исторический тип, являются у Данилевского *прогрессивными*, а разрушающие его (монголы, турки) — *реакционными*. Остальные народы он считал *неисторическими*.

6

Точнее сказать, это представление о революции в советском истмате было глубоко запрятно, ибо иначе было бы невозможно использовать марксизм как ядро официальной идеологии. В подобном изъятии из классического марксизма целого ряда важных положений и заключалась его «вульгаризация» в период сталинизма.

7

В этом прогнозе Энгельс, как мы знаем, ошибся. Отплатить кровавой мстью славянским народам немцы смогли не в «ближайшей мировой войне», а лишь во Второй мировой войне и лишь на первом ее этапе, к тому же в основном не на поле боя, а уничтожая безоружное население на оккупированных территориях. Да и то эта кровавая мсть выпала им боком.

8

Как мы увидим ниже, Бакунин именно «бросил упрек», категорически отвергнув саму эту постановку вопроса у Маркса и Энгельса, что и послужило важной причиной его изгнания из числа их приближенных соратников.

9

Это, кстати, показывает, что окраины Российской империи не были для русских *колониями* — советская революция и в мыслях не имела сбросить, как обузу, народы Средней Азии. Она делалась для того, чтобы лучше было *всем* трудящимся России.

10

Лапинский — авантюрист и английский агент, который занимался организацией провокаций против России на Кавказе.

11

Примечательно, что серия статей о революции в Германии была написана Энгельсом по прямой просьбе Маркса («Напиши ряд статей о Германии, начиная с 1848 года. Остроумно и непринужденно»). Они были и напечатаны в 1851-1852 гг. за подписью Маркса, и их истинное авторство выяснилось лишь в 1913 г.

12

Эти мысли высказаны в 1855 г., их пафос никак нельзя объяснить молодостью Энгельса или его возбуждением в момент революционных событий.

13

В других случаях Энгельс, напротив, даже заостряет взаимосвязь между социальными и этническими характеристиками общностей. Он пишет: «Английский рабочий класс... стал совсем другим народом, чем английская буржуазия... Рабочие говорят на другом диалекте, имеют другие идеи и представления, другие нравы и нравственные принципы, другую религию и политику, чем буржуазия. Это два совершенно различных народа» [45, с. 356].

14

Поразительно, что говорить о русофобии в кругах «прогрессивной» российской интеллигенции считается предосудительным, в то время как на Западе она совершенно спокойно изучается и в целом верно объясняется историками (см., например, [54]).

15

Миф о происхождении славян от Мосоха культивировался даже в конце XVIII века в Императорской Академии наук, где большое влияние имели немецкие историки. М.В. Ломоносов в осторожной форме оспаривал применение библейского мифа к истории России: «Мосоха, внука Ноева, прародителем славянского народа ни положить, ни отреци не нахожу основания».

16

Хочется отметить, что речь идет о русофобии как *актуальной* идеологии. Русофобия Маркса и Энгельса была совершенно злободневна при уничтожении советского строя во время перестройки, а де Кюстин как будто прямо писал об СССР. В 1951 г. его книга была издана в США с предисловием директора ЦРУ Б. Смита, в котором было сказано, что «книга может быть названа лучшим произведением, когда-либо написанном о Советском Союзе».

17

В январе 1918 г. он пишет: «Разгон Учредительного собрания — прошел, или, вернее, проходит. Теперь уже несомненно, что революция убита; остаются борьба с анархией и реставрация... Все это... такие удары социализму и революции, от которых в России они не оправятся».

18

Маркс пишет: «Подобно тому как не религия создает человека, а человек создает религию, — подобно этому не государственный строй создает народ, а народ создает государственный строй» [55, с. 252].

19

Это соединение «Европы и Азии» — один из главных мотивов русофобии. Задолго до Маркса Кюстин писал: «Нужно приехать в Россию, чтобы воочию увидеть результат этого ужасающего соединения европейского ума и науки с духом Азии» [48, с. 464].

20

Один из руководителей и идеологов «черносотенства» Б.В. Никольский писал о большевиках в 1918 г.: «В активной политике они с нескудеющей энергиею занимаются самоубийственным для них разрушением России, одновременно с тем выполняя всю закладку объединительной политики по нашей, русской патриотической программе» (см. [56]).

21

Слово «инородцы» первоначально имело узкое юридическое значение и относилось к кочевым народам. На всех «нерусских» оно было распространено лишь с возникновением русского этнонационализма на рубеже XIX-XX вв., как знак отказа в «русскости» ассимилированным немцам, полякам, евреям и пр. [57].

22

Первую главу работы «Внешняя политика русского царизма» Энгельс послал для опубликования в журнал «Социаль-демократ», который издавала группа «Освобождение труда» (Плеханов, Засулич, Аксельрод). Там она и была напечатана в 1890 г.

23

Примечательно, что, по мнению Маркса, даже в «затаеннейших мыслях» никто не осмелится предположить, что социальная революция может и не быть *европейской*.

24

Примечательно введенное Марксом разделение — «русских или славянских народов». Это не погрешность. Собирая все аргументы, ставящие под сомнение право России на существование, Маркс поверил в нелепую теорию, согласно которой русские не были славянами.

25

Эта выдержка, как и утверждения Шимана и Либера, взяты из доклада, сделанного Н.И.Бухариным в 1926 г. [95].

26

Не углубляясь в эту большую тему, надо все же заметить, что само понятие антагонизма между пролетариатом и буржуазией, введенное Марксом и Энгельсом, является метафорой, не отражающей реальность. Более того, она противоречит логике самого Маркса. Пролетариат и буржуазия — два элемента одной системы, два партнера в едином процессе, продавец и покупатель на рынке рабочей силы. Не могут их противоречия быть *антагонистическими*, они друг без друга не существуют.

27

Вопреки работе Ленина об империализме и множеству исследований системы «центр-периферия», советское обществоведение продолжало внедрять в сознание догму Маркса. В.Ж. Келле и М. Ковальзон в массовом учебнике «Исторический материализм», который начал публиковаться в 60-е годы, пишут: «С развитием капитализма исчезает изолированность отдельных стран и народов. Различные страны втягиваются в общее русло капиталистического развития, возникают современные нации и между ними устанавливаются всесторонние связи. Тем самым отчетливо обнаружилось, что история всего человечества едина и каждый народ переживает ряд закономерных ступеней исторического развития.

Возникли широкие возможности для сравнения истории различных народов, выделения того общего, что имеется в экономических и политических порядках разных стран, для нахождения закономерной повторяемости в общественных отношениях» [112].

28

Вспомним, что «архитектор перестройки» А.Н. Яковлев патетически сокрушался: «Частная собственность — материя и дух цивилизации. На Руси никогда не было нормальной частной собственности».

29

М.М. Ковалевский (1851-1916) — русский социолог, историк, этнограф и юрист, политический деятель либерально-буржуазного направления.

30

А.Баумгартен пишет «о том неоспоримом факте, что причиной пожизненной славянофобии (за исключением поляков) и русофобии основоположников послужила архиреакционная роль николаевской России в европейской политике в целом и, в особенности, в подавлении «Весны народов» — революций 1848-51 гг. Расистские выпады и кровожадные угрозы Энгельса против славянских народов, сделанные им в гневе при виде поражения европейской революции, не должны заслонить от нас политической правоты предельно враждебного отношения Маркса и Энгельса к Российской Империи, которое разделяло подавляющее большинство «левых» того времени» [127]. Этот взгляд А.Баумгартена ничем не подкреплён. Никакого «неоспоримого факта» он не приводит, никакой причинно-следственной связи между краткосрочной войсковой операцией русских и расизмом Энгельса усмотреть невозможно.

31

Надо отметить, что прямого отношения к конфликту с народниками этот труд Маркса не имеет, что видно из самого его названия — *докапиталистические* способы производства. Это название предполагало, что за этими способами производства последует именно капиталистический способ. Народники, напротив, развивали концепцию *некапиталистических* типов хозяйства и предвидели революцию, которая позволит *миновать* этап капитализма.

32

Эта терминология несла на себе отпечаток формационного подхода и в дальнейшем предопределила методологическую слабость обществоведения. Здесь мы этого вопроса не касаемся.

33

Речь идет о стремлении к воссоединению белорусов и малороссов восточной Польши с Россией.

34

Замечу, что депутат Госдумы отвергает право наций на самоопределение, которое относится к общепризнанным нормам международного права и закреплено Конституцией РФ (статья 5).

35

Никаких дебатов о национально-государственном устройстве в «гуще народов» не велось, сама проблематика *национального* в массовом сознании отсутствовала. Вопрос решался в узком слое политизированных элит. Точно так же, «национальная политика» царизма не касалась народного быта, а происходила лишь в среде элиты, притом в ничтожных масштабах.

36

С.В. Чешко, автор, на мой взгляд, самой взвешенной и самой беспристрастной книги на эту тему, считает, что «образование СССР явилось наиболее вероятным в тех условиях решением проблемы обустройства постреволюционной России» [150, с. 93].

37

С конца XIX в. идеи политической автономии выдвигали организации поляков, украинцев, белорусов и литовцев. В среде интеллигенции мусульманских народов до 1917 г. идея борьбы за национальную независимость сформировалась только в Азербайджане. Февраль 1917 г. резко изменил ситуацию.

38

Характерно, что та часть территории, которая была утрачена в 1918-1921 гг. и была возвращена в 1939 г., до 80-х годов не успела стать «вполне своей» — в сознании значительной части жителей этих мест гнезился сепаратизм.

39

Даже З. Бжезинский, обсуждая варианты развития СССР в 30-е годы, признает «изумительные достижения сталинизма» и приходит к выводу, что единственной альтернативой ему мог быть только шовинистический диктаторский режим с агрессивными устремлениями (см. [151]).

40

Кстати, впервые эта директива была опубликована в 1942 г., когда тоже надо было «не пересаливать» с национальной ненавистью. «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается» (И.В. Сталин).

41

Буквоед — Рязанов (Гольденбах) Д.Б., в тот момент центрист-меньшевик. Семковский (Бронштейн) С.Ю. — в тот момент меньшевик.

42

Как эти формулы влияли на политическую практику, говорит тот факт, что принятый Советской властью 16 сентября 1918 г. семейный кодекс запретил усыновление — чтобы не допустить «эксплуатации детей усыновителями». Это в момент, когда на Россию шел вал беспризорности.

43

В книге дан анализ отношения к семье в разных революционных движениях России начала века. Взгляды большевиков сильно отличались «от социального экспериментаторства радикальных движе-

ний».

44

Хеймсон считает логичным, что меньшевики сблизилась с Бундом (еврейской социал-демократической партией местностей, отделенных «чертой оседлости»). Он пишет: «Начиная со стокгольмского съезда партии, Бунд фактически стал одним из самых надежных союзников в коалиции, которую меньшевики стремились создать против большевизма».

45

Толстой писал в 1895 г.: «В то время как высшие правящие классы так огрубели и нравственно понизились, что ввели в закон сечение и спокойно рассуждают о нем, в крестьянском сословии произошло такое повышение умственного и нравственного уровня, что употребление для этого сословия телесного наказания представляется людям из этого сословия не только физической, но и нравственной пыткой» [173].

46

В народных религиозных верованиях, например, в тайных псалмах духоборцев, «детьми Каина» считаются «зараженные сребролюбием господ», а «детьми Авеля» — бедные люди, которые «питаются трудом».

47

Бердяев написал это в 1918 г., в состоянии крайней ненависти к советской власти, которую он называет «сатанократией». Но здесь для нас важны не политические оценки, а признание, что советское государство опирается на мироощущение *религиозного* типа.

48

Н. Добролюбов ещё студентом писал о Николае I, апеллируя к Западу: «Но как могла Европа сносить подобного нахала, который всеми силами заслонял ей дорогу к совершенствованию и старался погрузить её в мракобесие?»

49

Статья была сопровождена таким примечанием редакции: «В данной статье двойные согласные пишутся одинарными буквами, согласно постановлению комиссии по реформе русской орфографии, утвержденного Советом Главнауки от 15 января 1930 г.».

50

В редакционном предисловии в Сочинениях Маркса и Энгельса (2-е изд.) говорится: «В 1-й главе первого тома «Немецкой идеологии»... впервые в систематической форме дано изложение материалистического понимания истории».

51

В народных религиозных верованиях, например, в тайных псалмах духоборцев, «детьми Каина» считаются «зараженные сребролюбием господ», а «детьми Авеля» — бедные люди, которые «питаются трудом».

52

Развернутая с 1954 г. Н.С. Хрущевым антицерковная пропаганда имела целью пресечь одну из последних программ сталинизма. Немалую роль в этом сыграло и подавленное марксизмом понимание связующей роли религии. Это стало важным моментом в процессе демонтажа советского народа.

53

Готовя свой труд в тюрьме, Грамши из соображений конспирации называл марксизм «философией практики».